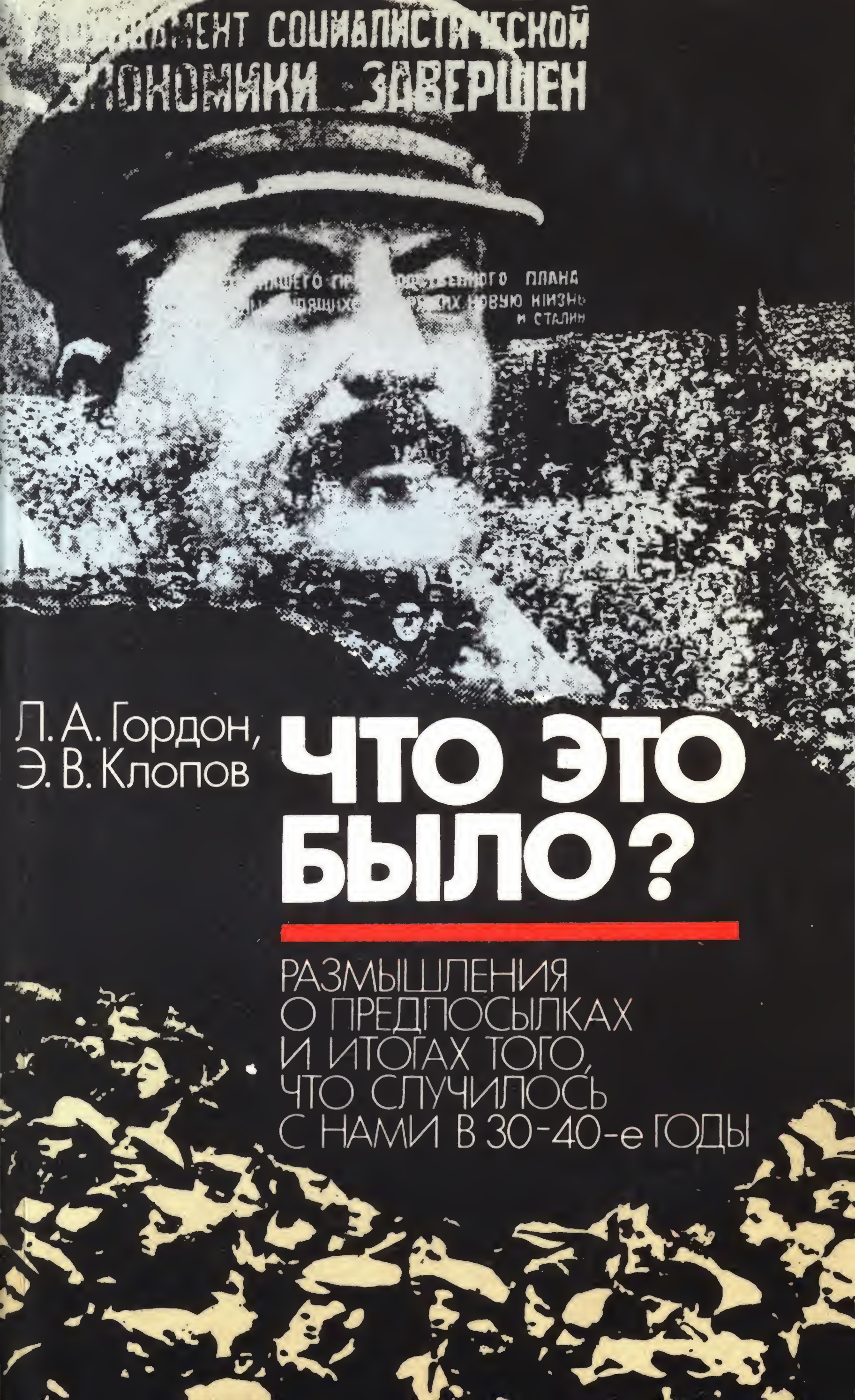

Л. А. Гордон,
Э. В. Клопов
ЧТО ЭТО
БЫЛО?
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ПРЕДПОСЫЛКАХ
И ИТОГАХ ТОГО,
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С НАМИ В 30-40-е ГОДЫ



Л. А. Гордон,
Э. В. Клопов

ЧТО ЭТО БЫЛО?

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕДПОСЫЛКАХ И ИТОГАХ ТОГО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАМИ В 30-40-е ГОДЫ

Москва
Издательство
политической
литературы
1989

ББК 63.3(2)71
Г68

Гордон Л. А., Клопов Э. В.

Г68 Что это было?: Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30—40-е годы.— М.: Политиздат, 1989.— 319 с.
ISBN 5—250—00670—1

В книге известных социологов и историков рисуется широкая картина социально-экономических преобразований в СССР 30—40-х годов, объясняется, почему победила стратегия форсированного развития, откровенно говорится о том, какой ценой нашим народом было заплачено за установление режима личной власти Сталина. Книга адресована научным работникам, преподавателям, пропагандистам, широкому кругу читателей, стремящихся лучше узнать историю советского общества.

Г $\frac{0503020000-206}{079(02)-89}$ КБ—38—2—88 ББК 63.3(2)71

ISBN 5—250—00670—1

ОТ АВТОРОВ

В сознании советских людей все больше утверждается понимание того, что глубокое проникновение в историю позволяет извлечь уроки для дня сегодняшнего. И закономерно, что именно осуществление начавшейся с апреля 1985 г. перестройки всех сфер нашей общественной жизни возбудило огромный интерес нашего народа к своему прошлому, к помыслам и деяниям, победам и страданиям наших предшественников. Все сильнее проявляет себя желание знать всю правду: кто мы такие? как шли к современному состоянию общества? что приобрели на этом пути и что потеряли?

Известно, что главная цель и одновременно важнейшая предпосылка перестройки и обновления социализма — вовлечение в активную, свободную, сознательную социальную деятельность, в том числе в управление делами общества, все бо̀льших масс трудящихся, всех граждан страны. Чтобы успешно решить эту задачу, надо всемерно развивать историческое сознание народа, что предполагает как растущую осведомленность людей о событиях минувших эпох, так и ясное понимание ими органической связи прошлого, настоящего и будущего, того, что невозможно успешно продвигаться вперед, не извлекая уроков из былых побед и поражений. Потребность в развитии исторического сознания подкрепляется возрастающими возможностями, тем, что расширение гласности предусматривает ликвидацию запретов на информацию и дискуссии о ходе и результатах социалистических преобразований в нашей стране. Поэтому широкие слои населения начинают все более компетентно судить о достижениях и просчетах, допущенных в ходе строительства нового общества.

Столь же закономерно, что сейчас особенно обострился интерес к тому периоду истории нашей страны, который пришелся на 30-е и 40-е годы. Ведь в то время,

как и сейчас, происходили крутые и всеохватывающие повороты, по своим масштабам сопоставимые с теми, какие были намечены апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС и XXVII партийным съездом и достаточно ясно обозначились в наши дни. А люди в таких случаях сознательно или интуитивно ищут опору в исторических аналогиях. И все-таки взрыв горячего, заинтересованного внимания к событиям того периода, стремление понять их смысл, их место в цепи социалистических преобразований, пожалуй, еще больше обусловлены необходимостью и недвусмысленно выраженным в партийно-политических документах намерением сломать те общественные структуры, которые ныне тормозят обновление социализма и которые берут свое начало именно в 30-х годах. А для этого следует хорошо осознать тот факт, что тогда наряду с историческими достижениями (связанными прежде всего с осуществлением индустриализации и распространением социалистического уклада на все народное хозяйство страны) совершались и трагические события, все чаще характеризуемые терминами «сталинщина», «сталинизм». Эти события исказили самый облик социализма, наложили зловещий отпечаток на процесс социалистического строительства в СССР. Они, как специально подчеркивается в одной из резолюций XIX Всесоюзной конференции КПСС, «вызвали глубокие деформации в социалистическом обществе, задержали его развитие на целые десятилетия, привели к огромным человеческим жертвам и неисчислимым нравственным и идейным потерям» [1].

Теперь уже большинству из тех, кто задумывается о нашем прошлом, ищет в нем ответов на вопрос — как надо и как не надо вести революционные преобразования,— ясно, что события того времени, которое вошло в учебники по истории СССР и КПСС как период завершения строительства основ социализма в нашей стране, привели далеко не к тем результатам и развивались вовсе не так, как об этом писалось в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)» [2] и десятилетиями

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза. М., 1988, с. 116.

[2] Написана эта книга, оказавшая огромное воздействие на развитие, а вернее, на деградацию всего нашего обществоведения, коллективом авторов, но при таком близком участии Сталина, что «Краткий курс» был в начале 50-х годов подготовлен для издания в качестве одного из последних томов его Сочинений, оставшихся незавершенными.

повторялось в исторической литературе. Но еще предстоит разобраться, что же в действительности происходило в то время, исследовать, говоря словами поэта, «старые следы — тридцатилетней власти величья и беды» [1].

Такая работа уже началась, но ей серьезно препятствуют и недостаток информации о событиях полувековой давности, и скрытое сопротивление выработке исторически верной, правдивой, целостной оценки того периода, когда партией и страной руководил И. В. Сталин.

Конечно, сейчас речь уже не идет о прямом замалчивании или отрицании фактов, свидетельствующих об отходе Сталина и его окружения от ленинской концепции социализма, тем более об их прямых преступлениях против своего народа. Все реже мы встречаемся с откровенным нежеланием признавать творившееся тогда зло — злом. Теперь главным препятствием на пути всестороннего и правдивого исследования периода, начавшегося на рубеже 20-х и 30-х годов, служат попытки направить анализ по ложному пути, а для этого, так сказать, расщепить характеристику происходивших тогда событий, представить дело таким образом, будто тогда мирно сосуществовали и добро и зло. События эти рассматриваются по принципу: с одной стороны — с другой стороны (который Ю. Н. Афанасьев метко охарактеризовал как «щедринский симбиоз») [2].

Соответствующая версия гласит: с одной стороны, именно в 30-е годы наша страна сделала гигантский рывок в своем индустриальном развитии, во всех сферах экономики, утвердились коллективистские формы собственности и организации труда, завершилось преобразование социальной структуры общества, народ быстро преодолевал былую безграмотность и полуграмотность, а с другой стороны (увы!), махровым цветом расцветал несовместимый с природой социализма культ личности вождя, стало системой и даже своего рода доблестью пренебрежение законностью, попирались принципы социалистического народовластия, набирали силу сталинско-ежовско-бериевские репрессии. И резюме: «Было и то и другое» — как глубокомысленно замечает один из приверженцев подобного подхода к освещению

---

[1] *Слуцкий Б.* Без поправок. М., 1988, с. 22.
[2] См.: Литературная Россия, 1988, 17 июня.

событий 30—40-х годов[1]; будто бы «то» существовало рядом с «другим», не взаимодействуя с ним, не испытывая его влияния.

Нельзя отрицать, что в свое время шагом вперед был и такой подход, поскольку полезными были любые сообщения о том, что же в действительности происходило в 30—40-е годы, любые крохи правды, касавшиеся того, о чем лгал «Краткий курс». Но сейчас это истолкование исторических событий, так сказать, рядополагающее их, т. е. рассматривающее их метафизически, мешает выявлению реальной целостной картины народной жизни, затуманивает ответы на вопросы: каким же в действительности был тот период? что он дал для социалистического созидания? что из опыта тех лет можно и нужно взять, использовать, а от чего решительно отмежеваться? Иначе говоря, как отделить в исторической жатве здоровые, полноценные «зерна» от засоряющих их «плевел»?

Между тем получить ответы на эти вопросы очень важно: чтобы вовлечь все бо́льшие массы населения в перестройку, необходимо способствовать тому, чтобы распространенные в народе идеалы, представления о целях социалистического переустройства, о методах их реализации были приведены в соответствие с поставленной и решаемой задачей обновления социализма на базе его демократизации и гуманизации, придания ему большего динамизма, высвобождения его огромных и пока еще плохо используемых возможностей для все более полного удовлетворения социальных, материальных и духовных потребностей всех членов социалистического общества. Для этого нужно — и чем быстрее, чем полнее, тем лучше — освобождать обыденное сознание народных масс от насаждавшихся Сталиным и его последователями упрощенных и утопических, если не просто фальсифицированных, представлений о социализме, о путях, способах и формах его построения. А это невозможно без критического освоения и переосмысления накопленного за семь десятилетий опыта революционных преобразований, и потому научный анализ этого опыта и особенно тех переломных, ключевых моментов в истории социалистического строительства, какими оказались 30-е годы, приобретает ныне особое значение.

[1] См.: *Кузнецов П.* Вопросы историку.— Правда, 1988, 25 июня.

Кое-что — и весьма существенное — уже сделано на этом пути. В статьях и выступлениях Е. А. Амбарцумова, Ю. Н. Афанасьева, А. П. Бутенко, М. Я. Гефтера, В. П. Данилова, Ю. Ф. Карякина, И. М. Клямкина, О. Р. Лациса, Л. А. Оникова, Г. Х. Попова, Г. Л. Смирнова, А. С. Ципко, В. Н. Шубкина и других исследователей (в том числе и экономистов, философов, представителей других научных дисциплин, которые все в данном случае выступают в роли историков) с большей или меньшей основательностью и остротой характеризуются различные стороны опыта раннесоциалистических преобразований, в том числе осуществлявшихся под руководством И. В. Сталина. Стали появляться и книги, авторы которых пытаются дать объективную картину этих преобразований [1]. К тому же, хотя в прошлом у нас практически не могли издаваться исследования по истории 30—40-х годов, которые не следовали бы (по крайней мере, формально) ложной официальной схеме, все же и в этих работах содержится множество глубоких и ценных замечаний, обобщений, выводов, касающихся тех или иных конкретных проблем [2].

И все же это только начало изучения тех процессов, которые развернулись и набрали силу во второй половине 20-х, в 30-е и 40-е годы и наложили заметный отпечаток на дальнейшее развитие нашей страны. Поэтому невозможно согласиться со сверхоптимистическим заявлением, прозвучавшим со страниц «Правды», что «уже имеются достаточно обстоятельные исследования,

---

[1] Назовем, в частности, сборник статей-выступлений участников дискуссии, проведенной в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в октябре 1987 г., «Механизм торможения: истоки, действие, пути преодоления» (М., 1988); сборник статей видных ученых и публицистов, активно выступающих в печати по вопросам перестройки, «Иного не дано» (М., 1988); а также книги Д. А. Волкогонова «Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина» (Октябрь, 1988, №№ 10, 11, 12) и Е. Г. Плимака «Политическое завещание В. И. Ленина. Истоки, сущность, выполнение» (М., 1988).

[2] Здесь невозможно дать сколько-нибудь подробный перечень трудов, дающих объективные оценки тех или иных процессов и событий 30—40-х годов. Заметим лишь, что непосредственно для написания этой книги особенно большое значение имели работы таких историков, экономистов, социологов, рассматривавших или затрагивавших социально-экономические проблемы 30—40-х годов, как А. Л. Вайнштейн, П. В. Волобуев, В. З. Дробижев, В. С. Лельчук, В. Ф. Майер, Б. П. Орлов, В. А. Тихонов, О. И. Шкаратан.

на какой волне возник сталинизм, культ личности»[1]. Обстоятельные исследования, действительно, начинают появляться, но думать, что они уже решили столь сложный вопрос (может быть, один из сложнейших в нашей историографии), пока не приходится. Необходимо еще глубже «копать», чтобы с возможно большей полнотой выявить предпосылки, движущие силы, механизмы того, что происходило в нашей стране в 30—40-е годы, определить и объяснить роль отдельных личностей, всей партии, трудящихся масс в событиях тех лет, чтобы разрушить стереотипы массового и псевдонаучного сознания, берущие начало в теории и практике сталинизма.

Предлагаемая читателям книга, как мы надеемся, лежит в русле разворачивающихся исследований социально-экономического и политического развития советского общества в 30—40-е годы. (Правда, мы говорим преимущественно о 30-х годах, касаясь 40-х годов главным образом в тех случаях, когда речь идет об итогах или когда события нужно показать в их историческом контексте.) Хотелось бы думать, что вместе с работами других авторов она поможет выработке целостного представления об этом сложном, бередящем наши души периоде.

При написании данной книги пришлось решать непростой вопрос о совмещении (и совместимости) логического и эмоционального начал в размышлениях о времени, отмеченном как высочайшим энтузиазмом миллионов людей, так и преступными, кровавыми деяниями тех, кто этими людьми руководил. Когда имеешь дело с фактами, свидетельствующими о трагических испытаниях, которые выпали на долю твоего народа, о надругательстве над идеалами социализма, над ценностями и нормами человеческого общежития, невозможно оставаться хладнокровным, нельзя избежать естественных человеческих переживаний горя и гнева. Но следует ли историку поддаваться этим переживаниям, может ли он пойти по пути преимущественно эмоциональной оценки описываемых событий? Вместе с тем допустима ли и другая крайность — холодная отстраненность? Достойно ли писать историю, «добру и злу внимая равнодушно» и вознесясь над тем, что иссле-

---

[1] См.: *Кузнецов П.* Вопросы историку.— Правда, 1988, 25 июня.

дуешь, беспристрастно сопоставлять и темпы экономического роста, и число людей, умерших от голода, с холодной объективностью повествовать и о процессе индустриализации, и о массовых репрессиях? Конечно, следует избегать и той и другой крайности. Но при изучении событий 30—40-х годов становится особенно ясно, что без субъективного отношения к ним нельзя дать их объективный анализ. В этом случае тем более важно, чтобы добросовестный летописец не подавил в исследователе чувств гражданина.

Мало кто из современных историков в буквальном смысле может сказать о себе, как А. А. Ахматова: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был» [1]. Но в переносном истолковании ахматовские строки представляются нам метафорическим обозначением этической позиции, которую дóлжно занять современным историкам, стремящимся нарисовать правдивую и целостную картину того времени. Постараемся писать о прошлом не со стороны, а ощущая себя — и умом, и сердцем — частью народа, который творил тогдашнюю историю, с ее добром и злом, величием и позором. Воспримем эту историю как наследники и продолжатели. И одновременно будем помнить, что «там», в том историческом пространстве, где жил и действовал наш народ, очень многое в его жизни было несчастьем. Нам есть чем гордиться в нашем прошлом, но есть и чего стыдиться, в чем каяться. Все историческое наследие 30—40-х годов — наше, однако неумно и безнравственно все в этом наследии одобрять огулом, не разбирая, что стоит принять, а от чего нужно отказаться.

Ключом к решению проблемы логического и эмоционального в исследовании истории нашего недалекого прошлого, тысячами живых нитей связанного с днем сегодняшним, может служить прежде всего соотнесение любого из изучаемых событий с фактами и событиями, которые наложили отпечаток на весь процесс развития общества в тот период. Образно и вместе с тем методологически очень точно этот подход сформулирован Ю. Ф. Карякиным: «...снова и снова слышу: «Но ведь были же у них и заслуги, у Сталина, у Жданова! Нельзя же так. Ведь должна же здесь быть и диалектика...» А знаете, я соглашусь с вами, если вы согласитесь с

[1] *Ахматова А.* Реквием.— Октябрь, 1987, № 3, с. 130.

одним моим дополнением. Пусть будет по-вашему. Пусть будет, например, так: «Наряду с заслугами у Сталина и Жданова был всего один недостаток: они были палачами...» [1] При таком подходе найдется место и для строгого, объективного анализа, и для одухотворяющих его эмоций.

Следуя этому принципу, мы старались вести свой анализ таким образом, чтобы в итоге охарактеризовать и оценить суть предпринятой в 30-е годы попытки круто, пренебрегая законами истории и не считаясь с человеческими, нравственными, материальными потерями, взвинтить темпы и переломить характер социальных процессов. При этом мы опирались на две группы источников. Во-первых, на большую совокупность статистических данных, анализ которых позволил выявить и основную направленность развития событий в то время, и ту цену, какую пришлось заплатить тогда советскому народу и за достижения, и за поражения на этом пути. Во-вторых, на живые голоса из прошлого. Они запечатлены в опубликованных документах, в воспоминаниях непосредственных свидетелей великих и трагических событий тех лет, в пересказах услышанного в свое время от отцов, дедов, старших друзей, в художественной литературе. Некоторые из них зафиксированы и в личных впечатлениях авторов, детство и юность которых пришлись как раз на 30—40-е годы.

Конечно, нам, как и другим исследователям, очень не хватало тех документов, которые все еще не извлечены из архивов. Они особенно пригодились бы при характеристике механизма принятия решений и для выявления истинной роли в событиях 30-х годов различных политических и общественных деятелей, хозяйственных руководителей и писателей, ученых и служителей сталинской «Фемиды». Но отсюда никак не следует, что нужно действовать в соответствии с рекомендациями академика Б. А. Рыбакова, который предлагает такую схему изучения раннесоциалистических преобразований в нашей стране: «Зафиксировать все, что волнует, все, что интересует людей, а затем [?] во всем обстоятельно разобраться» [2]. Историки вовсе не должны ждать, пока им будет открыт доступ к архивам и тем более пока начнут публиковаться хранящиеся в них

[1] *Карякин Ю.* «Ждановская жидкость» или против очернительства.— Огонек, 1988, № 19, с. 26.

[2] Московский комсомолец, 1988, 10 июня.

материалы. Наоборот, важно уже сейчас воспользоваться теми большими группами источников, которыми мы располагаем, чтобы глубоко и всесторонне исследовать основные тенденции и результаты развития советского общества в 30—40-е годы. Это не только послужит делу добывания полной правды о том времени, но и облегчит освоение новых источников, которые будут поступать — и уже поступают, хотя еще и в небольшом объеме,— в научный оборот.

Вот и мы в своей работе попытаемся продвинуться к более честному, более реалистичному пониманию истории 30—40-х годов с помощью нового, свободного от былых (в том числе и внутренних) ограничений прочтения общеизвестных и общедоступных источников. (Кстати, одним из обсуждавшихся нами подзаголовков к названию книги был: «Перечитывая известные страницы».) При этом мы будем пользоваться только теми материалами, которые были открыто опубликованы в нашей стране, чтобы каждое положение книги мог проверить любой читатель [1].

Такая возможность, по нашему мнению, имеет немаловажное значение. Для торжества правды в истории 30—40-х годов недостаточно усилий одних только историков. Слишком тесно связана ложь об этом времени с традициями, с долголетней верой в правильность сформулированных тогда догм. Догмы, незнание, предрассудки срослись здесь с правдой, стали органической частью мироощущения едва ли не целых поколений. Преодолеть искажение взглядов прошлого (а с ним и искажение многих черт социалистического идеала) можно лишь при активном стремлении читателей разобраться в том, что сообщают им историки и публицисты, при том условии, что в случае необходимости они (читатели) смогут проверить любую доводимую до их

---

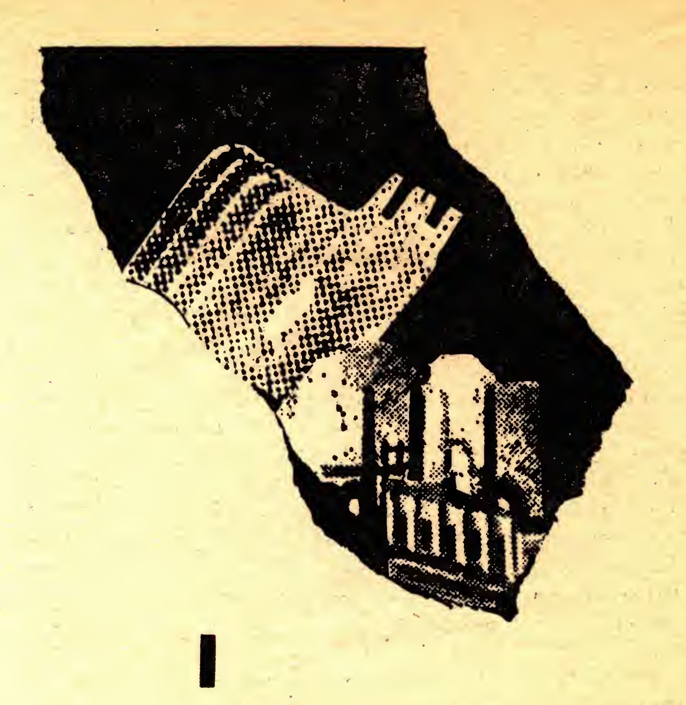
[1] По этой причине мы не использовали никаких (подчас очень ценных) данных, опубликованных вне пределов нашей страны. Впрочем, ясно, что это ограничение имеет временный характер. Работы, ранее недоступные советскому читателю, постепенно вводятся в научный оборот. В ближайшем будущем, например, мы сможем познакомить с работами С. Коэна («Бухарин»; намечена к публикации в издательстве «Прогресс») и Р. Медведева («Сталин и сталинизм»; объявлена на 1989 г. журналом «Знамя»). Советской общественности еще не однажды придется возвращаться к обсуждению этой эпохи, и с каждым разом в анализ будет вводиться все более широкий круг источников.

сведения информацию, любой факт или расчет, вызывающий сомнения. Только тогда неизбежная резкая перемена всего взгляда на нашу недавнюю историю перестанет казаться дешевой сенсацией и превратится в знание и убеждение.

Из сказанного ясно, что мы вовсе не претендуем на то, что приведенные в книге соображения о характере и итогах социально-экономического и политического развития советского общества в 30—40-е годы окончательны и «обжалованию не подлежат». Мы поэтому посчитаем своим большим успехом, если наша книга послужит стимулом для расширения и углубления дискуссий о том времени. Свободное, широкое, заинтересованное обсуждение всего пережитого и перечувствованного тогда, вообще за семь десятилетий в нашей стране — вот чего так не хватало нашей общественной жизни в недавние времена и еще не хватает сейчас!

Чтобы придать дискуссиям о 30—40-х годах более предметный характер, мы выносим на общественное суждение следующие коренные вопросы, от ответа на которые зависит общая оценка того периода. Во-первых, имелись ли объективные альтернативы курсу на всемерное, не считающееся ни с какими жертвами ускорение индустриального развития СССР и социалистических преобразований вообще, принятому в конце 20 — начале 30-х годов (их «подхлестыванию», если использовать сталинскую терминологию)? И почему у стратегии «сверхиндустриализации», отвергавшейся в середине 20-х годов большинством партии, в конце этого десятилетия не оказалось сколько-нибудь влиятельных оппонентов? Во-вторых, какими в действительности были итоги реализации этого курса, чего удалось достичь и какая цена была заплачена за это народом? В-третьих, в какой взаимосвязи находилось форсирование экономических и социальных процессов с процессами перехода к авторитарному управлению обществом, а затем и к деспотическому самовластию Сталина? Наконец, в-четвертых, что принесли народу и обществу пресечение демократических тенденций в социалистических преобразованиях, установление авторитарно-деспотического режима, как это повлияло на дальнейшее развитие социализма?

Давайте вместе разбираться, что же происходило с нами, с нашей страной и народом в те предвоенные и послевоенные годы с конца 20-х до начала 50-х годов.



I

ДВА ПЛАНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Задачи времени

Исходным условием реалистического анализа преобразований 30—40-х годов является, по нашему убеждению, осознание целостности протекавших в то время социально-экономических процессов, их взаимосвязи и общей обусловленности историческим сдвигом рубежа 30-х годов, выбором, сделанным в нашей стране в то время. Конечно, этот выбор возник не на пустом месте: он, в свою очередь, явился продолжением выбора, сделанного раньше, в середине 20-х годов, когда партия решала вопрос о возможности или невозможности построения социализма «в одной, отдельно взятой стране». Но коль скоро идея социалистического строительства в СССР победила, возникла необходимость выбора возможных путей этого строительства. Исторический поворот конца 20 — начала 30-х годов явился следствием и проявлением процессов, обусловленных как общими закономерностями социально-экономического развития в условиях социалистической индустриализации, так и особенностями того конкретного варианта социалистического строительства, который был избран в нашей стране.

Возможность и даже неизбежность противостояния различных вариантов социально-экономической стратегии в конце 20 — начале 30-х годов были связаны, с одной стороны, с задачами, которые должно было решить советское общество на данном этапе своего развития, с другой — с объективной обстановкой, в которой приходилось решать эти задачи. По уровню народнохозяйственного развития, т. е. по состоянию производительных сил и их технико-экономической организации, СССР в конце 20-х годов находился на начальных этапах индустриализации. Хотя переход от доиндустриального к индустриальному технологическому способу

производства начался у нас еще в XIX в., темпы этого процесса были таковы, что вплоть до революции Россия оставалась аграрной страной, в народном хозяйстве которой преобладало мелкое производство и домашинные формы труда. Опустошения мировой, а затем гражданской войн и иностранной военной интервенции резко ослабили и те элементы индустриального производства, которые имелись в российской экономике.

Естественно, что к исходу первого десятилетия Советской власти, когда в основном завершилось восстановление разрушенного, СССР оказался на той же начальной стадии индустриального преобразования народного хозяйства, которой Россия достигла накануне войны и революции. В фабрично-заводской промышленности к началу первой пятилетки производилось лишь 20—25% национального дохода СССР, тогда как сельское хозяйство давало около 50%. В сельскохозяйственном производстве было занято едва ли не 80% работающего населения страны, велось оно почти исключительно домашинным способом [1].

Объем промышленной продукции, выпускавшейся в то время, даже по абсолютной величине существенно уступал соответствующим показателям всех ведущих индустриальных держав, несмотря на гораздо более многочисленное население нашей страны. В СССР при населении примерно в 160 млн человек в конце 20-х годов производилось ежегодно 3—4 млн т чугуна, 4—5 млн т стали, 35—40 млн т угля, 5—6 млрд кВт·ч электроэнергии — в 2—3 раза меньше, чем в Германии, Англии или Франции — странах с населением 40—60 млн человек,— и во много раз меньше, чем в США (где жило тогда чуть больше 120 млн человек). Уровень производства советской промышленности в расчете на душу населения отличался от душевого производства в индустриально развитых странах в 5—10 раз, а то и на несколько порядков [2]. Многие наиболее сложные промышленные изделия у нас вообще не производились. При этом и в промышленности большинство рабочих (хотя и не столь подавляющее, как в сельском хозяйстве) было занято ручным трудом. По уровню производитель-

---

[1] См.: Труд в СССР. Статистический сборник. М., 1968, с. 20; *Вайнштейн А. Л.* Народный доход России и СССР. М., 1969, с. 96.

[2] См.: Народное хозяйство СССР в 1972 г. Статистический ежегодник. М., 1973, с. 102—105, 170—175.

ных сил и технико-технологическому типу производства отставание нашей страны имело в то время, так сказать, стадиальный масштаб. В передовых капиталистических странах уже утвердился индустриальный технологический способ труда, наше народное хозяйство, взятое в целом, оставалось еще по-прежнему на доиндустриальной стадии.

Закономерным следствием и обобщающим показателем доиндустриального состояния народного хозяйства СССР во второй половине 20-х годов выступают социальные и культурные характеристики населения. Достаточно сказать, что доля сельских жителей в его составе была тогда в 4 раза выше доли горожан (81—82% против 18—19%), а доля крестьян и членов их семей в 6—7 раз выше доли рабочего класса (примерно 75% против 11—12%). Чрезвычайно показательно также, что свыше половины взрослого населения не знало грамоты: в 1926 г. к числу неграмотных относилось 43% людей в возрасте 9—49 лет и большинство людей старших возрастов. Да и среди грамотных очень многие не окончили даже начальной школы [1].

Потребность в решительных и быстрых индустриальных преобразованиях с необходимостью вытекала из подобного состояния производительных сил. Всеобъемлющая индустриализация, предполагающая не просто увеличение роли промышленности, но переход от домашинного к индустриальному технологическому типу производства во всех отраслях экономики, становилась в этих условиях главной задачей народнохозяйственного развития.

Однако состояние народного хозяйства лишь частично объясняет условия, в которых возникла необходимость выбора экономической стратегии и совершился поворот рубежа 30-х годов, во многом предопределивший наше развитие на несколько десятилетий вперед. Строго говоря, из уровня производительных сил вытекала не столько возможность альтернативных подходов, сколько, наоборот, неизбежная направленность мыслимых вариантов на осуществление индустриальных преобразований. Сами же варианты проведения этих

---

[1] См.: СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Статистический сборник. М., 1970, с. 24, 207; Население СССР (Численность, состав и движение населения). 1973. Статистический сборник. М., 1975, с. 7.

преобразований (и необходимость выбора между ними) возникали скорее как следствие социально-экономической и общественно-исторической обстановки.

Главные черты этой обстановки определялись тем обстоятельством, что страна находилась в переходном периоде развития от капитализма к социализму. Основным выражением переходного характера общественных отношений в то время являлось сочетание политического строя диктатуры пролетариата, осуществляемой под руководством Коммунистической партии, со смешанной экономикой, в которой переплетались и взаимодействовали элементы социалистического, государственно-капиталистического, капиталистического, мелкотоварного, патриархального укладов. Решающее значение и по распространенности и по роли в воспроизводственном процессе имели в 20-е годы крупная государственная промышленность и принадлежащие государству финансово-экономические учреждения, с одной стороны, мелкотоварное, крестьянское хозяйство — с другой. Экономические связи между этими укладами, а также связи государственных предприятий и единоличных хозяйств друг с другом строились по преимуществу на рыночной, товарно-денежной основе. Сосредоточение политической власти и «командных высот» экономики в руках рабочего класса и его партии создавало условия, в которых экономическое развитие, несмотря на преимущественно рыночную природу хозяйственных связей, теряло стихийный характер. Этому способствовали и быстрое распространение различных форм кооперации, и рост ее влияния на ход хозяйственной жизни. Партия получила возможность сознательно направлять рост экономики в определенное русло, регулировать ее, ограничивая перерастание мелкотоварного хозяйства в капиталистическое и тем самым сводя к минимуму опасность чрезмерного расширения капиталистического уклада.

Таким образом, если состояние производительных сил диктовало необходимость индустриализации, то социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны открывало возможность осуществления индустриализации в ходе социалистических преобразований. Принятый партией курс на строительство социализма в одной стране означал, что эта возможность будет использоваться в полной мере. В конкретных исторических условиях конца 20-х годов переход к индуст-

риальному производству в нашей стране сливался с движением к обобществлению основных средств производства, с заменой многоукладной экономики экономикой, где безраздельное преобладание получал социалистический уклад, с созданием экономического фундамента социализма. Именно социалистический характер индустриальных преобразований открывал возможность выдвижения различных вариантов социально-экономической стратегии.

Переход к индустриальной экономике, осуществляемый на социалистической основе, предполагает в отличие от стихийной капиталистической индустриализации предварительное общественное планирование преобразований, сознательный выбор того или иного их варианта. При этом, обладая политической властью и ключевыми финансово-экономическими механизмами, руководящее ядро общества реально, на деле способно направить развитие по избранному пути. Спору нет, спектр возможных решений при определении стратегии социалистической индустриализации не безграничен и выбор их, в конечном счете, не произволен. Он обусловливается объективными обстоятельствами, преобладающими в той или иной стране в то или иное время. Однако международный опыт реального социализма подтверждает достаточно широкую вариантность и многообразие форм социалистического строительства, социалистических индустриальных преобразований в том числе.

Применительно к нашей теме особенно важно подчеркнуть, что на протяжении последнего полувека такие преобразования проводились в одних условиях преимущественно внеэкономическими, административными методами, тогда как в других — с помощью широкого использования средств товарно-денежного и финансового регулирования. В первом случае, как это показывает опыт нашей собственной индустриализации или опыт Китая в 60—70-е годы, они сочетались с командно-административным планированием и всеобщим обобществлением, включающим сплошную коллективизацию. Во втором — и здесь показательны примеры Югославии, Венгрии, Китая 80-х годов — с сохранением взаимодействия секторов экономики, находящихся на различных ступенях обобществления, с развитием планирования и регулирования, ведущихся с учетом законов рынка.

Даже если руководители советского общества в конце 20-х годов не обладали еще большим историческим опытом и не представляли себе всего многообразия путей социалистического строительства, сама объективная возможность подобного многообразия создавала условия, в которых неизбежно выдвигались различные варианты социально-экономической стратегии и возникала ситуация выбора. Ситуация эта дополнительно обострялась достаточно сложным строением социальных и политических сил, выступавших за социалистические индустриальные преобразования. В СССР борьбу за социализм активно поддерживали и городские промышленные рабочие, и деревенская беднота, и кадры партийно-государственного аппарата, и комсомольская молодежь. Будучи едины в главном, эти группы далеко не были тождественны по своим текущим предпочтениям, опыту, культуре, непосредственным интересам и устремлениям.

Огромное значение имели также особенности международного положения СССР в 20—30-е годы. Атмосфера капиталистического окружения, всеобщее убеждение в нарастании военной угрозы во многом определяли политический и идеологический климат эпохи. И хотя на сегодняшний взгляд обстановка тех лет, когда совершался рассматриваемый здесь поворот, как будто не показывает непосредственной опасности, последующие события подтверждают, что ощущение близящегося столкновения с внешним врагом было уже тогда гораздо более обоснованным и оправданным, чем это кажется, если принимать в расчет одни только факты конца 20-х годов.

Конкретные опасности того времени, как мы видим теперь, не были слишком серьезными. Не определился даже главный потенциальный противник. Никто не думал всерьез о быстром возрождении германской агрессивной мощи, наоборот, интенсивно развивалось техническое сотрудничество Красной Армии с вооруженными силами Веймарской Германии. Реальные военные столкновения в то время ограничивались дальневосточными рубежами, где возник конфликт с одним из китайских милитаристов. Трудно поверить, что этот конфликт мог представить серьезную угрозу для СССР. Так что конкретные соображения людей 20-х годов относительно военной опасности были не слишком основательны. Но общие их выводы, как показала история, оказались вер-

ными. К тому же для понимания политической ситуации того времени важно не только объективное положение, но и его тогдашнее субъективное восприятие. Так или иначе, в сознании подавляющего большинства партийных деятелей, в сознании партийной массы, да и в общенародном сознании жило представление о военной угрозе. Когда В. В. Маяковский в 1927 г. писал: «Раскрыл я с тихим шорохом глаза страниц... и потянуло порохом от всех границ» [1], он передавал ощущение миллионов и миллионов людей. «Запах пороха» был социально-политической реальностью тогдашнего мира.

Растущее сознание неотвратимости войны, в которой будут решаться судьбы страны и народа, делало возникновение различных подходов к индустриализации еще более вероятным, а необходимость выбора между ними — еще более острой. Ибо вся стратегия преобразований получала очень разную направленность в зависимости от того, как оценивалась военная опасность и чему отдавались приоритеты в обеспечении обороноспособности. Она приобретала один характер, если считать, что для этого нужно сосредоточить все усилия на развитии производственного потенциала, укреплении политической системы, утверждении единомыслия и идейной монолитности общества; и совершенно иной, если исходить из убеждения, что способность выдержать войну в не меньшей степени зависит от удовлетворенности народа условиями жизни, сознательности масс, уровня их культуры и общественной активности.

Исторически складывание альтернативных вариантов индустриализации и создания материальной базы социализма в СССР происходило в достаточно сложных и противоречивых формах, не всегда и не во всем очевидных самим участникам связанных с ними столкновений. Нередко различия выявлялись общественным сознанием, так сказать, апостериорно, после того как выбор был фактически сделан или по крайней мере предрешен. Детальная характеристика различных вариантов стратегии социалистической индустриализации требует поэтому специального исследования, и полная ясность здесь будет достигнута лишь с освоением пока еще недоступных науке материалов.

Но если говорить не обо всей картине, а лишь об общей направленности, о выявлении, так сказать,

---

[1] *Маяковский В. В.* Полн. собр. соч. М., 1958, т. 8, с. 134.

объективной логики различных вариантов, дело представляется не таким безнадежным уже теперь. Прошедшее время позволяет по-новому взглянуть на хорошо известные материалы, отвлекаясь от наполняющих эти материалы подробностей, пристрастий, случайностей тогдашней политической борьбы и выделяя в них те существенные различия столкнувшихся идей, значимость которых была подтверждена дальнейшим ходом событий. Как кажется, при таком взгляде, подкрепленном последующим историческим ви́дением, в общедоступных документах прочитывается не только содержание стратегической линии, которая возобладала в борьбе 20-х годов и была реализована в 30—40-е годы под руководством И. В. Сталина, но и общая схема неосуществившейся или, вернее, оборванной в самом начале альтернативной стратегии, обычно отождествляемой с именами Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, М. П. Томского и других [1].

2. План продолжения нэпа

Первоначально в развернутом виде была выдвинута и обоснована стратегия индустриализации, связанная с продолжением нэпа. Как видно из имеющихся материалов, в частности из резолюции XV съезда ВКП(б) «О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства», принятой по докладу А. И. Рыкова и Г. М. Кржижановского, в основу данной стратегии была положена идея достижения в ходе социалистической индустриализации «наиболее благоприятного сочетания» нескольких важнейших и взаимно обусловленных целей.

Логически первая из этих целей — индустриальная реконструкция экономики, обеспечение «расширенного воспроизводства (накопления) в государственной инду-

[1] Разумеется, это никак не означает, что подлинную и подробную историю политических платформ и политической борьбы конца 20-х годов можно написать, не прибегая к тщательному, всестороннему изучению громадного массива неопубликованных документов. Мы говорим лишь о том, что уже опубликованные материалы позволяют составить исходное представление о различии альтернативных линий, достаточное для того, чтобы можно было анализировать объективный смысл и объективные итоги поворота, совершенного на рубеже 20—30-х годов.

стрии на основе расширенного воспроизводства в народном хозяйстве вообще...»[1]. В самой индустрии особое внимание должно было уделяться развитию производства средств производства, отраслям тяжелой промышленности, которые могут поднять экономическую мощь и обороноспособность СССР[2].

Вторая цель — непременное и систематическое повышение удельного веса социалистического сектора экономики, достигаемое увеличением роли социалистической промышленности и социалистической торговли в народном хозяйстве, с одной стороны, социалистическим кооперированием крестьянского производства — с другой[3]. Однако социалистическим здесь считалось только такое кооперирование, которое имеет вполне добровольный характер и обеспечивает реальные экономические преимущества сравнительно с единоличным мелкотоварным производством. Как говорил Н. И. Бухарин в январе 1929 г., когда он едва ли не в последний раз пытался открыто отстаивать первоначальную линию XV съезда партии, переход к новому строю возможен лишь при том условии, что народ (т. е. главным образом крестьянство) «идет к социализму через кооперацию, *руководствуясь собственной выгодой*»[4]. Ленинская идея кооперации, продолжал он, тем и ценна, что позволяет «вовлечь крестьянство в социалистическое строительство» наиболее легким и простым способом, «без всякого насилия»[5].

Наконец, третья цель — одновременное с народнохозяйственным ростом повышение жизненного уровня и культуры народа, достижение «расширенного потребления рабочих и крестьянских масс»[6]. Собственно, в резолюции съезда эта цель поставлена первой, ибо люди, определявшие исходные директивы пятилетки, были убеждены — может быть, утопически,— что социалистическая индустриализация в отличие от капиталистической уже на ранних этапах поведет к росту народного благосостояния.

---

[1] КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1970, т. 4, с. 33.

[2] См. там же, с. 33, 38.

[3] См. там же, с. 33, 41—42.

[4] *Бухарин Н.* Политическое завещание Ленина.— Коммунист, 1988, № 2, с. 98.

[5] Там же, с. 101.

[6] КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 33.

Дальнейшая идейная борьба показала, что важнейшим моментом данной стратегии являлось признание принципиальной равнозначности всех указанных целей для успеха социалистического строительства, равной необходимости достижения каждой из них, и притом достижения не последовательного (сначала одни, потом другие), но параллельного, осуществляемого более или менее одновременно, во всяком случае без разрывов, измеряемых многими годами и десятилетиями.

Стремление обеспечить параллельное движение к нескольким равнозначным целям, в свою очередь, обусловливало другие элементы этого варианта стратегии социалистического строительства. Отсюда, в частности, вытекали установки относительно решения главной практической проблемы всякой индустриализации — проблемы накоплений. В обстановке 20—30-х годов, когда у СССР отсутствовали какие бы то ни было внешние источники накоплений, эта проблема выступала по преимуществу как вопрос о соотношении между производством и потреблением. Считая необходимым обеспечить параллельное увеличение индустриального строительства и рост уровня жизни, сторонники рассматриваемой стратегии стремились найти своего рода компромиссные пропорции распределения национального дохода на фонд потребления и фонд накопления. В сущности, именно поиск такого компромисса выражала принятая XV съездом партии формула о том, что нельзя одновременно достичь «максимальной цифры того и другого, ибо это неразрешимая задача», нельзя также «исходить из одностороннего *интереса накопления*... или исходить из одностороннего *интереса потребления*», но нужно «исходить из оптимального сочетания обоих этих моментов» [1].

Равнозначность целей индустриализации и роста потребления определила также требование «оптимального сочетания» тяжелой и легкой промышленности. В этом сочетании «перенесение центра тяжести в производство средств производства» должно было ограничиваться признанием опасности «слишком большой увязки» государственных капиталов в крупном строительстве, дающем результаты «на рынке лишь через ряд лет», и пониманием того, что «более быстрый оборот в легкой индустрии (производство предметов первой необходи-

---

[1] КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 34.

мости) позволяет использовать ее капиталы и для строительства в тяжелой индустрии при условии развития *легкой* индустрии»[1]. Соответственно следует стремиться не к максимальным темпам наращивания накоплений и расширения тяжелой промышленности в течение ближайших нескольких лет, но к такому соотношению «элементов народного хозяйства», которое обеспечивало бы относительно быстрый темп развития в течение длительного периода[2].

Помимо отказа от «сверхиндустриалистической» точки зрения и принятия оптимальных (а не максимальных) темпов промышленного строительства с признанием равной значимости хозяйственного роста, подъема благосостояния и расширения социалистического уклада на основе добровольного кооперирования были связаны важнейшие установки разбираемого варианта стратегии в отношении крестьянства, составлявшего в то время подавляющее большинство населения. В указанных установках намечалось продолжение линии на охват всех бедняцких и середняцких групп деревни многообразными формами кооперации. При этом в них делался особый упор на сочетание всеобщего распространения снабженческо-сбытовых и торгово-посреднических кооперативных объединений с ускоряющимся развитием производственной кооперации — коммун, колхозов, артелей, производственных товариществ, кооперативных заводов и т. п. Однако имелось в виду, что государственной и общественной поддержки заслуживают только добровольные и экономически жизнеспособные формы коллективного хозяйства. Именно реальные экономические преимущества должны были стать главным средством вовлечения масс в производственную кооперацию и главной формой наступления на кулака. В этом смысле экономическое наступление на кулачество прямо противопоставлялось внеэкономическим, по сути, методам так называемого «раскулачивания»[3].

Как полагали сторонники данного курса, добровольный переход основных масс к коллективному хозяйствованию открывал перспективу сначала относительного сокращения роли кулаков и вообще частнокапиталистических элементов в экономике (при сохране-

[1] КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 35.
[2] См. там же, с. 34.
[3] См. там же, с. 108.

нии и даже абсолютном увеличении хозяйственного оборота этих групп)[1], а затем и полного их вытеснения, в том числе и через разные виды срастания с государственным и кооперативным социалистическим производством[2].

Разумеется, проводимое такими методами кооперирование крестьянства и вытеснение кулачества должно было занять продолжительное время. Значительную часть этого времени частнособственническая верхушка деревни оставалась бы держателем большой доли товарной продукции сельского хозяйства. Тем самым сохранялась вероятность возникновения затруднений при проведении хлебозаготовок по устанавливаемым государством ценам, угроза использования зажиточными слоями рыночной конъюнктуры в целях нажима на рабочую власть, сохранялась почва для попыток борьбы с политикой мобилизации средств для индустриализации и т. п. Однако последовательному соблюдению принципа добровольности и экономической оправданности кооперирования, экономической обоснованности взаимоотношений с крестьянством вообще придавалось в рамках рассматриваемой стратегии такое значение, что и в этих условиях административный произвол, нарушения революционной законности, возврат к методам продразверстки и другие меры внеэкономического принуждения рассматривались как совершенно недопустимые.

Вместо внеэкономических мер предлагалось прибегать к рыночному маневрированию (включая ввоз сельхозпродуктов из-за границы), применять кредитно-финансовые рычаги и другие экономические приемы[3]. Сторонники подобного подхода считали, что невыгоды возможного в подобных случаях сокращения фонда накопления и замедления промышленного роста в том или ином году будут перекрываться преимуществами здоровых отношений с деревней и расширением внутреннего рынка, ведущих к сохранению высоких темпов индустриализации в долговременной перспективе. Воп-

---

[1] См.: КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 35.

[2] «Кулак исчезнет тогда,— писал в 1927 г. экономист В. Базаров,— когда на почве гармонического сочетания индустрии и земледелия нам удастся создать в деревне настолько мощные формы коллективных хозяйств, что рядом с ними существование кулака станет экономически невозможным» (*Базаров В.* О наших хозяйственных перспективах и перспективном планировании.— Экономическое обозрение, 1927, май, с. 50).

[3] См.: КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 79—80, 108—109.

росы накопления, специально подчеркивал Н. И. Бухарин, нужно решать так, «чтобы политика индустриализации *не только не разрывала с крестьянством, а, наоборот, сплачивала союз с крестьянством...»* [1].

Естественной предпосылкой и своего рода гарантией параллельного развития промышленности, добровольной и хозяйственно жизнеспособной кооперации, роста жизненного уровня является сохранение стоимостных, товарно-денежных отношений в качестве важнейшего регулятора экономических взаимосвязей в обществе. Поэтому сохранение порядков нэпа составляет здесь фундамент, исходную основу социально-экономической стратегии. Весь этот вариант социалистического строительства исходит из убеждения, что нэп есть тот путь, на котором «только и возможно социалистическое преобразование хозяйства страны» [2]. Соответственно планирование, управление развитием народного хозяйства, социалистическим строительством в целом рассматривается в данном варианте как сложный процесс социально-экономического регулирования, в котором «реальный план неизбежно складывается органически», с учетом имеющихся обстоятельств, а плановые цифры и предположения имеют «относительный и условный характер» [3].

Так в основных чертах выглядит один вариант стратегии индустриализации и строительства социализма в СССР, отчетливо прочитывающийся во многих партийных документах 1927—1928 гг.

3. План форсированного развития

Вместе с тем в те же годы начал формироваться, а в последующие несколько лет получил полное развитие другой вариант стратегии социалистического строительства и индустриальных преобразований. Его зародыши можно найти уже в некоторых документах XV съезда ВКП(б), например в постановлении съезда по отчету ЦК, представленному И. В. Сталиным, или в резолюции «О работе в деревне», принятой по докладу В. М. Молотова. Развернутое обоснование этой стратегии дано

[1] *Бухарин Н.* Политическое завещание Ленина.— Коммунист, 1988, № 2, с. 98.

[2] КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 80.

[3] Там же, с. 32.

в документах последующих лет, в частности в решениях XVI и XVII съездов партии, в докладах и выступлениях И. В. Сталина, относящихся к 1928—1934 гг. Впрочем, и многие более поздние его работы в той или иной степени посвящены изложению и популяризации того варианта индустриализационной стратегии, который фактически был противопоставлен им курсу, вытекавшему из резолюции XV съезда партии «О директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства».

Надо признать, что в обоих вариантах теоретически провозглашались одни и те же конечные цели намечаемых преобразований — индустриализация народного хозяйства, кооперирование крестьянства и превращение социалистического уклада в преобладающий, подъем благосостояния и культуры трудящихся. На деле, однако, И. В. Сталин и его сторонники в своих построениях исходили из убеждения, что параллельное, более или менее равномерное движение ко всем главным целям практически нереально. Принцип равнозначности нескольких основных целей заменяется в предлагаемой ими стратегии идеей решающего, первостепенного значения одной из целей — возможно более быстрого роста промышленности и реконструкции народного хозяйства на промышленной основе. «Быстрый темп развития индустрии вообще, производства средств производства в особенности» выделяется здесь как «основное начало и ключ» индустриального преобразования экономики и социалистического строительства в целом [1].

Необходимость подобного подхода выводилась его защитниками из оценки внутренних и внешних условий, в которых находилась наша страна в тот период. С точки зрения внутреннего положения форсированное развитие промышленности диктовалось, по мнению И. В. Сталина, необходимостью создать предпосылки для скорейшей коллективизации крестьянства. Сталин и те, кто шел за ним, руководствовались убеждением (представляющимся ныне не слишком серьезным), что нельзя сколько-нибудь долго базировать Советскую власть одновременно на крупной государственной промышленности и единоличном мелкотоварном сельском хозяйстве, что мелкое частное производство не может мирно подчиняться социалистическому укладу, посте-

[1] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 11, с. 246; т. 12, с. 358—359.

пенно переплетаясь и сращиваясь с ним, что сохранение мелкотоварного хозяйства неизбежно ведет к усилению кулачества, к обострению классовой борьбы в размерах, опасных для самого существования советского строя [1].

С точки зрения международного положения — и здесь сталинские суждения выглядят более убедительными — необходимость первоочередного развития промышленности оределялась неотвратимым, как считал И. В. Сталин, приближением войны и недостаточностью промышленной базы СССР для успешного ведения этой войны. По правде сказать, Сталин, по-видимому, намеренно драматизировал ситуацию, когда в 1931 г. утверждал, что СССР отстал от передовых капиталистических стран на 50—100 лет. Но само по себе очень большое промышленное отставание от Запада было в то время несомненным фактом. Этот факт так или иначе приходилось учитывать при выработке любой стратегии развития СССР. Чтобы выжить, отсталость действительно нужно было ликвидировать, и потому формула И. В. Сталина — «либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [2] — даже сегодня (не говоря уже о 30-х годах) кажется доводом, с которым нельзя не считаться.

Впрочем, указанные соображения, несмотря на то что именно на них сосредоточивал основное внимание сам Сталин, никак не исчерпывают всей сложности идейно-политических разногласий, связанных с вопросом о равнозначности или неравнозначности целей социалистического строительства. Оппоненты сталинской линии не хуже своих противников понимали, что кооперирование деревни, преобладание социалистического уклада и в особенности обеспечение обороноспособности Советского государства могут быть достигнуты лишь при условии индустриальной перестройки экономики. Они, однако, считали, что без повышения жизненного уровня народа, без соблюдения добровольности и экономической обоснованности кооперирования индустриализация теряет подлинно социалистический характер. Более того, при этом сама возможность быстрого развития промышленности оказывается сомнительной, поскольку сокращается внутренний рынок, возникает недовольство масс, появляется угроза подрыва социальной основы

[1] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 11, с. 252—257; т. 12, с. 143—146.
[2] См. там же, т. 13, с. 39.

советского строя — союза рабочего класса и крестьянства. Одновременно ослабляется оборонная мощь страны, ибо в случае военного столкновения с империализмом наша революция, как писал, например, Н. И. Бухарин, может выйти из него «победоносно только тогда, когда крестьяне будут доверять рабочей власти»[1].

Между тем сторонники курса, выдвинутого Сталиным,— и как раз в данном пункте находится исток разногласий — полагали, что подобные опасности и трудности вполне преодолимы. Они были убеждены, что политическая система, государственные органы диктатуры пролетариата, авторитет Советской власти и Коммунистической партии, беззаветная вера народного авангарда — миллионов коммунистов, сознательных рабочих, крестьянской бедноты, молодежи — в социализм, их энтузиазм и готовность к самопожертвованию ради социалистического будущего открывают возможность преодолеть действие традиционных товарно-денежных факторов экономического развития, сосредоточить все ресурсы общества на первоочередном наращивании промышленного потенциала и добиться здесь успеха вне зависимости от того, как скажется подобная концентрация народных сил на других сторонах общественной жизни. При этом любые формы форсированного развития государственной промышленности и любые способствующие такому развитию формы обобществления сельского хозяйства, торговли, обслуживания — будь они действительно добровольными, экономически обоснованными или нет — рассматриваются как исторически оправданные и отождествляются с ростом социализма.

С убеждением, что преодоления промышленной отсталости следует добиваться, каких бы социально-экономических, политических, идейно-нравственных издержек это ни стоило, а также с уверенностью, что индустриализацию можно провести, несмотря на подобные издержки, просто сосредоточив на ней все ресурсы страны, связаны остальные черты стратегии, выдвинутой И. В. Сталиным в конце 20 — начале 30-х годов. В этой стратегии все направлено (так, по крайней мере, казалось ее сторонникам) на повышение темпов индустриального развития, на то, чтобы «максимум в десять лет... пробежать то расстояние, на которое мы отстали от пе-

---

[1] *Бухарин Н.* Политическое завещание Ленина.— Коммунист, 1988, № 2, с. 97.

редовых стран капитализма»[1]. Ради поддержания высоких темпов в ней предлагается всемерное расширение капиталовложений в промышленность, в том числе за счет сокращения фонда потребления и жесточайшей экономии средств, определяющих жизненный уровень народных масс[2]. В тех же целях считается необходимым и возможным осуществлять «передвижку средств из области производства средств потребления в область производства средств производства», сообразуясь почти исключительно с нуждами промышленного строительства и не считаясь с тем, что такая передвижка порождает острый недостаток потребительских товаров, «товарный голод» на языке того времени[3]. Допустимым и даже желательным провозглашается использование не вполне сбалансированных, «напряженных» планов и «напряженного» бюджета[4], несмотря на то что их следствием в условиях нехватки товаров неизбежно оказывался инфляционный рост цен. Стратегия ускоренного индустриального развития открыто требовала от советских людей «серьезных жертв» и призывала трудящихся, рабочий класс в первую голову, сознательно пойти на них[5].

Сталинский вариант стратегии социалистической индустриализации строился отнюдь не только в расчете на одни добровольные и сознательные усилия народа. Суровая необходимость быстрейшего преодоления отсталости оправдывала в глазах защитников этого варианта применение принудительных, насильственных мер там, где энтузиазма и добровольной готовности к жертвам оказывалось недостаточно. «Репрессии в области социалистического строительства,— признавал И. В. Сталин,— являются необходимым элементом наступления»[6]. Правда, здесь же он подчеркивал, что это элемент вспомогательный, неглавный. К несчастью, оставался открытым вопрос о том, как предотвратить возможность превращения насилия из вспомогательного средства в главное, кто и каким образом будет определять допустимые пределы, условия, целесообразные

---

[1] *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 41.

[2] См.: *Сталин И.* Вопросы ленинизма. 11-е изд. М., 1947, с. 488.

[3] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 11, с. 267.

[4] См. там же, с. 246.

[5] См. там же, т. 13, с. 176.

[6] Там же, т. 12, с. 309.

формы принуждения, в чем гарантии, что репрессии не станут использоваться в личных целях.

Особое значение придавалось возможному дополнению (а то и замене) добровольности принуждением в той части сталинского плана индустриализации и социалистического строительства, которая касалась сельского хозяйства и крестьянства. Крестьянство охватывало тогда свыше трех четвертей населения, так что расширение накоплений за счет потребления могло быть достигнуто главным образом посредством ограничения именно крестьянского потребления. К тому же отношения с крестьянством определяли не только финансовую основу накопления, но и многие его натуральные составляющие. Не говоря уже о производстве технического сырья, от крестьянства зависело увеличение поставок продовольствия в города, без чего невозможным становился какой бы то ни было рост промышленности и рабочего населения.

Именно при решении этих вопросов, как полагал И. В. Сталин, необходимость во что бы то ни стало ускорить промышленный рост делала неизбежным широкое использование многообразных мер принуждения. Сталинский план форсированной индустриализации с самого начала включал меры экономического принуждения крестьянства. Государство, владеющее практически всей промышленностью и определяющее положение на аграрном рынке, устанавливало высокие цены на промышленные товары, потребляемые деревней, и низкие на сельскую продукцию, вынуждая крестьян платить нечто вроде «дани», своего рода «сверхналог», дающий средства для индустриализации [1].

Подобное «переобложение» деревни, «перекачка средств» из фонда потребления сельского населения в фонд промышленного накопления неизбежно должны были столкнуться с попытками крестьянства, в особенности зажиточной его части, сократить продажу сельхозпродукции государству и добиться таким путем изменения цен. В соответствии с курсом, вытекающим из директив XV съезда партии о составлении пятилетнего плана, возникающие затруднения следовало преодолевать экономическими методами — закупками зерна за рубежом, рыночным маневрированием, т. е. идти на ослабление экономического принуждения и временное

---

[1] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 11, с. 188; т. 12, с. 49—50.

уменьшение фонда накопления. В отличие от этого в сталинском варианте предлагалось в подобных случаях дополнять экономическое принуждение применением по отношению к деревенской верхушке чрезвычайных мер внеэкономического принуждения. Такие меры стали применяться все шире начиная с 1928 г., когда выявились затруднения с заготовками хлеба (практически неизбежные в сознательно создаваемой ситуации роста цен на промышленные товары относительно цен на сельскохозяйственные продукты, которая к тому же обострялась нараставшим товарным голодом). «Лучше,— утверждал И. В. Сталин,— нажимать на кулака и выжать у него хлебные излишки... чем тратить валюту, отложенную для того, чтобы ввезти оборудование для нашей промышленности» [1].

Ощущение эффективности чрезвычайных мер, а также осознание того факта, что не кулачество, а именно середняцкая масса в основном определяет объем сельскохозяйственного производства [2], привели к тому, что со временем принуждение в сталинской стратегии стало рассматриваться как средство, которое может широко применяться и в отношении социалистического переустройства деревни в целом. В процессе формирования этой стратегии план длительного и чисто добровольного кооперирования крестьянства был заменен установкой на быструю коллективизацию, достигаемую с помощью по меньшей мере сочетания добровольности и принуждения. Опираясь на реальный поворот в сторону колхозов значительной части крестьянства (но отнюдь не всего и, видимо, даже не большинства его), И. В. Сталин с 1929 г. стал говорить о необходимости в ближайшие годы осуществить сплошную коллективизацию деревни [3]. Причем такая коллективизация мыслилась не просто как ускорение начатого ранее процесса кооперирования, она должна была стать началом качественно иной стадии процесса, где ход обобществления сельского хозяйства переставал определяться одним только преобразующим воздействием технико-экономического развития и мерой понимания крестьянами потенциальных преимуществ коллективного хозяйства. «...Чтобы мелкокрестьянская деревня пошла за социалистическим

[1] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 92.
[2] См. там же, с. 158.
[3] См. там же, с. 124—135.

городом,— говорил И. В. Сталин в это время,— необходимо еще, кроме всего прочего, *насаждать* в деревне крупные социалистические хозяйства в виде совхозов и колхозов... Социалистический город может *вести* за собой мелкокрестьянскую деревню не иначе, как *насаждая* в деревне колхозы и совхозы...» [1]

Тот факт, что стратегия «насаждения» колхозов с самого начала предполагала резкое повышение роли принуждения, яснее всего выступает в провозглашении прямого и практически неограниченного насилия в отношении зажиточной верхушки деревни. План сплошной коллективизации включал в качестве своего органического элемента переход от политики ограничения кулаков и чрезвычайных мер к политике раскулачивания, ликвидации кулачества как класса. «...Без проведения в жизнь политики ликвидации кулачества, как класса,— отмечал И. В. Сталин,— невозможно добиться преобразования деревни на началах социализма» [2]. Эта политика представляла составную часть образования и развития колхозов [3]. Она означала такое повышение уровня насилия (его эскалацию, сказали бы мы сегодня), что чрезвычайные административные меры прошлых лет выглядели сравнительно с ней пустяком, «пустышкой», по выражению самого Сталина [4].

Связь стратегии «насаждения» колхозов с внеэкономическим нажимом на основную массу крестьянства проявляется в открытых документах того времени не столь ясно, как в отношении кулачества. Тем не менее наличие такой связи в сталинском варианте развития не вызывает сомнения. Сами масштабы фактически осуществленного раскулачивания (о них будет речь дальше) были явно несоразмерны с реальной степенью обострения классовой борьбы (а в сущности, и с потенциально мыслимыми размерами кулацкого сопротивления). Н. Андреева в своей печально знаменитой статье пишет, например, о десятках тысяч «безвестных борцов за социализм», ставших жертвами классовой борьбы в деревне[5]. Поверим ей на слово, хотя цифры эти, по крайней мере в отношении периода коллективиза-

---

[1] *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 149.

[2] Там же, с. 359.

[3] См. там же, с. 166—170.

[4] См. там же, т. 13, с. 14.

[5] См.: *Андреева Н.* Не могу поступаться принципами.— Советская Россия, 1988, 13 марта.

ции, кажутся преувеличенными[1]. Однако и в таком случае раскулачивание многих миллионов людей, т. е. наказание нескольких сотен крестьян за каждого якобы убитого сторонника коллективизации, никак не выглядит ударом только по кулачеству как таковому.

Правда, беспощадная ликвидация кулачества уничтожала традиционную кабальную зависимость широких слоев крестьянства. Но одновременно — и это главное — подобная политика являла собой форму политического устрашения всей деревни, на глазах которой уничтожались наиболее крепкие и самостоятельные элементы крестьянства. Недаром раскулачивание затронуло гораздо бо́льшую долю сельского населения сравнительно с той, которая по любым меркам может быть отождествлена с кулачеством. Жертвами репрессий, которые должны были, по официальной версии, обрушиться на кулаков, стала значительная часть середняков.

Весьма характерно также, что линия на сплошную коллективизацию имела своим следствием отказ от ленинского принципа последовательных стадий кооперирования. План коллективизации означал требование перейти к производственному кооперированию прежде, чем завершится или хотя бы охватит большинство деревенского населения кооперирование кредита и снабженческо-сбытовых операций[2].

Вообще будем помнить, что дело здесь не только в субъективных намерениях и заранее составленных планах. Фактически коллективизация осуществлялась на основе широкого сочетания добровольности и принуждения, а судя по всему, даже при ведущей роли принуж-

---

[1] Знаменательно, что в многотомной «Истории КПСС» в разделах, посвященных проведению курса на сплошную коллективизацию и подавлению сопротивления кулачества, действительно говорится о террористических актах против коммунистов, работников Советов, колхозного и бедняцкого актива, но не сообщаются сведения, которые позволили бы говорить о десятках тысяч погибших от рук кулаков. Упоминаемые здесь цифры позволяют думать скорее о сотнях случаев. К примеру, говорится о том, что в разгар коллективизации в Ленинградской области было совершено 100 террористических актов, в Средне-Волжском крае — 353, в Центрально-Черноземной области — 749, в том числе 44 убийства (в остальных случаях, по-видимому, имели место поджоги строений, мордобой и т. п.— *Л. Г., Э. К.*) (см.: История Коммунистической партии Советского Союза. В 6 т. М., 1970, т. 4, кн. 1, с. 607).

[2] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 131.

дения — окончательное суждение об этом позволят составить только специальные исследования. Столь массовый масштаб принуждения в процессе коллективизации нельзя объяснить, как это неоднократно пытался сделать И. В. Сталин, одними только ошибками «на местах» или происками «кулаков и вредителей». Коль скоро переход к сплошной ускоренной коллективизации оказался сопряженным с применением методов принуждения в отношении десятков миллионов людей, ясно, что элемент принуждения заложен в существе подобного перехода, соответствует логике его замысла независимо от того, сознавали это творцы данной политики заранее или нет.

Закономерным продолжением принятия максимальных темпов индустриализации в качестве главной цели, снижения потребления и ускоренной сплошной коллективизации в качестве важнейших средств ее достижения, выступает в сталинской стратегии линия на перестройку методов, самого стиля управления народным хозяйством. Очевидно, что ни быстрая «перекачка» средств из фонда потребления в фонд накопления, ни ликвидация кулачества, ни широкое использование внеэкономических средств давления на крестьянство невозможны в обстановке нэпа и развития товарно-денежных отношений. Поэтому отмена основных положений нэпа и сведение к минимуму роли товарного хозяйства и товарных связей выступали необходимым условием осуществления того варианта развития, который отстаивали И. В. Сталин и его окружение.

На словах признавая ленинское понимание нэпа как политики, принятой «всерьез и надолго», И. В. Сталин одновременно подчеркивал, что «всерьез и надолго» не значит навсегда. Когда новая экономическая политика, говорил он в 1929 г., «перестанет служить делу социализма, мы ее отбросим к черту»[1]. Видимо, семь-восемь лет существования нэпа представлялись Сталину достаточно серьезным и долгим временем.

Правда, формально в сталинском плане первоначально речь шла не о полной отмене нэпа «по всему фронту», а об отмене его начальной стадии, тех форм и порядков, которые были характерны для периода расцвета новой экономической политики[2]. Но даже если счи-

---

[1] *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 171.
[2] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 307.

тать, что эти заявления были искренними, они показывают, что от нэпа предлагалось оставить только некоторые элементы частной торговли и «свободного» товарооборота[1], т. е. сохранить товарно-денежные отношения главным образом в сфере обращения и резко ограничить их в сфере производства. Во всяком случае, подобное ограничение товарно-денежных отношений означало невозможность продолжать управление хозяйством с помощью тех преимущественно экономических методов, которые преобладали в 20-е годы и которые в стратегии, связываемой с именами Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и их единомышленников, намечалось сохранить на будущее.

Вместо этого в сталинском варианте развития основное место должны были занять административно-командные формы управления народным хозяйством. В свете последующего опыта известное утверждение И. В. Сталина (сделанное еще в 1927 г.) о том, что «наши планы есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а планы-*директивы*»[2], обязательные для прямого исполнения, прочитывается как декларация принципиальной целесообразности директивных, административно-командных методов управления экономикой. По убеждению И. В. Сталина и тех, кто разделял его точку зрения, именно и только установка на директиву, приказ, выполняемый любой ценой, могла обеспечить преодоление отсталости и тот темп развития, от которого, по их мнению, зависели судьбы страны. В этом смысле отказ от планирования, использующего рыночный механизм и поэтому признающего «относительность» плановых предположений, переход от них к сильно централизованному, жестко директивному планированию составляют конечный вывод, своего рода итоговое обобщение стратегии быстрой индустриализации и коллективизации.

Таким образом, на исходе 20-х годов партии и ее руководящему ядру предстояло сделать выбор между двумя вариантами социалистического индустриального преобразования общества. Один вариант предполагал сохранение товарно-денежных основ нэповской эконо-

---

[1] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 307. Сомнения в искренности Сталина связаны с тем, что в то самое время, когда произносились эти слова, происходило свертывание нэпа как в производстве, так и в торговле.

[2] *Сталин И. В.* Соч., т. 10, с. 327.

мики и проведение сравнительно плавной, так сказать, органической индустриализации, в которой темпы задаются сочетанием промышленного роста с ростом благосостояния и постепенным добровольным кооперированием крестьянства. Второй вариант представлял план форсированной индустриализации, в которой основной упор делается на высокий темп промышленного развития, и ради этого признается допустимость снижения жизненного уровня, возможность стремительного проведения сплошной коллективизации с помощью любых средств, целесообразность перехода от экономических к административно-командным методам управления. С точки зрения темпов здесь, по сути дела, предлагается вернуться к идеям сверхиндустриализации, которые И. В. Сталин в середине 20-х годов называл «фантазией», но которые на рубеже 20—30-х годов объявил реальными[1] и необходимыми для того, чтобы быстро преодолеть отсталость и во всеоружии встретить надвигающуюся войну.

4. Принятие плана форсированного развития — смена стратегии социалистического строительства

После нелегкой и очень сложной борьбы (ибо она затрагивала одновременно множество различных проблем помимо экономики, в первую голову вопрос о власти) выбор был сделан в пользу плана форсированной индустриализации. Этот выбор и определил «великий перелом» рубежа 20—30-х годов, а с ним весь характер развития страны в течение нескольких последующих десятилетий.

В социально-экономической жизни, о которой сейчас речь, перелом этот выразился в переходе к быстрому свертыванию нэпа (хотя И. В. Сталин и говорил о конце лишь его первой стадии), в фактической отмене самостоятельности предприятий и замене товарно-денежных взаимосвязей между ними директивно-адресным

[1] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 349. Подробнее о переходе И. В. Сталина с позиций борьбы против левацких идей Л. Д. Троцкого и «новой оппозиции», которую он вместе с Н. И. Бухариным вел в середине 20-х годов, к политике, по сути дела, еще более левацкой см.: *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6.

планированием производства и снабжения, в стремительном расширении промышленного строительства при одновременном сокращении реальных вложений в социальную сферу, в немедленном развертывании сплошной коллективизации, в быстром переходе от преимущественно экономических к преимущественно административным методам управления народным хозяйством.

Начиная с 30-х годов у нас утвердилось (и впоследствии приобрело прочность необсуждаемой догмы) представление о том, что, несмотря на связанные с ним издержки, поворот к политике форсированной индустриализации и сплошной коллективизации, равно как и обусловленные этим политические перемены, отражал единственно возможную в тех условиях линию социалистического строительства. Альтернативный вариант рассматривался как «капитулянтская установка», ведущая к реставрации капитализма и означающая «на деле *предательство интересов рабочего класса*»[1]. Теперь, однако, подобная оценка выглядит далеко не столь убедительной, как это казалось абсолютному большинству современников. Что же касается утверждений о сознательной антисоциалистической направленности стратегии противников Сталина, они представляются проявлением странного ослепления или просто злонамеренной провокацией. Как уже отмечалось, полувековой опыт реального социализма — и в СССР, и в других странах — говорит о принципиальной возможности построения социализма в рамках политики, близкой к той, которая предлагалась оппонентами И. В. Сталина. В свете этого опыта (да и просто при непредвзятом прочтении основных документов того времени) перелом конца 20 — начала 30-х годов выглядит вовсе не как выбор между «предательским» курсом на реставрацию капитализма и единственно возможным курсом социалистического строительства, а как переход от одного варианта некапиталистической индустриализации к другому.

Разумеется, принципиально социалистическая ориентация обоих вариантов отнюдь не значит, что они в равной мере отвечали конкретным условиям индустриализации и строительства социализма в Советской России 20—30-х годов. Есть немалые основания считать,

---

[1] КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 410; см. также: *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 8.

что близящаяся военная угроза, промышленная отсталость, недостаточность культурного уровня народных масс, слабость демократических навыков и демократических политических традиций создавали обстановку, которая больше благоприятствовала выбору форсированной индустриализации, административно-командных методов управления в качестве средства решения главных задач, стоявших перед обществом, нежели плавному продолжению развития на базе нэпа. Переход к форсированию индустриализации был в подобной обстановке наиболее вероятным исходом внутрипартийной борьбы. Убедительнее всего об этом говорит принятие перелома конца 20-х годов большинством партии, массовый трудовой энтузиазм, готовность преодолевать трудности в годы первых пятилеток и, главное, всенародный героизм, всенародное усилие, всенародная жертва, обеспечившие победу в великой борьбе с фашизмом.

Будем тем не менее объективны. Соображения такого рода, несмотря на всю их весомость, свидетельствуют скорее о большей вероятности поворота в сторону стратегии форсированного развития, нежели о том, что такая стратегия гарантировала наилучшие результаты. Последующие события также позволяют усомниться в том, что форсирование есть единственный способ обеспечить быструю индустриализацию. За последние полвека применение приемов регулирования экономики с помощью методов, использующих рыночный механизм (в том числе и в социалистических странах), не раз обеспечивало быстрые темпы народнохозяйственного роста. Нельзя исключить, что сохранение преимущественно экономических форм управления, т. е. нефорсированное развитие, и у нас повело бы к бурному подъему и позволило бы добиться результатов, не уступающих тем, что получились в итоге перехода к административно-командной системе форсирования индустриализации.

Еще вероятнее (но, конечно, только вероятнее!), что, если бы даже нефорсированное индустриальное развитие оказалось менее быстрым, все же и оно дало бы возможность создать промышленную основу, достаточную для ведения войны. Ведь реальной базой военной экономики явилось не производство 1940 г., а та его часть, которая находилась в распоряжении советского общества после потерь сорок первого года, когда у нас оста-

лось лишь $^2/_3$ основных производственных фондов довоенного времени (68% в 1942 г.). Образно говоря, страна воевала не 18 млн т стали, полученными в 1940 г., но 8—10 млн т, выплавлявшимися в 1942—1944 гг.[1] Для достижения такого уровня не нужно было бы вводить командно-директивную систему управления, и потому, скорее всего, не произошло бы трагедии уничтожения лучших хозяйственных и военных специалистов накануне вражеского нашествия. Меньший промышленный потенциал «работал» бы тогда с большей эффективностью, а действие многих субъективных факторов победы — народной преданности советскому строю, сознательной дисциплины масс, инициативности и профессионализма руководящих работников — ощущалось бы с особой силой.

Разумеется, подобным доводам, в свою очередь, противостоит соображение о том, что начальные поражения могли иметь место в любом случае, и тогда пришлось бы воевать с половиной более низкого исходного производственного потенциала. Так что все это, по крайней мере пока, не более чем предварительные предположения. Сегодняшние наши знания и сегодняшний опыт достаточны, чтобы отбросить догматическую уверенность в том, что на рубеже 20—30-х годов был избран бесспорно оптимальный вариант развития, что здесь не может быть вопросов и сомнений. Но они недостаточны, чтобы с полной и абсолютной уверенностью дать ответ на вопрос о том, к каким результатам привело бы принятие иного плана индустриализации и социалистического строительства.

В любом случае решение этого вопроса (в отличие от занимающей нас общей логики различных планов развития) возможно лишь после и с учетом тщательного анализа множества фактов и документов, до сих пор не освоенных наукой. Да и при таком условии сопоставление реального хода истории с неосуществившимися вариантами развития, по-видимому, сохранит элемент неопределенности. Ибо оно все же останется сравнением многообразной, полнокровной действительности, выступающей перед нами в красочной полноте подробностей, в наглядном, очевидном сцеплении человеческих действий и их следствий, со схемой, сколь

---

[1] См.: Великая Отечественная война. 1941—1945. Энциклопедия. М., 1985, с. 803, 807, 810, 815.

угодно логичной в главном, но неизбежно абстрактной и произвольной в своих детальных построениях.

Спору нет, в истории бывают ситуации, когда последствия различных вариантов возможного развития настолько очевидны, что их оценка представляется абсолютно однозначной. Приход нацизма к власти в Германии сравнительно с сохранением демократии, победа в Великой Отечественной войне сравнительно с поражением, допущение термоядерной войны ради любых целей сравнительно с сохранением мира — вот некоторые примеры ситуаций очевидного выбора. Подобные положения, однако, возникают сравнительно редко. Гораздо чаще исторические повороты совершаются таким образом, что остается известная неясность, предположительность относительно преимуществ и издержек того, что случилось в реальном течении событий, и того, с чем был бы связан другой их разворот.

Увы, недостижимость однозначного и абсолютного вывода лишает нас удобного (и, к несчастью, ставшего привычным) ощущения, что развитие советского общества, в том числе и преобразование его, начатое на рубеже 20—30-х годов, шло в основном наилучшими путями, что всегда торжествовала оптимальная линия, что ошибки, если они и были, касались второстепенных сторон общественной жизни. Но подобное ощущение, даже если оно способствует сиюминутному душевному покою, в конечном счете только убаюкивает и развращает общественное сознание. Это ощущение противоречит живительному духу сомнения, входящему составной частью в фундамент науки (в частности, марксистско-ленинской традиции научного обществоведения); оно препятствует росту демократической политической культуры, всегда связанной с развитием критики, с признанием необходимости снова и снова возвращаться к критическому освоению и обобщению опыта социальной жизни.

Уверенность в том, что все поворотные решения, принимавшиеся в прошлом, были в основном верны, что отвергнутые возможности развития заведомо хуже осуществленных, не имеет ничего общего ни с убежденностью в правоте марксистско-ленинского мировоззрения, ни с историческим оптимизмом вообще. Чем скорее исчезнет безоговорочная вера в абсолютную правильность всего совершившегося ранее, чем чаще уважение к прошлым усилиям будет сочетаться, говоря ленински-

ми словами, со «спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д.»[1], тем вероятнее, что наши современные решения будут лучше, точнее, обоснованнее прежних.

Вместе с тем очень важно отрешиться и от механического детерминизма в подходе к истолкованию событий конца 20 — начала 30-х годов, от уверенности, что вариант развития, предлагавшийся Н. И. Бухариным и его сторонниками, оказался неосуществленным прежде всего потому, что он был неосуществим. Приверженцы таких взглядов исходят из того, что тогда в Коммунистической партии и в околопартийной массе преобладали примитивные, «грубо-коммунистические» представления о социализме как об обществе, в котором личность, по сути дела, растворяется в коллективе, о том, что его можно поэтому «строить» быстро, пренебрегая интересами и потребностями людей, не останавливаясь ни перед какими жертвами. Действительно, господство именно таких представлений, служивших теоретической и идеологической базой сталинизма, способствовало его сравнительно легкой победе над альтернативной стратегией, восходившей к ленинским идеям о нэпе. И тем не менее нельзя считать, что сталинскому плану форсированной индустриализации и «подстегивания» процессов социалистических преобразований была заведомо обеспечена безоговорочная победа.

Ведь примитивному пониманию движения к социализму через абсолютное отрицание всей предшествующей истории уже противостояли новые ленинские идеи, из которых начинала складываться концепция социалистического переустройства, исходившая из необходимости осуществлять его, сообразуясь с реальными интересами людей, обогащая новое общество всеми достижениями культуры, науки, техники, накопленными человечеством. И было немало сторонников этой концепции в рядах партии, в том числе в ее руководящих кругах. А относительно недавние (по тому времени) события, связанные с заключением Брестского мира и переходом к нэпу, свидетельствовали о том, что значительные массы коммунистов, крепко державшихся за устаревшие, а то и скомпрометировавшие себя идеи, удавалось увлечь за собой руководителям, осознавшим необходимость по-новому оценить социальную реальность и при-

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 390.

нимать такие новые политические решения, которые возможно более полно отражали бы подлинные интересы трудящихся. Была такая возможность и у Бухарина и его сторонников в конце 20-х годов — при выработке стратегических установок на новом этапе социалистических преобразований. Но то, что получалось у Ленина, им не удалось. Их политические просчеты, неумение убедить партийные массы в правильности своих предложений относительно способа и темпов этих преобразований определили итоги внутрипартийной борьбы в не меньшей степени, чем количественное преобладание приверженцев упрощенных представлений о социализме. Иначе говоря, сложившаяся к концу 20— началу 30-х годов расстановка сил в партии и обществе способствовала победе сталинской стратегии, но не предопределяла ее с «железной необходимостью».

Невозможность окончательно решить проблему неосуществленных вариантов не значит, что не стоит анализировать и оценивать то, что совершилось. Применительно к попыткам разобраться в социально-экономическом значении поворота, происшедшего на рубеже 20—30-х годов, и в существе последовавших за ним преобразований нынешняя невозможность вынести окончательное суждение о том, был ли этот поворот наилучшим (или, наоборот, наихудшим) решением, означает только одно: тем настоятельнее необходимость выявления объективных итогов тогдашнего выбора, соответствия фактических результатов намечавшимся планам, определения ближайших и отдаленных последствий начатых преобразований.



II

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ФОРСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

1. Создание административно-хозяйственной системы

Самым общим и самым важным итогом социально-экономического развития в 30-е годы явилось построение реального варианта социалистической экономики. Хотя общество, возникшее у нас после поворота к форсированному развитию, являло собой лишь неразвитую, сильно деформированную форму социализма, во многом отличную от идеала, ради которого совершалась революция, тем не менее в СССР было создано народное хозяйство, действующее на базе не частной, но государственной и колхозной собственности на средства производства. Трудом и социальной активностью советского народа была доказана практическая возможность уничтожения капитализма и замены его принципиально иным социально-экономическим строем, не связанным с частной собственностью. Социализм, уничтожение частной собственности возможны, новый строй может функционировать и развиваться в современном мире, он показал свою жизнеспособность — вот главное, что свершилось в советском обществе предвоенных лет, если мерить его развитие масштабом всемирно-исторической перспективы.

Но было бы ошибкой прилагать этот масштаб к измерению непосредственных последствий поворота, происшедшего на рубеже 20—30-х годов. Создание социалистической экономики в СССР — пусть и в деформированном виде,— взятой в ее всеобщих, принципиальных чертах, есть итог всего социалистического строительства, начиная с Великой Октябрьской социалистической революции, всей борьбы рабочего класса и всей деятельности Коммунистической партии в процессе революционного преобразования советского общества. Перелом конца 20-х годов, понимаемый в том смысле,

о котором шла речь выше, обусловил не поворот к социализму как таковому — есть все основания считать, что продолжение процессов, протекавших в 20-е годы, также вело к складыванию экономики социалистического характера. Этот поворот означал *выбор особенного, конкретного варианта социалистического строительства*. Тем самым он предопределил особенный, конкретный вариант, конкретный тип тех общественных отношений и той экономики, хозяйственного механизма, которые сложились в нашей стране в 30—40-е годы.

Очевидно, что в советской экономической системе того времени преобладали отнюдь не высшие, зрелые формы социализма. Как известно, возможности и преимущества социализма не реализованы полностью до сих пор, а уж экономика 30—40-х годов, во всяком случае, отражала главным образом свойства и закономерности раннего, неразвитого и явно деформированного социализма. Мало того, советская экономическая система этого периода представляла собой особый, специфический тип раннесоциалистической экономики. Разрушение капитализма, отрицание частной собственности выступали в ней гораздо сильнее, чем созидание социализма в собственном смысле. Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что это была монопольно-государственная или, как принято говорить теперь, административная, «командно-нажимная» экономическая система, жестко подчиненная прямому, адресному и сильно централизованному планированию, связанная с резким ограничением сферы действия товарно-денежных отношений, с почти полным устранением самостоятельного начала из деятельности предприятий, с абсолютным господством директивных, по сути дела, внеэкономических методов управления народным хозяйством [1]. По данной системе, ее достижениям и издержкам, по ее явным и скрытым, ближайшим и дальнейшим следствиям, а не по всеобщим свойствам социализма следует оценивать фактические итоги преобразований 30—40-х годов, подобно тому как по курсу форсированной индустриализации, предло-

---

[1] См.: Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза; Материалы Пленума ЦК КПСС 25—26 июня 1987 года. М., 1987; *Курашвили Б. П.* Государственное управление народным хозяйством.— Советское государство и право, 1982, № 6; *Попов Г. Х.* С точки зрения экономиста.— Наука и жизнь, 1987, № 4.

женному И. В. Сталиным в конце 20-х годов, а не по общему ленинскому плану социалистического строительства нужно судить об их замысле.

По нашему убеждению, самое существенное, что выявляет рассмотрение итогов функционирования социально-экономической системы, установившейся у нас после поворота конца 20 — начала 30-х годов, заключается в следующем: основные достижения этой системы связаны с форсированной индустриализацией ключевых секторов экономики, с ускорением перехода народного хозяйства от стадии, где преобладают доиндустриальные, домашинные технологические способы труда, к преимущественно индустриальной стадии развития производительных сил, а также с непосредственными следствиями подобных сдвигов. Что же касается других экономических, социальных, политических процессов, образующих вместе с ростом производства целостность общественной жизни и общественного прогресса, их течение говорит скорее о слабостях, неизбежной ограниченности административно-хозяйственной экономической системы. К тому же в политике и культуре с особой силой проявились неожиданные, непредвиденные результаты форсированной индустриализации, те ее следствия, о которых, скорее всего, не думали искренние сторонники Сталина в 20-е годы.

Спору нет, в реальной действительности достижения и издержки административно-командной модели раннесоциалистической экономики, задуманные и непредвиденные, были сплетены друг с другом, образуя, в конце концов, разные проявления одних и тех же процессов. Успехи достигались здесь ценой издержек, в том числе и совершенно неожиданных для энтузиастов форсированной индустриализации. В этом смысле издержки выступали одной из предпосылок достижений. Но в аналитическом разборе целесообразно отделить — хотя бы мысленно, условно — достижения от издержек и рассмотреть их последовательно. Логично (и справедливо) начать с достижений, с тех планируемых результатов, которые провозглашались целью поворота конца 20-х годов.

Решающее достижение административно-командной системы, созданной в итоге перестройки политического и хозяйственного механизма в конце 20 — начале 30-х годов, заключается в том, что она, эта перестройка, смогла обеспечить наращивание производительных сил,

достаточное, чтобы преодолеть стадиальное отставание народного хозяйства СССР и поднять его ключевые сектора на ту же технико-технологическую стадию, на какой находились тогда другие промышленно развитые страны. Форсированная индустриализация осуществлялась не совсем в те сроки, не совсем в тех масштабах и совсем не с теми издержками, не с теми социальными последствиями, о которых шла речь, когда решался вопрос о выборе этого варианта. Но форсированная индустриализация была осуществлена, и советская экономика в целом приобрела индустриальный характер.

Тот факт, что административно-командная хозяйственная система оказалась пригодной для успешного проведения форсированной индустриализации, объясняется тем, что хозяйственный механизм этого рода во многих отношениях соответствовал объективным потребностям и природе индустриальных преобразований, осуществлявшихся в нашей стране. Индустриализация СССР в конкретно-исторической обстановке 30—40-х годов представляла собой очень нелегкую и чрезвычайно трудоемкую задачу, требовавшую длительного и упорного напряжения всех сил общества. Но при огромных трудностях и тяготах преобразований в социально-экономической сфере задача эта в определенном смысле, прежде всего в ее технико-технологическом аспекте, отличалась относительной простотой или, лучше сказать, несложностью. Поскольку индустриализационные преобразования развертывались у нас значительно позже, чем они совершились в Западной Европе и в США, индустриальное развитие нашего производства во многом упрощалось применением уже готовой, имевшейся техники и разработанных технологий, равно как и подготовкой рабочей силы на основе вполне освоенных приемов научной организации труда, известных квалификационных требований и т. д. Знаменательно, что 80—85% вложений в активную часть основных производственных фондов, созданных у нас в период индустриализации, т. е. основная часть машин и оборудования предприятий, построенных, расширенных, реконструированных в это время, приходится на долю импортированной, ввезенной из-за рубежа техники [1]. В рамках глобального научно-технического

[1] См.: *Шаститко В.* Монополия государства на внешнеэкономическую деятельность.— Правда, 1987, 22 мая.

прогресса индустриальные преобразования 30—40-х годов имели во многом вторичный и в этом смысле экстенсивный характер.

Кроме того, и это не менее важно, индустриальный тип производства по своей технико-технологической природе может первоначально формироваться в отдельных секторах экономики. (В данном отношении становление индустриального производства существенно отличается от развертывания современной НТР, успех которой возможен только при условии, что радикальные перемены более или менее одновременно охватывают многие сферы народного хозяйства.) Форсированная индустриализация, осуществлявшаяся в советском обществе, предполагала именно такой, концентрированный на немногих точках, подход. На протяжении ряда пятилеток основной упор планомерно и сознательно делался на первоочередном индустриальном развитии некоторых отраслей главным образом тяжелой и оборонной промышленности, от которых, как считали современники, зависела экономическая самостоятельность и военная безопасность страны. В теоретическом смысле именно эта концентрация усилий в немногих решающих точках, а вовсе не темпы, взятые сами по себе, образует отличие форсированной индустриализации от «нормальной» индустриализации, предполагающей соразмерное (пусть и более медленное) изменение всех секторов экономики.

Подобная концентрация роста в относительно немногих точках, и притом точках сравнительно однородных по технико-технологическому строению, помимо всего прочего, делала обозримыми решающие процессы развития (вернее, те процессы, которые тогда казались решающими). Политический и экономический центр реально был способен непосредственно руководить развитием главных точек экономического роста, осуществлять по отношению к ним прямое адресное планирование, натуральное распределение ресурсов и продукции.

Короче, важнейшей предпосылкой и средством форсированной индустриализации, базирующейся на первоочередном развитии немногих ключевых отраслей и широком использовании импортируемой техники, является количественное соотношение средств и сил общества, поддержание условий, при которых никто и ничто не отвлекает средства на другие цели. Административно-командная система при полной монополии

государства в народном хозяйстве как раз и создавала механизм, способный обеспечить такие условия [1]. В той обстановке и в тех формах, в каких осуществлялась форсированная индустриализация нашей страны, даже многие слабости этой системы (ее внеэкономический характер, ориентация на экстенсивный рост, инерционность, чрезмерная централизация, ослабление демократических и самоуправленческих начал развития) оборачивались своего рода преимуществами, во всяком случае в краткосрочной перспективе, по отношению к задачам, считавшимся тогда приоритетными.

2. Решение проблемы накоплений и промышленный рывок. Преодоление индустриальной отсталости

Немедленную эффективность административно-командного «подхлестывания» страны, как выражался И. В. Сталин [2], с очевидностью показывают конкретные социально-экономические сдвиги, совокупность которых составила индустриализационный рывок 30—40-х годов. Впрочем, одновременно эти же сдвиги выявляют неизбежную ограниченность внеэкономических методов в длительной перспективе, невозможность достичь с их помощью и вообще в условиях всеохватывающего огосударствления важнейших целей и идеалов социализма.

С самого начала 30-х годов удалось добиться резкого изменения структуры общественного производства, при котором несравнимо большая, чем прежде, часть его стала направляться (прямо или косвенно) на создание основных фондов — строительство, изготовление производственной техники и оборудования, производство продукции на экспорт для закупки того же оборудования за границей и т. п. Соответственно произошло сокращение части производства, обеспечивающей текущее потребление.

[1] Во избежание недоразумений еще раз оговоримся, что мы отнюдь не утверждаем, что административно-командная система была единственно возможным или наилучшим механизмом осуществления индустриализации. Этот вопрос требует специального обсуждения. Мы говорим о том, что она была (и это подтвердила жизнь) пригодна для проведения индустриализации в ее форсированном варианте.

[2] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 183.

Обобщенное представление о масштабах этого изменения дают цифры, характеризующие соотношение фонда накопления и фонда потребления в составе национального дохода. По природе вещей фонд потребления, т. е. стоимость благ, непосредственно потребляемых населением в индивидуальной или коллективной форме, охватывает основную часть национального дохода. Но при том что фонд накопления (стоимость того, что идет на расширение производства и в запасы) практически всегда уступает фонду потребления, его увеличение (или уменьшение) — даже не слишком большое сравнительно с долей потребления — отражает экономические процессы громадной значимости. Достаточно сказать, что переход от самой слаборазвитой аграрной экономики к индустриальной и научно-индустриальной экономике современного типа обычно сопровождается возрастанием доли накопления примерно с 5—10% до 20—30% национального дохода.

Тем поразительнее, что у нас в течение первой пятилетки доля накоплений, составлявшая и до революции и в середине 20-х годов не более 10% национального дохода, выросла примерно до 29% в 1930 г., 40% — в 1931 г. и 44% — в 1932 г.[1] Думается, что, при всем значении энтузиазма одной части народа и при всей покорности другой, столь стремительного возрастания накопления (и лежащего в его основе перераспределения общественного труда) нельзя было добиться без использования директивного хозяйственно-политического механизма, способного «подхлестывать» общество, мобилизовать силы и средства, не считаясь с экономическими и социальными ограничениями.

Заметим, что применение командно-административных методов переструктурирования производства и решения проблемы накоплений вместе с преимуществами сразу же обнаруживало и свои слабости. Внеэкономический характер этих методов, связанная с ними возможность произвола при крайней неточности, затрудненности обратной связи (т. е. информации о том, какой реальный эффект несут те или иные меры)

---

[1] См.: *Вайнштейн А. Л.* Народный доход России и СССР, с. 92, 98; *Орлов Б. П., Костарева О. В.* Первая пятилетка: некоторые проектировки плана и его фактические результаты.— Известия СО АН СССР, 1983, № 1. Серия общественных наук, вып. 1, с. 43; *Либерман Я.* Стратегия накопления.— Коммунист, 1988, № 13, с. 37.

зачастую вели к ошибочным решениям, к чрезмерной, ненужной концентрации усилий, к неэффективному использованию капитальных вложений. Последующий опыт (в том числе опыт развивающихся стран) подтвердил, что оптимальный размер накоплений отнюдь не всегда совпадает с тем максимальным его увеличением, которого можно добиться с помощью директивного нажима. За некоторым пределом (зависящим от конкретных экономических, социальных, культурных условий) расширение накоплений перестает способствовать наращиванию производственного потенциала даже в его материально-вещной части. Более того, чрезмерный рост накоплений становится даже вредным, а связанные с ним тяготы и лишения напрасными, ибо он неизбежно дезорганизует экономическую жизнь и подрывает воспроизводство рабочей силы [1].

В ходе нашей индустриализации целесообразный предел роста накоплений был, по-видимому, далеко превышен в середине и в конце первой пятилетки, когда была сделана волюнтаристская, если не авантюрная, попытка увеличить первоначальные задания плана по многим показателям (и без того крайне напряженные) еще в 2—3 раза [2].

Фонд накопления в эти годы был поднят чуть ли не до половины национального дохода. Однако никакого общего ускорения экономического роста, как об этом свидетельствует динамика национального дохода, не произошло. Наоборот, темпы прироста продукции начиная с третьего года первой пятилетки стали падать [3]. В конечном счете замедлился общий подъем экономики, выражаемый движением национального дохода. По данному показателю не были достигнуты даже минимальные задания пятилетнего плана. Первоначально пятилетка была составлена в двух вариантах: отправной рассчитывался с учетом неблагоприятного состояния не зависящих от общества факторов (урожай, внешнеторговая конъюнктура, международная обстановка); оптимальный — применительно к наилучшему стечению обстоятельств. Так вот, в соответствии

---

[1] См.: *Либерман Я.* Стратегия накопления.— Коммунист, 1988, № 13, с. 37—41.

[2] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 345—346.

[3] См.: *Лацис О.* Проблема темпов в социалистическом строительстве. Размышления экономиста.— Коммунист, 1987, № 18, с. 84.

с отправным вариантом плана национальный доход в конце пятилетки должен был превысить исходный уровень на 82%, в соответствии с оптимальным вариантом — на 103%; фактическое повышение составило, по различным расчетам, не более 60—70% [1].

Резкое ограничение сферы действия товарно-денежных отношений, не допускающих чрезмерных отклонений от объективно действующих экономических законов, равно как и практически полная ликвидация свободы критики приводили к тому, что административно-командная система временами словно бы захлебывалась своей непосредственной мощью. Но постепенно она «нащупывала» макропропорции, при которых повышение фонда накопления ограничивалось пределами, совместимыми с быстрым ростом тех секторов экономики, которые считались приоритетными. В начале второй пятилетки фонд накопления составил примерно 30% национального дохода, в конце ее — 20—25% [2]. В дальнейшем (если отвлечься от военных лет) он, судя по официальной статистике, обычно колебался в пределах 25—30% национального дохода. По существу, норма накоплений была несколько более высокой, ибо средства производства, образующие главную часть накоплений, десятилетиями оценивались у нас ниже стоимости, а предметы потребления — выше. С учетом этого обстоятельства можно полагать, что фонд накопления в нашей стране в предвоенные и послевоенные годы заметно превышал 30% национального дохода [3].

Установившиеся после первоначальных колебаний соотношения, при которых фонд накопления охватывал не менее 1/4—1/3 национального дохода (а не 1/10, как в 20-е годы), означают, что проблема накоплений, необходимых для индустриализации, была в основном решена, материальные и трудовые ресурсы страны оказались переориентированными на преобразование и развитие производственного аппарата. Решение

---

[1] См.: *Орлов Б. П., Костарева О. В.* Первая пятилетка: основные межотраслевые пропорции.— Известия СО АН СССР, 1984, № 12. Серия экономики и прикладной социологии, вып. 3, с. 56; *Орлов Б. П.* Иллюзии и реальность экономической информации.— ЭКО, 1988, № 8, с. 4.

[2] См.: Материалы Пленума ЦК КПСС 25—26 июня 1987 года, с. 41; *Вайнштейн А. Л.* Народный доход России и СССР, с. 109.

[3] См.: *Вайнштейн А. Л.* Народный доход России и СССР, с. 147.

проблемы накоплений создало материально-ресурсные и финансовые возможности индустриального роста. Но возможности еще надо использовать. К числу достижений 30-х годов, основу которых образует героический труд советских людей, но в которых обозначились также сильные стороны сложившейся тогда хозяйственно-политической системы, принадлежит фактическая реализация этих возможностей, их воплощение в действительность. Яснее и полнее всего успешное использование возможностей, предоставленных концентрацией ресурсов огромной страны, проявилось в развитии промышленности. В этой сфере на протяжении предвоенного и послевоенного десятилетий был совершен поистине исторический скачок.

Правда, и здесь фактический рост по многим показателям оказался гораздо более медленным, нежели темпы, которые И. В. Сталин и его сторонники считали достижимыми в рамках форсированной индустриализации и ссылками на которые они обосновывали в борьбе конца 20-х годов преимущества своей линии сравнительно со стратегией более плавного развития. В соответствии с оптимальным вариантом первого пятилетнего плана, утвержденным в 1929 г. в качестве обязательного, намечалось к исходу пятилетки довести ежегодное производство электроэнергии до 22 млрд кВт·ч, угля — до 75 млн т, чугуна — до 10 млн т, стали — до 10 млн т, тракторов — до 53 тыс. шт., автомобилей — до 100 тыс. шт. [1] Через несколько месяцев постановлениями ЦК партии, Совнаркома и ЦИК СССР эти задания были увеличены. В следующем, 1930 г. на XVI съезде партии, где была окончательно закреплена политика форсированной индустриализации и сплошной коллективизации, И. В. Сталин провозгласил, что подобная политика дает возможность достичь еще более высоких темпов. По его заявлениям, ежегодное производство чугуна в конце пятилетки может и должно быть поднято до 17 млн т, тракторов — до 170 тыс. шт., автомобилей — до 200 тыс. шт. [2] Точно также Г. К. Орджоникидзе в докладе на XVII партконференции (январь — февраль 1932 г.) говорил о том, что в

---

[1] См.: КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 202; *Лацис О.* Проблема темпов в социалистическом строительстве.— Коммунист, 1987, № 18, с. 83.

[2] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 345—346.

последнем году первой пятилетки добыча угля возрастет до 90 млн т[1].

В действительности к концу первой пятилетки ни один из этих показателей не был достигнут. В 1932 г., когда, как было объявлено, завершилось выполнение первого пятилетнего плана, фактическое производство электроэнергии составило не 22 млрд кВт·ч, а 13,5, угля не 75 млн т и не 90, но 64,4 млн т, чугуна не 10 и не 17, а 6,2 млн т, стали не 10 млн т, а 5,9 млн, тракторов не 53 и тем более не 170 тыс., а 49 тыс. шт., автомашин не 100 и не 200 тыс., но лишь 24 тыс. шт.[2] Задания оптимального варианта первого пятилетнего плана по этим показателям удалось выполнить только на втором-третьем году следующей пятилетки. Что же касается утверждений относительно еще большего повышения темпов роста некоторых отраслей промышленности, о чем И. В. Сталин говорил на XVI съезде партии, они оказались совершенно беспочвенными. Обещанный тогда уровень был достигнут лишь по завершении второй пятилетки, а то и после войны (в частности, в отношении производства чугуна, нефти, тракторов)[3].

Явная переоценка возможностей форсированной стратегии и административно-командных методов ее осуществления отчетливо выступила и на начальных этапах подготовки второго пятилетнего плана. В директивах XVII партийной конференции (1932 г.) к составлению второго пятилетнего плана, принятых по докладу В. М. Молотова и В. В. Куйбышева, намечалось увеличить выработку электроэнергии за пять лет в 6 раз и довести ее до 100 млрд кВт·ч в год, добычу угля — в 3 раза, до 250 млн т, чугуна — более чем в 3 раза, до 22 млн т в год[4]. В действительности производство этих видов продукции на последнем году второй пятилетки было в 1,5—3 раза ниже: в 1937 г. производство электроэнергии составило 36,2 млрд кВт·ч, угля — 128 млн т, чугуна — 14,5 млн т[5]. К тому уровню производства, который намечался директивами

---

[1] КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 26.

[2] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г. Статистический ежегодник. М., 1961, с. 241; *Лацис О.* Проблема темпов в социалистическом строительстве.— Коммунист, 1987, № 18, с. 83.

[3] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 241, 262, 292.

[4] См.: КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 37.

[5] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 241, 254, 269.

XVII конференции на конец второй пятилетки, в действительности страна вышла только в послевоенные годы.

Как видно, реальный рост промышленности после перелома конца 20 — начала 30-х годов примерно на пятилетие отставал от темпов, которые были обещаны инициаторами поворота в момент его осуществления. Только с началом второй пятилетки, примерно в 1933—1934 гг., возобладал более реалистический подход к определению возможностей директивного планирования и административно-командного хозяйственного механизма в промышленной сфере. Хотя во второй и последующих пятилетках далеко не все задания плана удавалось выполнить точно и в срок, отставание с этого времени — по крайней мере по производству средств производства — измерялось в процентах, а не в разах [1].

Не беремся с уверенностью судить, чем был вызван и что в действительности выражал взрыв утопических заявлений о возможных темпах промышленного строительства, столь характерный для И. В. Сталина и его ближайшего окружения в поворотные годы форсированной индустриализации. Видимо, здесь слились и искренняя вера в силу партии и рабочего класса, и убежденность в могуществе хозяйственно-политической системы, создававшейся в это время, и отсутствие опыта, и эйфория, связанная с политическим и идейным торжеством внутри партии, и, наконец, стремление (циничное, но довольно эффективное в политически не слишком развитой среде) увлечь народ близостью великой цели.

Но как бы то ни было, тогдашние советские руководители, скорее всего, не были одиноки в своих нетерпеливых стремлениях ускорить бег истории. Вместе с ними широкие слои партии и комсомола, коммунистически настроенные рабочие и часть крестьянства, молодая интеллигенция ощущали великий перелом, наступ-

[1] Показательны в этом отношении некоторые задания окончательного варианта второй пятилетки. Несмотря на то что их, как и в первой пятилетке, не удалось выполнить полностью, разница между планом и фактом здесь имеет совершенно иной масштаб. Например, намечалось произвести в 1937 г. 38 млрд кВт · ч электроэнергии, а фактически было произведено свыше 36 млрд кВт · ч; угля соответственно — 152 и 128 млн т, чугуна 16 и 14,5 млн т, автомашин — 200 и 199 тыс. шт. (см.: КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 132—133; Народное хозяйство СССР в 1972 г., с. 170—175).

ление социализма по всему фронту как создание принципиально новой обстановки, в которой «невозможное возможно», где доступно «сказку сделать былью», где для борцов и энтузиастов «нет преград ни в море, ни на суше».

Подобные настроения достаточно больших групп населения явно не были только результатом пропаганды[1]. Будучи проявлением идеологии наверстывания отсталости любой ценой и быстрого созидания нового мира, они одновременно стали активным социально-психологическим фактором ее возникновения и упрочения. В этом смысле положение XVI съезда партии (1930 г.) о том, что в промышленности можно и нужно добиться темпов, дающих возможность «Советскому Союзу в кратчайший исторический срок догнать и перегнать передовые капиталистические страны в технико-экономическом отношении»[2], при всей очевидной сегодня своей нереалистичности выражало истинную направленность массового народного сознания 30-х годов.

Неполное соответствие промышленного роста в годы форсированной индустриализации тому, что декларировалось ее сторонниками в период, когда определялся выбор вариантов развития, имеет немалое значение для понимания последствий этого выбора (равно как и для оценки отвергнутого варианта). Тем более что подобное несоответствие десятилетиями замалчивалось, и это способствовало складыванию ирреальной идеологической атмосферы, в которой принятые на высшем уровне планы и решения зачастую провозглашались выполненными независимо от фактического состояния дел и несмотря на одновременную публикацию цифр, прямо говорящих о противном.

Но как ни существенно сравнение обещанного с выполненным, не оно играет главную роль при оценке сдвигов, происшедших после поворота к форсированной индустриализации. Решающее значение в данной связи имеет все-таки сопоставление того, что было, с тем, что стало. При подобном подходе сразу же становится очевидным, что, хотя промышленное развитие нашей страны после поворота к форсированной инду-

---

[1] Феномен массового энтузиазма на начальных этапах социалистического строительства подробно описан в кн.: *Козлов В. А., Хлевнюк О. В.* Начинается с человека. Человеческий фактор в социалистическом строительстве: итоги и уроки 30-х годов. М., 1988.

[2] КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 409.

стриализации не достигло первоначально провозглашенных темпов, все же само по себе оно ускорилось в громадной степени.

Вопрос этот не так прост, как кажется на первый взгляд. Прежде всего надо подчеркнуть: утверждение о том, что форсированная индустриализация привела к ускорению промышленного роста, имеет смысл лишь при сравнении ее с нормальными периодами индустриального развития. В начале 20-х годов, когда шло восстановление промышленности, могли достигаться и более высокие и более низкие темпы, чем в 30—40-е годы, но эти темпы не отражают ничего, кроме легкости получения высоких процентов и возможности их огромного колебания при ничтожных масштабах натуральных показателей. Сопоставлять итоги форсированной индустриализации надо поэтому не с 20 годами, а со временем нормального, нефорсированного промышленного развития России в дореволюционные годы.

Далее, приходится признать, что при имеющихся данных совершенно точное сравнение темпов индустриального роста в периоды бурного промышленного развития вряд ли вообще возможно. Точное измерение темпов требует сопоставления обобщенных показателей прироста промышленной продукции, выраженной в сравнимых ценах. Но как раз выражения в сравнимых ценах практически нельзя добиться в эпохи быстрых индустриальных сдвигов. В такие эпохи — и это особенно верно в отношении 30—40-х годов — резко меняется структура производства, так что с каждым годом в нем все большую роль начинают играть новые, не существовавшие ранее виды продукции. Их стоимость почти невозможно привести к ценам других периодов и даже начальных лет данного периода (ибо тогда такой продукции просто не было). А так как в эпохи быстрой индустриализации неизбежно возникают инфляционные тенденции и происходят громадные подвижки в ценах, сравнения, основанные на обобщающих стоимостных показателях, оказываются очень ненадежными. Как правило, они приводят к завышению темпов роста в те периоды, когда происходит особенно заметное обновление продукции [1]. С этой точки зрения стоимостные данные о шестикратном увеличении про-

[1] См.: *Лацис О.* Проблема темпов в социалистическом строительстве.— Коммунист, 1987, № 18, с. 82; *Селюнин В., Ханин Г.* Лукавая цифра.— Новый мир, 1987, № 2, с. 181—201.

мышленного производства на протяжении довоенных пятилеток кажутся не очень убедительным доказательством ускорения, достигаемого на основе форсированной индустриализации (сравнительно с нефорсированным ростом в дореволюционные годы). Отсюда, по-видимому, и то недоверие, с которым иной раз встречаются шаблонные рассуждения о преимуществах форсированного роста.

Тем не менее реальность качественного ускорения промышленного развития в условиях форсированной индустриализации может быть доказана. Для этого нужно использовать более грубые сравнительно со стоимостными, но зато вполне надежные натуральные показатели, прямо характеризующие изменение выпуска ключевых видов индустриальной продукции в тот или иной период. Весьма убедительно сопоставление некоторых из таких показателей за 13 лет развития России перед первой мировой войной (1900—1913 гг.) и 12 лет довоенных пятилеток (1928—1940 гг.). За 13 дореволюционных лет ежегодное производство чугуна и стали, например, выросло менее чем в 2 раза (соответственно с 2,6 млн т и 2,3 млн т до 4,2 и 4,3 млн т), производство угля — более чем в 2 раза (с 12 млн т до 29 млн т), производство нефти практически не изменилось (10,4 млн т и 9,2 млн т). В то же время за 12 лет советской индустриализации годичное производство чугуна и стали увеличилось в 4—5 раз (примерно с 3 и 4 млн т соответственно до 15 и 18 млн т), угля почти в 5 раз (с 35 до 166 млн т), нефти — почти в 3 раза (с 12 до 31 млн т) [1].

Как видно, можно спорить о точности цифр, показывающих, во сколько раз форсированная индустриализация ускорила промышленный рост СССР сравнительно с тем, что давало капиталистическое развитие дореволюционной России. Можно и нужно думать о цене и непредвиденных последствиях подобного ускорения. Но сам факт ускорения очевиден и неопровержим. На протяжении 30—40-х годов энтузиазм и усилия советских людей подняли производство основных видов промышленной продукции на принципиально иной уровень, нежели тот, что был характерен для дореволюционной России или Советского Союза 20-х годов (см. табл. 1).

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 241, 254, 262.

Таблица 1

Рост производства некоторых видов промышленной продукции СССР

	1913 г.	1928 г.	1940 г.	1950 г.
Электроэнергия (млрд кВт·ч)	2,0	5,0	48,3	91,2
Нефть (млн т)	9,2	11,6	31,1	37,9
Уголь (млн т)	29,1	35,5	165,9	261,1
Чугун (млн т)	4,2	3,3	14,9	19,2
Сталь (млн т)	4,2	4,3	18,3	27,3
Серная кислота (млн т)	0,1	0,2	1,6	2,1
Цемент (млн т)	1,5	1,8	5,7	10,2
Станки металлорежущие (тыс. шт.)	1,5	2,0	58,4	70,6
Электродвигатели (мощность в тыс. кВт)	...	259	1855	6774
Автомобили (тыс. шт.)	...	0,8	145,4	362,9
Тракторы (тыс. шт.)	—	1,3	31,6	116,7
Комбайны зерноуборочные (тыс. шт.)	—	—	12,8	46,3
Бумага (тыс. т)	197	285	812	1180
Хлопчатобумажные ткани (млн пог. м)	2582	2678	3954	3899
Обувь кожаная (млн пар)	60	58	211	203
Часы бытовые (млн шт.)	0,7	0,9	2,8	7,6
Радиоприемники и радиолы (тыс. шт.)	—	3	160	1072

Источник: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 235—237; Народное хозяйство СССР в 1972 г., с. 96—99; 170—175.

Свидетельством качественной природы происшедших сдвигов может служить тот факт, что к началу войны СССР преодолел абсолютное отставание от главных государств Западной Европы по производству основных видов индустриальной продукции. В конце 30-х годов (в отличие от предшествующего десятилетия и дореволюционного времени) производство электроэнергии, топлива, чугуна, стали, цемента в нашей стране превосходило соответствующие показатели Германии, Англии, Франции или вплотную приближалось к ним (см. табл. 2). В 1940 г. в СССР было выработано около 48 млрд кВт·ч электроэнергии, в то время как в Германии — 37 млрд кВт·ч, в Англии — 40, во Франции — 20 млрд кВт·ч. Тогда же у нас было выплавлено 18 млн т стали, в Германии — 18, в Англии — 13, во Франции — 8 млн т. К началу 40-х годов по абсолютному объему только в США производилось существенно больше промышленной продукции, чем в СССР (в

частности, в 1940 г. в США было выработано 188 млрд кВт·ч электроэнергии и выплавлено 62 млн т стали[1]).

Понятно, что скачок в энергетике и металлургии, который отражают эти цифры, важен не только сам по себе, но и потому, что за ним стоит преобразование производственного аппарата в промышленности в целом. В 30-е годы был реконструирован, расширен, во многом создан заново весь комплекс машиностроения, химии, оборонной промышленности. Появились целые современные отрасли и подотрасли, такие, как, скажем, авиационная и автомобильная промышленность, тракторостроение, комбайностроение, производство танков и многое другое, что практически отсутствовало у нас до поворота к форсированной индустриализации. Послевоенное промышленное развитие 40 — начала 50-х годов, во многом продолжившее процессы предвоенных пятилеток, еще больше упрочило это положение.

Чрезвычайно существенно также, что в 30—40-е годы вместе с созданием производственного аппарата современной промышленности шло быстрое формирование соответствующих кадров рабочих и специалистов. Общая численность рабочих выросла с 8—9 млн в 1928 г. до 23—24 млн в 1940 г. и 28—29 млн человек в 1950 г., в том числе в промышленности соответственно с 4 млн до 10 и 12 млн человек. Число специалистов, занятых в народном хозяйстве, поднялось с 0,5 млн в 1928 г. примерно до 2,5 млн в 1940 г. и более чем до 3 млн в 1950 г. (в том числе собственно в промышленности со ста тысяч до более чем миллиона инженеров и техников)[2]. В стране стало складываться массовое, многомиллионное ядро индустриальных работников современного типа.

«Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями»[3],— писал В. И. Ленин на первом году советской власти. Невеселая эта констатация относилась в то время к большинству населения нашей страны во всем его национальном разнообразии. Ибо слабости работника в данном случае отражают не вечные черты национального характера (вечных черт

---

[1] См.: Страна Советов за 50 лет. Сборник статистических материалов. М., 1967, с. 108—109. По Германии и Франции берутся данные о производстве стали в 1937 г.

[2] См.: Труд в СССР. М., 1968, с. 22, 81, 251; Народное хозяйство в 1972 г., с. 181, 503.

[3] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 36, с. 189.

Таблица 2

Сравнение абсолютного объема производства некоторых видов промышленной продукции в СССР и капиталистических странах

	СССР в процентах			
	к США	к Англии	к Франции	к Германии*
*1913 г.***				
Электроэнергия	9	49	110	82
Добыча основных видов топлива (в пересчете на условное топливо)	8	19	106	38
Чугун	15	44	51	38
Сталь	15	63	70	38
Цемент	13	69	101	39
Хлопчатобумажные ткани	40	31	...	...
1928 г.				
Электроэнергия	4	31	34	29
Добыча основных видов топлива (в пересчете на условное топливо)	7	23	89	35
Чугун	9	49	33	24
Сталь	8	49	45	29
Цемент	6	42	44	32
Хлопчатобумажные ткани	30	...	...	...
1940 г.				
Электроэнергия	26	121	245	132
Добыча основных видов топлива (в пересчете на условное топливо)	27	105	437	133
Чугун	35	179	405	95***
Сталь	29	139	415	108
Цемент	25	77	127***	75
Хлопчатобумажные ткани	37	134	187***	...
1950 г.				
Электроэнергия	22	136	265	197
Добыча основных видов топлива (в пересчете на условное топливо)	26	144	475	203
Чугун	32	196	247	172
Сталь	30	165	316	195
Цемент	26	103	137	92
Хлопчатобумажные ткани	32	152	266	327

Источник: Народное хозяйство СССР в 1967 г. Статистический ежегодник. М., 1968, с. 158—161.

* За 1950 г.— данные по ФРГ.
** Россия в границах 1913 г.
*** Данные за 1937 г.

вообще нет ни у какого народа), не недостаток трудолюбия, способностей, таланта, но наследие крепостничества, отсутствие школы капиталистической цивилизации, неразвитость современной культуры, техники, технологии. Строго говоря, средний труженик в нашей стране отличался от трудящихся «передовых наций» отнюдь не в качестве работника вообще. Как традиционный крестьянин или ремесленник, он в спорости и умелости своей работы мало в чем уступал аналогичным хозяйственным фигурам в иных обществах. От работников экономически наиболее развитых стран наш человек в начале XX в. отставал (зачастую и теперь отстает) именно как современный работник индустриального производства. Стремительное расширение современного рабочего класса и современной интеллигенции означало, помимо всего прочего, создание некоторых важных предпосылок для того, чтобы русский, а также украинец, грузин, татарин, еврей — вообще любой человек в нашей стране перестал быть плохим работником.

Не будем преувеличивать. Ускорение промышленного роста в 30—40-е годы не достигло (и не могло достигнуть) таких темпов, при которых наша страна оказалась бы способной догнать и перегнать капиталистические страны по технико-экономическому уровню своего развития. Производство главнейших видов промышленной продукции в расчете на душу населения (а именно оно служит показателем уровня технико-экономического развития) и в конце 30-х, и в конце 40-х, и даже в конце 50-х годов оставалось в СССР заметно более низким, чем в большинстве стран Западной Европы и Северной Америки (см. табл. 3). Душевая выработка электроэнергии, выплавка стали, добыча угля, производство цемента, выпуск тканей в нашей стране составляли четверть, половину, иногда $^2/_3$ соответствующих показателей США, Германии, Англии, Франции. Более низкими оставались у нас и квалификация, качество и эффективность труда большинства рабочих и специалистов.

Но отставание в полтора или даже в 3—4 раза в расчете на душу населения при сопоставимом или превосходящем объеме промышленного производства в абсолютном измерении отражает совсем иное различие, нежели то, которое характеризовал в 20-е годы разрыв в 5—10 раз по душевым показателям и в 2—3 раза

Таблица 3

Соотношение производства некоторых видов промышленной продукции в расчете на душу населения в СССР и капиталистических странах

	СССР в процентах			
	к США	к Англии	к Франции	к Германии
1913 г.				
Электроэнергия	5	13	26	...
Уголь	3	3	17	4
Чугун	8	12	12	8
Сталь	8	16	16	7
Цемент	7	17	23	...
Хлопчатобумажные ткани	21	7	...	...
1937 г.				
Электроэнергия	18	30	43	29
Уголь	21	14	66	17
Чугун	30	48	46	23
Сталь	27	38	56	23
Цемент	21	21	32	13
Хлопчатобумажные ткани	26	22	46	...
1953 г.				
Электроэнергия	21	45	69	54
Уголь	52	32	115	43
Чугун	34	65	71	51
Сталь	32	57	86	55
Цемент	30	38	39	26
Хлопчатобумажные ткани	37	63	82	95

Источник: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 188—189.

по абсолютным. Качественное, стадиальное отставание советской промышленности было преодолено, и СССР утвердился в ряду самых могучих индустриальных государств современного мира. В сущности, мы уже в 30-е годы стали одной из трех-четырех, а в 40—50-е — одной из двух стран, способных производить любой вид промышленной продукции, доступной в данное время человечеству [1].

[1] Разумеется, преодоление стадиального отставания производительных сил не дается раз и навсегда. Похоже, что в 60—70-е годы, когда многие промышленные государства освоили достижения НТР и перешли от индустриального к научно-индустриальному производству, мы снова оказались на разных стадиях технико-технологического развития.

При этом если в общеисторической перспективе прогресс определяется (и измеряется) душевым производством, то непосредственно в 30—40-е годы судьба страны зависела скорее от абсолютных масштабов промышленного потенциала. В конце концов, исход военного столкновения (в той мере, в какой он вообще зависел от индустрии) решали не душевые показатели, а способность промышленности производить такую же или лучшую, чем у противника, боевую технику в таком же или большем числе. Не сколько танков и самолетов приходится на душу населения, а какое соотношение танков и самолетов у нас и у врага — вот с чем приходится считаться в бою, и вот чем можно обосновывать вывод об успехе индустриализации в главном. Ускорение нашего промышленного роста в 30-е годы обеспечило создание к началу второй мировой войны ключевых отраслей современного индустриального производства. Оно дало возможность сформировать в промышленности «опорный край державы», несущую конструкцию народного хозяйства, на которой в «роковые сороковые» могла крепиться вся военная экономика Советского Союза.

Эта экономика, сконцентрировавшая производственную мощь тысяч заводов, построенных, оборудованных, реконструированных за годы пятилеток, и квалификацию миллионов рабочих, инженеров, конструкторов, освоивших тогда индустриальный труд, оказалась способной произвести больше вооружения, чем смогли сделать Германия и ее союзники. За годы войны советская промышленность выпустила 103 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 112 тыс. самолетов, 482 тыс. орудий, немецкая — соответственно 46, 90 и 320 тыс. [1]

Здесь стоит снова обратиться к сопоставлению форсированного промышленного роста в 1928—1940 гг. и нормального, нефорсированного развития русской промышленности в 1900—1913 гг. За каждым из этих равнопродолжительных периодов последовало военное столкновение нашей страны с одним и тем же внешним противником. Война выступила в качестве своего рода экзаменатора, проверяющего результаты сделанного. Причем во втором случае экзаменатор был гораздо «строже», нежели в первом. Всю первую мировую войну

[1] См.: Великая Отечественная война. 1941—1945. Энциклопедия, с. 815.

Германия и ее союзники воевали на два фронта и могли выставить против России лишь меньшую часть своих армий; большая их часть оставалась на западном театре военных действий. Три года из четырех лет Великой Отечественной войны Советский Союз вел борьбу с фашистской Германией практически один на один. Не треть, как в 1914—1918 гг., а примерно $^3/_4$ немецких вооруженных сил было сосредоточено против нас в 1941—1945 гг.[1] Тем не менее дореволюционная Россия не сумела добиться военного успеха, а Советский Союз сокрушил фашизм.

Разумеется, более интенсивное индустриальное развитие в 30-е годы сравнительно с 900-ми не исчерпывает всех причин военного поражения царской России и победы советского народа. Но то обстоятельство, что перед первой мировой войной Россия не смогла ликвидировать стадиальное отставание своей промышленности от немецкой, а перед второй мировой войной СССР сумел преодолеть подобное отставание, несомненно, стоит в ряду этих причин. Как уже отмечалось, никто не может сказать, какой именно уровень промышленного развития был необходим для победы. Сложись условия иначе, чем это было в реальности, скажем, не будь преступного уничтожения цвета военных и хозяйственных кадров в конце 30-х годов, очень может быть, удалось бы выиграть войну и при несколько меньшем промышленном потенциале. К тому же отнюдь не обязательно надо было создавать этот потенциал именно теми зверскими методами, именно с теми издержками и страданиями, какими осуществлялась и какими сопровождалась форсированная индустриализация. Однако вообще без индустриального рывка, при простом продолжении промышленного роста, подобного тому, какой шел перед первой мировой войной, мы не смогли бы справиться с фашизмом. Не будем забывать об этом, оценивая и итоги форсированной индустриализации, и ее социальную, человеческую, нравственную цену.

---

[1] Считая округленно, в 1914—1918 гг. на русском фронте находилось от 60 до 100 дивизий Германии и ее союзников, или около $^1/_3$ войск центральных держав. В 1941—1945 гг. против СССР сражалось от 190 до 266 дивизий, т. е. примерно $^2/_3$—$^3/_4$ вооруженных сил Германии и ее сателлитов (см.: Советская историческая энциклопедия. М., 1967, т. 10, с. 970—1005; Великая Отечественная война. 1941—1945. Энциклопедия, с. 8—20, 190—192, 664).

3. Сельское хозяйство: противоречия сплошной коллективизации

Сложнее обстоит дело с сельским хозяйством. Применительно к этой сфере народного хозяйства о позитивных итогах поворота к административным методам ускорения социально-экономических преобразований вообще и сплошной коллективизации в частности можно говорить лишь в очень узком и строго определенном смысле. Перелом конца 20 — начала 30-х годов привел к утверждению в сельском хозяйстве специфических форм некапиталистических отношений, которые лишь с очень большой натяжкой можно считать грубым, казарменным вариантом отношений раннесоциалистического типа, но которые удовлетворяли непосредственные нужды форсированной индустриализации. Удовлетворяли не обязательно оптимальным образом, но все-таки удовлетворяли. Эти отношения позволяли включить деревню в единую систему директивного планирования и в жестко централизованный социальный организм общества. Что же касается роста производства, столь характерного для промышленности, его в аграрной экономике не было ни в 30-е, ни в 40—50-е годы. Подобное положение было обусловлено как особенностями общественных отношений, установившихся тогда в сельском хозяйстве, так и методами, использованными при их установлении.

В сельском хозяйстве, как и в промышленности, на протяжении 30—40-х годов произошло радикальное обновление и расширение производственного аппарата, сопровождавшееся концентрацией производства. В конце 20-х годов это производство велось небольшим числом совхозов, колхозов, артелей и, главное, силами примерно 24 млн единоличных крестьянских хозяйств, использовавших 32 млн лошадей, преимущественно ручной инвентарь, простейшие сельскохозяйственные механизмы и только 18 тыс. тракторов[1]. В 1940 г., к исходу первого десятилетия коллективизации, 3,6 млн еще оставшихся единоличными хозяйств играли второстепенную роль, а основная часть сельскохозяйственного производства оказалась сконцентрированной в 4 тыс. совхозов и 237 тыс. колхозов, применявших, помимо 18 млн лошадей

[1] Здесь и далее речь идет о тракторах в 15-сильном исчислении.

и простейшего инвентаря, 684 тыс. тракторов, 182 тыс. комбайнов, 228 тыс. грузовых автомашин. В 1950 г. главную массу аграрной продукции давали 124 тыс. колхозов и 5 тыс. совхозов, у которых, правда, стало гораздо меньше лошадей (13 млн), но в чьем распоряжении находилось 933 тыс. тракторов, 211 тыс. комбайнов, 283 тыс. автомашин. Общественное производство дополнялось личным подсобным хозяйством колхозников, рабочих, служащих. Но будучи производителем существенной доли сельскохозяйственной продукции (от $^1/_4$ до $^1/_5$ только в товарной части), оно все же не определяло общее положение дел в сельском хозяйстве. В целом энерговооруженность сельскохозяйственного труда выросла за это время в 3—4 раза, а энергообеспеченность сельского хозяйства в 1,5—2 раза (в расчете на одного работника приходилось в 1928 г. 0,4 л. с. энергетических мощностей, на 100 га пашни — 19 л. с.; в 1940 г. соответственно 1,5 и 32 л. с. и в 1950 г.— 1,7 и 47 л. с.) [1].

При прочих равных условиях наращивание энергетических мощностей и механизации создавало гораздо большие возможности для подъема всех отраслей сельского хозяйства, нежели те, что существовали в 20-е годы. Беда, однако, в том, что этих прочих равных условий не было. Сельская механизация в течение десятилетий после колхозного преобразования деревни имела не сплошной, а скорее точечный характер; она касалась лишь отдельных операций, и подавляющая часть колхозников по-прежнему работала вручную. Кроме того, механизация всюду, где она развивалась, принимала обезличенные крупноколлективные формы. Между тем в сельском хозяйстве крупные коллективы далеко не всегда имеют преимущества сравнительно с индивидуально-семейной организацией труда. Большинство колхозов, созданных посредством «скоростной» коллективизации, десятилетиями оставались в основном механическими, административными объединениями. Кооперация многих видов труда в них не становилась органическим, экономически и технико-технологически оправданным процессом.

По этой причине, а также под влиянием общей социально-политической обстановки колхозы практически

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 371, 448; Страна Советов за 50 лет, с. 116, 152, 156.

потеряли кооперативную самостоятельность. Управление сельскохозяйственным производством — и внутри колхозов и в отношениях колхозов с вышестоящими организациями — с самого начала приобрело единообразный и централизованный характер. На практике получилось так, что вместе с коллективизацией резко сократилась возможность учитывать специфику местных условий, ослабла связь между результатом труда и его вознаграждением.

И еще одно обстоятельство. Переустройство деревни в начале 30-х годов быстро потеряло связь с подлинным кооперированием добровольно объединяющихся хозяев и превратилось, по выражению О. Лациса, в принудительную, «палочную» коллективизацию[1]. Коллективизация эта проводилась у нас такими методами, а колхозная жизнь затем строилась в таких формах, что одновременно с обогащением и механизацией средств производства снижалось, если так можно выразиться, качество главной производительной силы сельского хозяйства — крестьянского умения и крестьянского желания вести хозяйство на земле. Уже в самый момент создания колхозов массовое раскулачивание, захватившее и значительную часть середняков, выбросило из деревни миллионы наиболее крепких, опытных, сведущих сельских хозяев. Их исчезновение (как бы ни оценивалось уничтожение кулачества в любом другом отношении), несомненно, понизило квалификацию совокупного сельскохозяйственного работника нашей страны.

Впоследствии, когда колхозная жизнь устоялась, многие ее черты также способствовали раскрестьяниванию, ослаблению в крестьянской среде ряда крайне важных слагаемых сельской квалификации. Централизм, детальное разделение труда, отсутствие связи заработка с конечным результатом вели к тому, что оставалась неиспользованной, а затем и вовсе терялась бесценная способность крестьянина быть хозяином земли, принимающим в расчет гигантское разнообразие условий, с которыми надо считаться в сельском хозяйстве. «Теперь,— говорил со странным удовлетворением И. В. Сталин,— крестьяне требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, а от руководства колхоза»[2]. Впрочем, в рамках административ-

---

[1] *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6, с. 131.
[2] *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 223.

но-приказной системы и у колхозных руководителей исчезали возможности проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Прежде столь распространенный в деревне тип работника-хозяина, поглощенного, говоря толстовскими словами, «неотступным думанием» о своем деле, постепенно стал едва ли не редкостным исключением. На смену ему в качестве массовой социальной фигуры пришел исполнитель — в одних случаях добросовестный, трудолюбивый, дисциплинированный, в других — расхлябанный, ленивый, склонный к пьянству и обману, но во всех случаях не обладающий хозяйским чувством инициативы и зачастую не стремящийся иметь его.

Палка никого еще не делала хорошим работником. В конечном счете сплошная и стремительная коллективизация привела к утверждению у нас сельскохозяйственного производства, в котором действовали гораздо более мощные механические средства производства, нежели те, что имелись в единоличном хозяйстве, но которое было менее подвижно, хуже приспособлено к разнообразию условий и которое вели работники, потерявшие многие элементы квалификации, хозяйской ответственности, трудовой морали, необходимые для успешной работы на земле.

Спору нет, попытки ускорить развитие страны внеэкономическими средствами и связанный с ними поворот к широкому использованию административно-командных форм управления сопровождались появлением как позитивных, так и негативных факторов не в одном лишь сельском хозяйстве. В промышленности, строительстве, на транспорте также сказывались не только преимущества концентрации сил и централизации управления, но и вытекающие отсюда затрудненность учета местных условий, проявления инициативы и конкуренции, сложность внедрения последовательно результатных форм оплаты труда. Но в промышленной сфере народного хозяйства эти обстоятельства имели относительно (по сравнению с сельским хозяйством) меньшее значение. Индустриальное производство во многих отношениях проще сельскохозяйственного. Специфика местных условий играет здесь несколько меньшую роль, особенно на начальных этапах форсированной индустриализации, когда на первый план выходит подъем небольшого числа ведущих отраслей. Управление из центра может осуществляться в этих отраслях

с гораздо большим успехом, чем в сельском хозяйстве.

К тому же, как ни велико было наращивание машинных производительных сил в аграрном секторе, оно все же шло много медленнее, чем в промышленности. Точно так же в деревне в меньшей мере сказывались современные формы повышения квалификационного потенциала работников. Численность специалистов с высшим и средним образованием в сельском хозяйстве хотя и выросла в несколько раз, перед войной все-таки не превышала 65 тыс. человек (на 240 тыс. колхозов и совхозов) и составила менее 3% всех специалистов, занятых в народном хозяйстве[1]. Положение, при котором один агроном или зоотехник приходится в среднем на четыре колхоза, вряд ли компенсировало снижение качества труда основной массы сельских работников.

В общем и целом соотношение позитивных и негативных факторов производственного роста в сельском хозяйстве оказалось в 30-е годы несравнимо более неблагоприятным, чем в промышленных отраслях. Поэтому на протяжении по крайней мере четверти века после перелома, происшедшего на рубеже 30-х годов, в том числе в течение достаточно длительных периодов мирного развития, объем сельскохозяйственного производства не превышал сколько-нибудь значительно объемов, достигнутых в годы нэпа, а временами заметно отступал от этого уровня (см. табл. 4, 5).

В первой половине 30-х годов, когда происходило становление колхозного строя, стоимостная оценка валовой продукции сельского хозяйства в среднегодовом исчислении сократилась на 6—7% сравнительно с концом 20-х годов[2]. Во второй половине 30-х годов, когда положение стабилизировалось, она несколько выросла. Но даже в последние предвоенные годы стоимостная оценка аграрного производства превосходила доколхозные показатели лишь на 5%. В конце 40 — начале 50-х годов, по завершении послевоенного восстановления, сельское хозяйство давало продукции по стоимости на 15% больше, чем в конце 20-х годов. В некоторых

---

[1] См.: Труд в СССР, с. 264, 282.

[2] Выше мы говорили об условности измерения динамики производства на основе стоимостных оценок. В сельском хозяйстве эта условность не столь велика, так как здесь реже появляются принципиально новые виды продукции. Впрочем, здесь очень велики и возможности прямой статистической фальсификации.

Таблица 4

Индекс роста валовой продукции сельского хозяйства СССР (1926—1929 гг.= 100%)
(во всех категориях хозяйств; в сопоставимых ценах)

Периоды	Среднегодовая валовая продукция в процентах к среднегодовой продукции за 1926—1929 гг.							
	вся продукция сельского хозяйства		продукция земледелия		продукция зернового хозяйства*		продукция животноводства	
	в целом	в расчете на душу населения	в целом	в расчете на душу населения	в целом	в расчете на душу населения	в целом	в расчете на душу населения
1926—1929 гг.	100	100	100	100	100**	100**	100	100
1930—1932 гг.	93	89	110	105	102	99	67	64
1933—1937 гг.	94	87	113	105	101	95	65	60
1938—1940 гг.	105	86	109	89	107	88	89	72
1949—1953 гг.	115	94	129	106	112	92	95	79

Источник: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 362; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 208; Население СССР. 1973. Статистический сборник. М., 1975, с. 7.

* В натуральном исчислении.
** Среднегодовые данные за 1928—1929 гг.

отраслях сельского хозяйства, прежде всего в животноводстве, положение было еще менее утешительным. В первой и второй пятилетках его продукция составляла не более 65—70% того, что производилось до начала сплошной коллективизации, в предвоенные годы — около 90%, после восстановления народного хозяйства — 95%. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в ходе коллективизации почти вдвое — с 60 млн в 1928 г. до 33 млн в 1933—1934 гг. К 1941 г. оно, правда, поднялось до 55 млн, а в 1950—1953 гг.— до 57—58 млн, но так и не достигло доколхозного уровня. При этом не произошло никакого заметного повышения продуктивности скота[1].

Но это все валовые, абсолютные показатели, взятые к тому же по официальной стоимостной оценке. Между тем в аграрной экономике, особенно в зерновом хозяйстве и животноводстве, чья продукция потребляется всем населением, эффект определяется главным образом

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 362, 448, 476.

Таблица 5

Население и производство важнейших продуктов сельского хозяйства *

Периоды	Численность населения в начале и конце периода (млн чел.)	Доля работающего населения, занятого в сельском хозяйстве (в %) **	Среднегодовое производство зерна		Среднегодовое производство мяса (в убойном весе)		Среднегодовое производство молока	
			в целом (млн т)	в расчете на душу населения (кг, округленно)	в целом (млн т)	в расчете на душу населения (кг, округленно)	в целом (млн т)	в расчете на душу населения (кг, округленно)
1909—1913 гг.	150—159	75	73	470	4,8	30—35	28,8	185
1928—1929 гг.	153—157	80	73	470	5,4	35	31,4	200
1930—1932 гг.	160—...	...	74	460	3,7	20—25	23,7	145 —150
1933—1937 гг.	...—167	56	73	440—450	2,7	15—20	22,2	135
1938—1940 гг.	170—198	54	78	420—430	4,8	25	30	160—165
1949—1953 гг.	178—191	48	81	430—440	4,6	25	35,1	195

Источник: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 411;
Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 208, 258;
Население СССР. 1973, с. 7; Труд в СССР, с. 20.

* Сведения за 1909—1913 и 1949—1953 гг. приведены по данным в современных границах СССР; 1928—1937 гг.— в границах до 17 сентября 1939 г.; 1938—1940 гг.— с учетом изменения границ в течение периода.
** Данные за 1913, 1928, 1937, 1940 и 1950 гг.

производством в расчете на душу населения. Хлеб, мясо, молоко нужны всем, и их всегда надо соизмерять с числом едоков в собственной стране. Говоря фигурально, производство масла, в этом смысле, решительно отличается от производства пушек (и многих других видов техники), которое в определенные исторические эпохи, как уже отмечалось, разумнее соотносить с индустриальным потенциалом противника.

В этой связи важно подчеркнуть, что к началу 40-х годов население СССР выросло по сравнению со второй половиной 20-х годов примерно на 20—25%, т. е. больше, чем увеличился объем сельскохозяйственного производства. Такое соотношение сохранялось и в начале 50-х годов[1]. В итоге совокупное сельскохозяйственное производство в расчете на душу населения составляло даже в конце 30-х годов около 85—90%, а в годы после восстановления разрушенного войной — менее 95% среднегодового сельскохозяйственного производства нэповских времен. Душевое производство зерна в это время (т. е. не принимая во внимание худшие периоды) колебалось в пределах 90—95%, продуктов животноводства — 60—80% доколхозного уровня (см. табл. 4, 5).

На фоне приведенных цифр видно, что в сельском хозяйстве несоответствие фактически достигнутого после принятия стратегии форсированной индустриализации и сплошной коллективизации тому, что планировалось в годы, когда делался выбор в пользу этой стратегии, оказалось несравненно более разительным, чем в промышленности. В 1929 г., торжественно провозглашая начало великого перелома в социалистическом строительстве и обосновывая его целесообразность, И. В. Сталин обещал, что крупное колхозное и совхозное земледелие «будет проявлять чудеса роста», что «практика» колхозов и совхозов опровергнет возражения «науки» относительно эффективности «крупных зерновых фабрик в 40—50 тыс. гектаров», что «если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом... наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире»[2].

В жизни не оправдалось ни одно из этих утверждений. В отношении промышленности аналогичные за-

---

[1] См.: Население СССР, 1973, с. 7.
[2] *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 126, 129, 132.

явления конца 20 — начала 30-х годов были преувеличением, но преувеличением возможностей роста, что и подтвердило фактическое повышение индустриального производства, даже если оно оказалось не столь стремительным, как предполагали защитники курса форсированной индустриализации. В отношении сельскохозяйственного производства прогнозы И. В. Сталина выглядят уже не преувеличением, но произвольной фантазией, мечтаниями, в которых совершенно игнорируются закономерности аграрной экономики, социальных отношений деревни и социальной психологии крестьянства. Через три года, когда подошел срок исполнения сталинских обещаний относительно превращения СССР в самую хлебную державу, в стране свирепствовал голод, унесший миллионы жизней. Не стали мы самой хлебной или хотя бы одной из самых хлебных стран мира ни через 10 лет — перед войной, ни через 25 лет — к концу правления Сталина, ни через 60 лет — в наши дни. Трудно исключить предположение, что обоснованность вообще играла в сталинских прогнозах 1929 г. второстепенную роль, что их главной целью было демагогическое стремление во что бы то ни стало, всеми правдами и неправдами привлечь партию и народ на свою сторону.

Короче, ни реальный рост сельскохозяйственного производства (его практически не было), ни тем более соотношение обещанного и осуществленного не дают оснований считать развитие сельского хозяйства в 30—40-е годы сколько-нибудь успешным. Если брать увеличение выхода сельскохозяйственной продукции в качестве главного критерия, сплошную палочную коллективизацию, проведенную в те сроки и теми методами, как это было сделано в 30-е годы, надо признать экономической и социальной катастрофой.

Сложность критической ситуации предвоенных и послевоенных лет делает, однако, не совсем беспочвенными соображения, согласно которым подъем сельскохозяйственного производства, взятый сам по себе, не был в то время единственным показателем успеха или неуспеха аграрных преобразований. Эти преобразования завершили создание в нашей стране единой системы социалистических общественных отношений. Повторим, что это были неразвитые раннесоциалистические отношения, притом отношения, извращенные и деформированные уродующим влиянием авторитарной системы

управления. Но так или иначе, в глазах большинства современников, в том числе и в глазах значительных слоев сельского населения, они выступали как основа нового мира, новой организации хозяйственной, социальной, культурной жизни, не знающей прежних форм эксплуатации и неравенства.

К тому же колхозное переустройство села позволило решить ряд кардинальных проблем экономического развития даже при отсутствии заметного роста сельскохозяйственного производства. Напомним, что в сталинской стратегии форсированной индустриализации все отрасли народного хозяйства и все сферы общественной жизни подчинялись нуждам промышленного роста. Такой рост отнюдь не обязательно требует значительного увеличения производства в большинстве отраслей сельского хозяйства. Строго говоря, в соответствии с принятым курсом на создание индустриальной экономики вовсе не нужен общий рост сельскохозяйственного производства. Абсолютно необходимо лишь такое переструктурирование и такое повышение эффективности труда, при котором можно было бы, во-первых, уменьшить число занятых в сельском хозяйстве пропорционально расширению спроса на рабочую силу в промышленности, во-вторых, поддерживать при меньшем числе занятых производство продовольствия на уровне, не допускающем длительного голода, в-третьих, обеспечивать снабжение промышленности незаменяемым техническим сырьем. Всего этого можно добиться и без существенного увеличения аграрного производства.

Конечно, даже с чисто индустриализационной точки зрения предпочтительнее, чтобы сокращение занятости в сельском хозяйстве не просто компенсировалось, но перекрывалось повышением производительности труда. Уменьшающееся число работников тогда настолько увеличивает общий уровень производства, что становится возможным одновременно форсировать рост промышленности и повышать выпуск сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения. Индустриальное преобразование народного хозяйства в таком случае будет протекать легче, потребует от народа меньших жертв. Однако, как считали сторонники форсированного роста, подобный вариант аграрного развития, обещая в случае успеха более благоприятный ход общественных перемен, в противном случае может обернуться потерей темпов индустриализации (особенно если иметь в виду

не весь этап смены доиндустриального производства индустриальным, но становление ключевых отраслей современной промышленности). Ибо стремление добиться одновременного роста и промышленности, и сельскохозяйственного производства неизбежно связано с риском более медленного сокращения аграрной занятости, менее интенсивного перелива работников и средств из аграрного сектора в промышленный. Создание предпосылок стремительной индустриализации оказывается здесь, так сказать, не гарантированным. Тогдашнее руководство советского общества предпочитало «гарантированный» вариант.

В итоге сплошная коллективизация не повела (и в своих внеэкономических формах не могла повести) к такому повышению эффективности аграрной экономики, при котором можно было бы обеспечить сочетание быстрого наращивания промышленного потенциала со значительным увеличением сельскохозяйственного производства. Но коллективизация гарантировала мгновенное по масштабам исторического времени создание минимально достаточных условий индустриализации в той мере, в какой они зависят от переустройства деревни. В этом отношении — и только в этом отношении — она достигла успеха. На протяжении одного-двух десятилетий доля занятых в сельском хозяйстве сократилась больше чем в полтора раза — примерно с 80% всего работающего населения в 1928 г. до 56% в 1937 г., 54% в 1940 г. и 48% в 1950 г.[1] В течение 30-х годов из сельского хозяйства высвободилось примерно 15—20 млн человек. Они-то и составили основную массу новых работников промышленности, костяк того пополнения, которое позволило за 12 лет увеличить численность советского рабочего класса с 9 до 24 млн человек. Так что без новых рабочих, пришедших из деревни, индустриализация была так же неосуществима, как и без новых машин, станков, механизмов, сооружений.

Перераспределение занятости, сопровождавшее колхозное переустройство деревни, заставляет несколько иначе взглянуть на все итоги развития сельского хозяйства. До сих пор мы подчеркивали, что это развитие (в отличие от промышленности) не привело к существенному увеличению общих объемов сельскохозяйственного производства сравнительно с доколхозным периодом, а

[1] См.: Труд в СССР, с. 20.

в расчете на душу населения произошло прямое его снижение. Но это же положение означает, что коллективизация с середины 30-х годов позволяла поддерживать сравнительно стабильную или, по крайней мере, не катастрофически ухудшающуюся обеспеченность страны продовольствием при резком и нарастающем уменьшении занятости в сельском хозяйстве. Одновременно в значительных масштабах увеличивалось производство технических культур. (Это видно, между прочим, из того, что средние цифры, характеризующие сдвиги в земледелии, и в 30-е и 40-е годы все время опережали динамику зернового хозяйства — см. табл. 4.)

Считая округленно, в СССР накануне коллективизации на 150—155 млн человек населения ежегодно производилось 72—73 млн т зерна, более 5 млн т мяса, свыше 30 млн т молока, а в конце 30 — начале 40-х годов на 170—200 млн населения — 75—80 млн т зерна, 4—5 млн т мяса и 30 млн т молока. Но производили эту продукцию в конце нэпа 50—55 млн крестьян-единоличников, в предвоенные годы 30—35 млн колхозников и рабочих совхозов.

Одновременно колхозная организация деревни гарантировала использование продукции сельского хозяйства в строгом соответствии с установками хозяйственно-политического центра, в первую очередь для регулярного снабжения городов продовольствием. Обычно применяющийся термин «товарная продукция» не очень подходит для выражения отношений, связанных с распределением в 30—40-е годы плодов сельскохозяйственного труда между крестьянством и другими слоями населения. Решающую роль здесь играли принудительные государственные поставки и закупки, производившиеся по чисто номинальным, бросовым ценам. Никаких признаков товарности в госпоставках не было, и означали они, по существу, внеэкономическое изъятие части продукции для снабжения городов, армии, создания государственных резервов и т. п. Но как бы ни называть эти отношения, именно колхозная организация в рамках административного хозяйственного механизма позволила и вместе с тем заставила поднять долю зерна, потребляемого вне деревни, с 15% в 1928 г. до 40% в 1940 г.[1]

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 411; Страна Советов за 50 лет, с. 122—123.

Спору нет, для десятков миллионов колхозников и их детей рост этой доли и в особенности жесткие меры, с помощью которых в колхозах того времени обеспечивалось изъятие сельскохозяйственной продукции, оборачивались нелегкими испытаниями и тяготами. Даже если отвлечься от моментов чрезвычайного положения — вымирания многих деревень в разгар коллективизации (мы еще коснемся этих событий), полуголодного существования в военное и первое послевоенное время, если принять во внимание только мирные, так сказать, нормальные периоды колхозной жизни в 30—40-е годы, все равно придется признать, что крестьянство в массе своей было обречено в это время на недоедание и недопотребление вообще, что права и свободы человека ущемлялись в деревне гораздо сильнее, чем в городе.

Но как бы то ни было, промышленность получала сырье, миллионы занятых в ней рабочих и служащих обеспечивались минимумом продовольствия, хозяйственный центр имел возможность концентрировать средства для закупок техники за рубежом [1]. В этом смысле крестьянство, наравне с рабочим классом и интеллигенцией, может считаться творцом индустриальных успехов нашей страны. Когда же в военное лихолетье в обезлюдевшей деревне и без того не слишком большой выход продукции уменьшился еще в полтора-два раза, колхозная система беспощадной непреложностью своей «первой заповеди», требовавшей прежде всего отдать хлеб государству, спасла страну от смертельного голода. (Хотя, конечно, и крестьянству в деревне, и рабочим и служащим в городе довелось в это время испытать жестокое недоедание.)

---

[1] Заметим попутно: в 1929—1932 гг. в разгар трудностей начального периода коллективизации пятая часть потребленного вне деревни хлеба, т. е. 5—10% всего его производства, шла на экспорт (см.: Известия СО АН СССР, 1984, № 12, серия «Экономика и прикладная социология», вып. 3, с. 57). Как говорил летом 1931 г. И. В. Сталин, мы «вывозим за границу такое количество хлеба, какого не вывозили еще за время существования Советской власти» (см.: *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 71). Историк Р. Медведев приводит почерпнутые из официальных источников 30-х годов цифры, характеризующие вывоз зерна из СССР (в млн т):

1926/27 г.— 2,6		
1928 г. — 0,1	1930 г.— 4,8	1932 г.— 1,8
1929 г. — 1,3	1931 г.— 5,2	1933 г.— 1,0.

(См.: *Тендряков В.* Рассказы.— Новый мир, 1988, № 3, с. 30; данные за 1926/27 г. по: КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 124.)

Коллективизация 30—40-х годов не подняла сельское хозяйство и не привела крестьянство к зажиточной жизни. С экономической точки зрения все, чего она достигла,— это возможность кормить народ: чаще — впроголодь, реже — сытно, но все-таки кормить и одновременно изымать на нужды индустриализации, а потом войны и послевоенного восстановления огромную часть людских и материальных ресурсов деревни. Не больше. Но и не меньше.

Известная двойственность такой оценки возвращает нас к общим проблемам выбора стратегии индустриальных преобразований и социалистического строительства. В критериях отвергнутого варианта, где цели промышленного строительства, повышения благосостояния, добровольного кооперирования деревни считались равнозначными, экономические итоги коллективизации пришлось бы признать сугубо отрицательными. В соответствии с целями принятого курса, в котором все подчинялось ускорению индустриализации любой ценой, колхозное переустройство деревни, гарантировавшее условия для подобного ускорения, воспринималось как бесспорное достижение. Недаром в 30-е годы многие бывшие противники коллективизации искренне сочли свое прежнее мнение ошибочным. Потребовались десятилетия горького опыта и десятки неудачных попыток совершенствования колхозов без коренных преобразований экономики и политического устройства, чтобы долговременные последствия палочной коллективизации предстали во всей своей сложности, в подлинном, неприукрашенном виде.

4. Социальные гарантии, здравоохранение, просвещение

Очень противоречивыми оказались итоги поворота к внеэкономическим, административно-командным методам и в социальной сфере, в том, что касается социального положения, благосостояния, культуры, социального обслуживания народа. Собственно, в рамках стратегии обеспечения высоких темпов любой ценой иначе не могло и быть.

Как уже отмечалось, средства для форсированной индустриализации накапливались в огромной мере за счет народного потребления, посредством взимания сво-

его рода «дани» с крестьянства, да и со всех других слоев населения. На этой основе в первые же годы после перелома конца 20 — начала 30-х годов сложился, а затем затвердел и приобрел характер нерушимого принципа директивной экономики так называемый остаточный подход к проблемам социальной сферы и уровня жизни. Выделение ресурсов на социальные потребности и благосостояние существенно лимитировалось их выделением на нужды, имевшие в глазах руководителей административно-хозяйственной системы более высокую настоятельность: развертывание капитального строительства, совершенствование техники и технологии действующего производства, обеспечение всем необходимым армии и т. п. Коль скоро выбор в пользу стратегии форсированной индустриализации был сделан, стремление всюду, где это возможно, ограничивать потребление и обслуживание, откладывать их развитие на будущее становилось объективным фактором социальной политики, мало зависящим от личных устремлений и намерений отдельных политиков.

Действие этого ограничительного фактора очень ощутимо сказывалось на положении и условиях повседневной жизни народных масс. По счастью, однако, не оно одно. Индустриальная реконструкция народного хозяйства, даже на тех стадиях, когда она затрагивала только ключевые сектора экономики, сама по себе требовала улучшения некоторых условий жизни и общего повышения культурного уровня масс. Без первичного школьного образования и медицинского обслуживания, без перехода к городскому образу жизни не мог сформироваться работник индустриального типа. В этом смысле определенный прогресс в сфере быта, некоторый цивилизационный сдвиг явился такой же составной частью форсированной индустриализации, как и мобилизация средств для наращивания технического аппарата промышленности и сельского хозяйства.

К тому же — и это главное — преобразования 30—40-х годов вели к утверждению начал социализма в экономике СССР. И хотя реализация этих начал была сопряжена в то время с большими деформациями, с преобладанием преимущественно грубых, неразвитых форм нового строя, она коренным образом меняла положение трудящихся, устраняя остатки частнокапиталистической и докапиталистической эксплуатации, достаточно ощутимые в предшествующий период. (Правда, следует

признать и то, что вульгарно-утопическое истолкование принципов социализма привело к возрождению некоторых форм феодальной, по сути дела, организации общественной жизни, особенно в деревне.) Противоречивая природа факторов, непосредственно определявших изменение динамики жизненного уровня, «жизненных обстоятельств» советских людей после поворота конца 20 — начала 30-х годов, создавала ситуацию, при которой в социальном развитии неизбежно переплетались как позитивные, так и негативные процессы.

Прогрессивные сдвиги в условиях и образе жизни народа в 30—40-е годы были связаны в первую очередь с устранением социального зла и социальных противоречий, порождавшихся сохранением в условиях нэпа антагонистических общественных отношений. Немедленным результатом ускорения промышленного роста на социалистической основе стала полная ликвидация безработицы в СССР. В течение всех 20-х годов безработица существенно ухудшала положение трудящихся, причем в конце этого периода она достигла внушительных размеров. Весной 1928 г., когда в народном хозяйстве СССР трудилось около 12 млн рабочих и служащих, на биржах труда было зарегистрировано около 1,6 млн безработных. Весной следующего, 1929 г. их число возросло до 1,7 млн человек. Однако 1929 год — год великого, крутого перелома в экономическом развитии страны — оказался и годом перелома в борьбе с безработицей. Уже к осени 1929 г. на биржах труда числилось только 1,2 млн безработных, весной 1930 г.— чуть больше 1 млн, осенью того же 1930 г.— 0,2 млн [1]. В следующем году безработицы в СССР не было. Утверждение плановой системы — пусть и упрощенно директивной — закрепило это социальное завоевание, сделало отсутствие безработицы постоянной чертой положения трудящихся нашей страны.

Вместе с преодолением безработицы планомерное расширение занятости в ходе социалистической индустриализации создало условия, в которых стало возможным и необходимым быстрое вовлечение в общественно организованное производство десятков миллионов женщин. В 1928 г. на долю женщин приходилось 24%

[1] См.: СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции, с. 147, 149.

всех рабочих и служащих, в 1933 г.— 30%, в 1940 г.— 39, в 1950 г.— 47% [1]. Как и многие другие стороны социального прогресса, рост женской занятости в условиях форсированных экономических преобразований далеко не в полной мере подкреплялся расширением соответствующих форм социального обслуживания. Еще медленнее шло изменение нравов и перераспределение бытовых нагрузок в семье, сложившихся в то время, когда основная часть внедомашнего труда выполнялась мужчинами. Теперь трудовая занятость вне дома стала быстро выравниваться и в 50-е годы более или менее выравнялась. В семье же роли мужчин и женщин менялись очень медленно. Возникла проблема двойной ноши, ложащейся на плечи матерей семейств. Создалась и существует до сих пор обстановка, в которой семейная женщина наравне с мужчиной работает в народном хозяйстве и при этом выполняет основную часть домашнего труда, пока что почти не облегчаемого сферой обслуживания.

Но при всех сложностях этого положения, при всем его отрицательном воздействии на личность женщины и ее роль в воспитании детей, на процессы воспроизводства населения, оно все же отражает противоречия прогресса, а не застоя. Как ни тяжела двойная ноша, вовлечение женщин в производство значит для них несравнимо больше. Оно вывело десятки миллионов женщин из кухонной ограниченности старого быта, открыло возможность разностороннего развития, создало базу для формирования свободного, демократического строя супружеских и вообще семейных отношений. Прогресс женской эмансипации, а с ним и весь общественный прогресс поднялся на новую ступень — с новыми сложностями, но и с новыми, невозможными прежде достижениями.

Утверждение начал социализма выразилось также в конституционном признании социальных прав трудящихся — права на труд, на отдых, на образование, на медицинскую помощь, обеспечение в старости, по болезни, при потере кормильца и т. п. Правда, господство остаточного подхода в вопросах развития социальной сферы при том уровне общественного богатства, которым обладала страна в 30—50-е годы, делало

---

[1] См.: Страна Советов за 50 лет, с. 235; Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 643.

невозможным полное осуществление провозглашенных социальных прав. Подавляющее большинство колхозников, а они составляли примерно половину трудящихся в 30-е годы и свыше трети в 40—50-е, не имело ежегодных отпусков; они не получали никаких выплат во время болезни, обычно не пользовались бесплатными или льготными путевками; колхозницы не знали оплаченных отпусков по беременности и родам. Почти ни у кого из колхозников не было пенсий.

В сущности, социальное обеспечение в 30—50-е годы, как и в предшествующее десятилетие, касалось главным образом рабочих и служащих, хотя и в рабочей среде некоторые его формы, например пенсии по старости, носили в основном номинальный характер[1]. Иными словами, провозглашение всеобщего социального обеспечения в 30-е годы имело скорее декларативное, идеологическое значение.

Но если не всеобщий охват трудящихся всеми видами социального обеспечения, то громадная их распространенность в 30—40-е годы не подлежит сомнению. Форсированная индустриализация вела к стремительному росту доли рабочих и служащих в составе населения. И поскольку в СССР был впервые освоен такой тип индустриализации, при котором с самого начала (а не на более поздних стадиях, как бывало раньше, в условиях свободного капиталистического предпринимательства) происходило развертывание социального обеспечения, постольку быстрое повышение удельного веса работающих на государственных предприятиях и в учреждениях означало одновременно такое же быстрое распространение социальных благ. В конце 20-х годов отпусками, оплатой временной нетрудоспособности, выплатами при рождении ребенка пользовались рабочие и служащие, составлявшие 15—20% занятого населения страны. В конце следующего десятилетия и даже еще одним-двумя десятилетиями позже подобные блага по-прежнему предназначались главным образом рабочим и служащим. Но эти категории трудящихся заняли совершенно иное место в обществе, и потому социальное обеспечение стало частью повседнев-

[1] В 1940 г., когда в народном хозяйстве было занято 34 млн рабочих и служащих, пенсии по старости получало только 0,2 млн человек (см.: Социальное развитие рабочего класса СССР. М., 1977, с. 158—159, 226).

ного быта примерно 50% населения перед войной и около 60% в конце 40 — начале 50-х годов[1].

Чрезвычайно существенно и то, что социалистическая направленность многих преобразований 30—40-х годов способствовала преобладанию доступных, демократических форм распределения тех социальных благ, развитие которых являлось условием самой индустриализации и которые поэтому уже тогда получили практически всеобщее распространение. К их числу относятся здравоохранение, просвещение, культурное обслуживание.

Еще в довоенные годы одновременно с созданием современного производственного аппарата был заложен материально-организационный фундамент всеобщей доступности медицинских и школьных учреждений. После войны этот фундамент продолжал развиваться и укрепляться. На протяжении первых пятилеток численность врачей увеличилась в 5 раз сравнительно с тем, что было перед революцией и в 20-е годы, вместимость больниц — в 3 раза. К началу 50-х годов эти показатели выросли еще в 1,5—2 раза. Качественный, переломный характер сдвига особенно ясно показывают относительные цифры. В 1913 г. один врач приходился в среднем на 5700 человек населения (потенциальных пациентов), одна больничная койка — на 760, в 1924 г. соответственно на 4800 и 700 человек. В 1940 г. на каждого врача приходилось уже 1200, на каждую койку 250 человек; в 1950 г.— 700 и 180 человек[2].

Так же бурно развивалась в 30—40-е годы материально-организационная и кадровая база народного образования. За это время примерно вдвое увеличилась школьная сеть: в 1914 г. в стране насчитывалось 106 тыс. школ, в 1927 г.— 119 тыс., в 1940 г.— 192 тыс., в 1950 г.— 202 тыс. Численность учительства росла еще быстрее. Если в 1914 г. в школах работало 231 тыс., а в 1927 г.— 347 тыс. учителей, то в 1940 г. их число достигло 1216 тыс., а в 1950 г.— 1433 тыс. Практически заново была создана сеть средних школ. Именно в 30—40-е годы она впервые в истории нашей страны приобрела массовые масштабы. В 1940 г. в СССР действова-

---

[1] См.: Социальное развитие рабочего класса СССР, с. 226.
[2] См.: СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции, с. 187.

ло 65 тыс., в 1950 г.— 74 тыс. средних школ против 4 тыс. в 1914-м и 8 тыс. в 1927 г.[1]

Тогда же сформировалась материальная база, достаточная для того, чтобы дополнить всеобщую школу массовым дошкольным воспитанием и весьма широким послешкольным, высшим и средним специальным образованием. До революции в России почти не было детских садов и яслей; в конце 20-х годов число дошкольных учреждений чуть превышало 4 тыс. и их посещало 186 тыс. детей. (При том, что число детей дошкольного возраста составляло несколько десятков миллионов!) Тем показательнее, что в 1940 г. работало 46 тыс., в 1950-м — 45 тыс. детских садов, которые посещало около 1,8—1,9 млн детей. Правда, и это означало, что ими было охвачено менее 10% детей[2].

Сеть высших и средних специальных учебных заведений измеряется принципиально иными величинами — в отличие от школ и детских садов здесь счет идет скорее на десятки и сотни. Но число вузов и техникумов увеличивалось в 30—40-е годы достаточно быстрыми темпами. В 1914 г. молодежь страны принимали менее 400 высших учебных заведений и техникумов. Уже вследствие одного этого обстоятельства высшее и среднее специальное образование неизбежно носило отпечаток элитарности. В 1927 г. число университетов, институтов, техникумов, училищ достигло примерно 1200, а в 30—40-е годы увеличилось еще почти вчетверо, так что в 1940 г. молодежь могла поступать почти в 4600, а в 1950 г.— в 4300 учебных заведений подобного типа[3].

Помимо учебно-воспитательных заведений материально-организационные условия культурного роста дополнялись тем, что социалистическая индустриализация и коллективизация сопровождались созданием системы учреждений, открывавших доступ к современным формам культурной жизни всему населению (а не только подрастающему поколению), вводивших культуру в повседневный быт народа. Особенно большое значение имело развитие современных средств массовой инфор-

[1] См.: Народное образование, наука и культура в СССР. Статистический сборник. М., 1971, с. 44.

[2] См. там же, с. 128; Статистический ежегодник стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1974. М., 1974, с. 446.

[3] См.: Народное образование, наука и культура в СССР, с. 151.

мации. В те годы первое место в их ряду занимали печать и кино. С этой точки зрения чрезвычайно показательно увеличение тиража ежегодно выпускаемых книг с 87 млн в 1913 г. и 226 млн в 1927 г. до 462 млн в 1940 г. и 820 млн в 1950 г., ежедневного тиража газет с 2,7 и 9,4 млн до 38 и 36 млн, числа массовых библиотек с 13 тыс. и 27 тыс. до 95 и 123 тыс., киноустановок с 1,4 и 7,3 до 28 и 42 тыс.[1] Эти цифры свидетельствуют, что именно в 30—40-е годы в нашей стране впервые в ее истории сложилась техническая возможность приобщить к массовой культуре урбанистического типа не только отдельные слои населения, но огромное большинство народа.

Создавая материально-организационные предпосылки для перехода к современным формам здравоохранения, образования, культурной жизни, советская индустриализация одновременно обеспечивала социально-экономические условия, делавшие подобный переход доступным для народных масс. Планомерность индустриальных преобразований, облегчавшая понимание абсолютной необходимости здоровья и образованности для реконструкции народного хозяйства, равно как и гуманистические традиции социализма с их повышенной оценкой значимости медицинского и культурного обслуживания, приводила к тому, что, несмотря на общее ограничение народного потребления в СССР даже в самые трудные годы индустриализации, поддерживался порядок, при котором пользование медицинскими учреждениями и учебными заведениями практически не зависело от доходов и гораздо меньше, чем прежде, зависело от социально-профессионального положения того или иного человека.

Конкретно в 30—40-е годы подобное положение в нашей стране достигалось бесплатностью или льготным характером здравоохранения, культурного обслуживания, политикой низких цен на книги, билеты в кино и музеи, номинальной оплатой общественных развлечений и т. п. Это было общество, где, по словам поэта, выросшего в его гуще, был установлен порядок, при котором «пусть экономически нелепо — но книги продаются за гроши, дешевле табака и хлеба»[2].

---

[1] См.: Народное образование, наука и культура в СССР, с. 284, 322, 359, 375.

[2] *Слуцкий Б.* Современные истории. Новая книга стихов. М., 1969, с. 126.

Сегодня развитие многообразных методов организации медицины и просвещения в различных странах заставляет усомниться в том, что прямая бесплатность образует единственный способ гарантирования их всеобщей социально-экономической доступности. В принципе общее повышение заработков или предоставление нуждающимся специальных средств, так сказать, целевого назначения способно, хотя и более сложным путем, дать тот же эффект. Не исключено, что в этом случае дело пойдет даже лучше, ибо общедоступность сочетается здесь с определенными преимуществами платности, такими, как возможность выбора потребителем лечебного или учебного учреждения, непосредственное стимулирование им качества услуг лучших работников и т. п.

Однако подобная организация скорее всего оказалась бы слишком сложной применительно к условиям и традициям советского общества 30—40-х годов, культурному уровню населения, квалификации работников управления. Осознание того факта, что бесплатность — не единственное средство обеспечения доступности медицинских и культурных благ, имеет значение не столько для оценки прошлого, сколько для сегодняшнего совершенствования сферы социально-культурного обслуживания. Что же касается 30—40-х годов, важнее и справедливее подчеркнуть другое: именно бесплатность и льготность сделали созданную в то время сеть больниц, поликлиник, школ, техникумов, вузов, клубов, библиотек, кинотеатров реально доступной народным массам. В результате на протяжении 30—40-х годов в Советском Союзе произошел качественный сдвиг, была преодолена переломная точка в процессе приобщения 160—170-миллионного, а затем почти 200-миллионного народа к современным системам здравоохранения, образования, культурного обслуживания.

Именно в это время для десятков миллионов людей обращение к врачу, фельдшеру, в государственное медицинское учреждение превратилось в обычную форму поведения в случае болезни. В городах подобное поведение получило всеобщее распространение практически при любом недомогании, в деревнях — по преимуществу при более серьезных заболеваниях. Но и в городе и в деревне цивилизованная медицинская помощь стала ощущаться подавляющим большинством народа как норма, естественная черта повседневного быта.

Пожалуй, наиболее отчетливым выражением перехода основной массы населения от традиционных к современным формам поддержания здоровья может служить перемена в условиях родовспоможения. И до революции, и в первые годы после революции большинство женщин, особенно в деревне, рожало дома. Еще в начале 20-х годов на всю страну в родильных домах насчитывалось около 7 тыс. коек [1], так что в любом случае ими могло воспользоваться не более десятой части рожениц [2]. В 30-е годы положение изменилось коренным образом, и начиная с этого времени родильный дом стал местом появления на свет подавляющей части детей почти во всех регионах нашей страны. Двадцатикратное (до 147 тыс. коек) увеличение вместимости родильных домов к 1940 г. свидетельствует об этом с неотразимой, хотя и прозаической убедительностью простой арифметики [3].

Столь же серьезно изменились в 30—40-е годы масштабы народного образования и характер культурной жизни народа. В течение нескольких лет индустриализации и коллективизации был завершен полный охват подрастающего поколения начальной школой. В конце 20-х годов в начальной школе обучалось около 10 млн детей — примерно 3/4 соответствующей возрастной группы; десятилетием позже — свыше 20 млн, или практически все подрастающее поколение [4]. Особенно заметный сдвиг произошел в деревне, причем осуществлен он был в немалой степени благодаря достаточно жесткому регулированию сельской жизни колхозной системой, так сказать с помощью ее мобилизационных возможностей.

Колхоз ограничил личное хозяйство крестьянина приусадебным участком, и у большинства колхозников исчезло страстное, хозяйское отношение к земле, неуемное стремление работать на пределе сил — своих

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР. 1922—1972. Юбилейный статистический сборник, с. 379.

[2] Считая, что каждая роженица находится в родильном доме не более 5 дней, и полагая, что все родильные дома полностью загружены в течение года, все-таки получается, что при 7 тыс. коек здесь могло произойти лишь около 0,5 млн рождений (фактически в 20-е годы ежегодное число родившихся составляло 5—6 млн человек — см.: Население СССР. 1973, с. 69).

[3] См.: Народное хозяйство СССР. 1922—1972, с. 379.

[4] См.: Народное образование, наука и культура в СССР, с. 78.

и семейных. Крестьянский труд потерял производительность, крестьянское потребление приобрело полунищенский характер. Но это же уничтожение собственного хозяйства уничтожило стремление максимально использовать в нем труд детей, к которому подталкивали многих крестьян условия единоличного существования. Детей не нужно стало забирать из школы. Одновременно колхозный надзор прямо помог практическому выполнению принятого в 30-е годы закона об обязательном обучении в начальной школе. Мы не хотим в данном случае соизмерить «добрые» и «злые» последствия изменения крестьянского быта, мы хотим лишь сказать, что начатки культурного прогресса были так или иначе вплетены в бедственный процесс сплошной коллективизации. Как это не раз бывало в истории нашей страны (впрочем, только ли нашей?), здесь присутствовал элемент преодоления остатков варварства варварскими или полуварварскими средствами.

Естественным следствием превращения начального образования в действительно обязательное и действительно всеобщее явилось уничтожение условий, при которых в широких масштабах могла воспроизводиться неграмотность. В сочетании со специальной работой среди взрослых действие этого фактора привело к тому, что доля неграмотных к концу 30-х годов сократилась до 10—15% среди населения в возрасте 9—49 лет и приблизительно до 25% среди всего населения старше 9 лет[1]. В 50-е годы прямая неграмотность среди здорового населения исчезла практически полностью.

С точки зрения ощущения социального прогресса народным сознанием, да и по фактическому воздействию на социально-культурный потенциал страны еще более значительным достижением 30—40-х годов (сравнительно с утверждением всеобщности начальной школы) следует признать массовое развитие среднего и высшего образования. Само собой разумеется, образование после начальной школы получало тогда меньшинство населения. Тем не менее абсолютные и относительные масштабы обучения в средних школах, техникумах, вузах увеличились настолько, что эти учебные заведения оказались доступными для молодежи из всех слоев населения. В 1927 г. на страну приходилось менее 1,5 млн учеников 5—10-х классов и около 350 тыс. сту-

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1970 г., с. 13, 23.

дентов институтов и техникумов. В 1940 г. в 5—10-х классах училось свыше 13 млн подростков, в вузах и техникумах — 1,8 млн юношей и девушек, в 1950 г.— соответственно 14 млн и 2,5 млн[1].

15 млн учащихся, получающих среднее или высшее образование, на 40—45 млн семей, составлявших перед войной население нашей страны[2], означают, что едва ли не у большей части советских людей уже тогда были если не собственные дети, то родственники и близкие, у которых имелась реальная возможность окончить семилетку, десятилетку, техникум, вуз. В те времена любая из этих возможностей — даже семилетка — открывала перспективу культурного и социального роста. Перспективу тем более ценимую, что всего 20—25 лет назад подавляющее большинство родителей молодежи 30-х годов и думать не могло о получении образования выше начального. Рост доступности образования и обусловливаемого им социального продвижения относится к числу тех (правду сказать, немногих) процессов общественного развития в 30—40-е годы, которые немедленно и реально улучшали положение народных масс.

Объективно этот процесс был неотделим от индустриального преобразования народного хозяйства, ибо именно индустриализация как таковая, быстро увеличивая спрос на работников умственного и вообще квалифицированного труда, создавала самую возможность одновременного социального подъема миллионов людей, а ее социалистическая природа вела к тому, что важнейшим каналом подобного подъема становилось общедоступное образование. Субъективно же в массовом сознании расширение возможностей образовательного и социально-профессионального продвижения выступало в качестве достижения осуществленных в стране форсированных форм индустриализации.

Сегодня во всеоружии последующего знания нам видно, что любой вариант индустриальных преобразований, осуществляемый в XX в. и всего через десятилетие после великой революции (в том числе и тот, что был отвергнут в конце 20-х годов), сопровождался бы демократизацией образования и высокой социальной мобильностью. Более того, очень может быть, что иной

[1] См.: Народное образование, наука и культура в СССР, с. 78, 151.

[2] См.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР (Сводный том). М., 1962, с. 244.

тип развития позволил бы избежать потерь, связанных с перерывом многих культурных традиций и неоправданным понижением роли старой, потомственной интеллигенции. Но большинство современников и участников событий не думало о сравнениях того, что свершилось, с тем, что могло произойти в иных условиях. Реальный демократизм образовательной системы и возможности подъема были для них непосредственной данностью, вытекающей из того, что делается «здесь и сейчас». И они ощущали эту данность как великое достижение первых пятилеток, во многом возмещавшее и оправдывавшее жертвы, которых требовала форсированная индустриализация.

В том же направлении действовало развитие современной культурной жизни, распространение городских видов быта и досуга. Кино, превратившееся в привычное развлечение миллионов, книги и газеты, ставшие принадлежностью повседневного времяпрепровождения едва ли не половины населения [1],— во всем этом люди 30-х годов видели улучшение своего положения. Да и сама урбанизация, опережающая динамика городов все-таки отражала прогресс социально-культурного развития страны. Численность городского населения СССР увеличилась с 26 млн в 1926 г. до 60 млн в 1939 г. и 69 млн в 1950-м. Это значит, что в итоге преобразований 30—40-х годов города стали местом обитания не 1/5 народа, как это было в 20-е годы (18% в 1926 г.), а 1/3—2/5 его (32% в 1939 г. и 39% в 1950 г.) [2].

Беда, что форсированная индустриализация и административно-командные методы ее осуществления придали чрезмерно разрушительный характер смене культурных установок, всегда составляющей закономерное и прогрессивное содержание урбанизации. Урбанизация в этих условиях вылилась в стремительный и неоправданно резкий разрыв с прошлым, при котором уничтожение старых традиций и старых устоев далеко обгоняло складывание новых форм жизни. Трагедия раскрестьянивания деревни, приводившая к преобладанию в городском населении массы выходцев из села, не усвоивших даже азов урбанистической культуры, оборачивалась окрестьяниванием города. Процесс этот, по

[1] См.: *Гордон Л. А., Клопов Э. В., Оников Л. А.* Черты социалистического образа жизни: быт городских рабочих вчера, сегодня, завтра. М., 1977, с. 48—51.

[2] См.: Население СССР. 1973, с. 7.

форме подчас повторявший деревенскую трагедию в виде фарса (вспомним героев зощенковских рассказов), по содержанию был не менее трагичен, чем крушение старой деревни. Происходило ущемление и даже разрушение многих высших проявлений городской культуры, ухудшалось положение ее носителей — старой городской интеллигенции и потомственных городских рабочих.

Возникал своего рода культурно-нравственный вакуум, и уровень массовой бытовой морали в некоторых отношениях снижался. Немалую роль здесь играло и ухудшение многих сторон материального положения горожан, о чем речь впереди. Но если иметь в виду простейшие общецивилизационные основы социально-культурного прогресса — приобщение, своего рода приучение народа к школе, газете, врачу, зубной щетке — эти основы, несомненно, крепли вместе с ростом городов и городского населения.

К тому же бурный рост городов, сопровождавшийся массовым притоком бывших крестьян и интенсификацией связей городского и сельского населения, оказывал мощное цивилизующее влияние на деревню. Один штрих: в 1924 г. в СССР было отправлено 234 млн писем и 22 млн телеграмм, в 1940 г.— 2580 млн и 141 млн[1]. Патриархальный, неподвижный быт, в котором большинство населения с малолетства до старости оставалось в малой округе мест своего рождения, начал сменяться открытостью, несвязанностью, свободой, анонимностью городского образа жизни. И как ни много дурного несет с собой городская цивилизация (а во всяком прогрессе, несомненно, есть и хорошее и дурное), как ни бесспорны светлые стороны устраняемой ею традиционной сельской культуры (а в ней, конечно, был не только «идиотизм деревенской жизни», но и достоинства ее тысячелетнего «лада»), огромное большинство бывших крестьян и в 30—40-е годы и впоследствии понимало свое переселение в города как движение вверх, к свету и благу.

Главнейшие трудности превращения нашей страны из сельской в городскую обусловлены не урбанизацией, а недостаточной, неполной урбанизацией, ее непропорциональностью, тем, что городское преобразование одних сторон жизни (например, образования, здравоох-

[1] См.: СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции, с. 117.

ранения, массовых зрелищ) не подкреплялось соответствующим изменением других ее сторон — благосостояния и умения пользоваться им, нравственности, способности сочетать коллективизм и индивидуальную ответственность в условиях массового и анонимного городского быта. Условия жизни общества и каждого человека в отдельности были бы куда более благоприятными, если бы урбанизация в 30—40-е годы имела не такой односторонний, несбалансированный характер. Но они оказались бы еще хуже, если бы чудом удалось надолго «заморозить» рост городов и остановить переход страны к преобладанию городских начал в быту и культуре.

Сохраним трезвость в характеристике позитивных сдвигов в социальном положении и культуре народных масс. Дело здесь не только в том, что улучшения в 30—40-е годы касались лишь отдельных условий повседневной жизненной обстановки — здравоохранения, образования, распространения городского быта. Не нужно переоценивать прогресс даже этих условий. Меньше всего нам хотелось бы оказаться в плену дурной манеры (кстати, вошедшей в обиход именно в 30-е годы) повествовать о достижениях вполне реальных, но имеющих определенную меру и предел, с помощью преувеличенных оборотов и завышенных оценок. В общественной жизни просто не бывает неуклонных и непрерывных подъемов, о которых так часто говорится, когда в официальных документах или обществоведческих работах сообщается о росте народного благосостояния или культуры.

При всей своей значимости сдвиги 30—40-х годов далеко не завершили переход к современным, цивилизованным формам социально-культурного обслуживания и быта. Медицинское обслуживание резко, радикально расширилось, но качество его осталось не слишком высоким. Рожать стали в родильных домах, а младенческая смертность, по существу, не изменилась сравнительно с 20-ми годами: в 1940 г. она была даже выше, чем в 1926 г. Действительный сдвиг произошел лишь на переломе 40—50-х годов с появлением антибиотиков[1]. Школа охватила все подрастающее поколе-

[1] В возрасте до года умерло из каждой 1000 родившихся: в 1926 г.— 174 ребенка, в 1928 г.— 182, в 1938 г.— 161, в 1940 г.— 182, в 1950 г.— 81, в 1960 г.— 41 ребенок (см.: Народное хозяйство СССР в 1970 г., с. 47).

ние, но только начальная школа: 90% населения в 1939 г. и 64% в 1959 г. имели образование не выше начального[1]. Вплоть до 50-х годов в стране сохранялась заметная доля неграмотных. В целом Советский Союз на протяжении всех 30—40-х годов оставался страной, где преобладало сельское население (оно составляло 2/3 в конце 30-х и 3/5 в конце 40-х годов), обитавшее в жилищах, более половины которых не имело электрического освещения, а подавляющая часть не была оснащена хотя бы простейшими радиоточками[2].

Установление реальных пределов социально-культурного развития в 30—40-е годы не умаляет достигнутого. Реализм только усиливает достоверность. В СССР развернулась поистине грандиозная и поистине общенародная культурная революция. В этой революции происходило не одно лишь повышение культуры и улучшение социального обслуживания. В революции культурной продолжалось великое дело, начатое революцией социальной,— уничтожение прежней, изжившей себя сословности, исторически закрепившегося в России полусредневекового разделения общества на «народ» и «верхи», «культурные слои», живущие как бы на разных ступенях цивилизации. Крушение царизма, победа Октября, гражданская война привели к политической ликвидации старой сословности, создали политические предпосылки для устранения ее остатков в социально-культурной среде. Но только преобразования 30—40-х годов всерьез двинули страну по пути фактического преодоления цивилизационного разрыва в повседневной жизни, в быту, в привычках.

Переход советского общества к современной городской и индустриальной культуре не завершился в годы первых пятилеток, это произошло двумя-тремя десятилетиями позднее. Однако здесь, как и в промышленности, на протяжении 30—40-х годов был достигнут качественный сдвиг, пройдена переломная точка в процессе становления современных форм культуры, социального обслуживания, воспитания подрастающих поколений.

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1970 г., с. 23.

[2] См.: Социальное развитие рабочего класса СССР, с. 173; Страна Советов за 50 лет, с. 184.

5. Материальное положение и тяготы быта

Подлинная сложность положения народных масс, их социального развития в условиях форсированной индустриализации заключается не в том, что в социально-культурной сфере были тогда решены не все назревшие проблемы. Острейшее противоречие социального развития в 30—40-е годы состояло в другом. Несомненный и немалый прогресс просвещения, здравоохранения, социального обеспечения сочетался в это время со стагнацией материального уровня жизни, а зачастую и с прямым снижением покупательной способности заработков, с ухудшением питания, с тяжелым и длительным жилищным кризисом.

Материальные тяготы с необходимостью вытекали из стратегии форсированной индустриализации. Они были таким же закономерным ее проявлением и следствием, как и быстрый рост промышленности. При том, что доля национального дохода, изъятого из потребления и направляемого на накопление, за несколько лет увеличилась с 1/10 до 1/3—1/2 (а такое увеличение составляло обязательное условие варианта развития, принятого у нас на рубеже 20—30-х годов), ухудшение материального быта оказывалось совершенно неизбежным.

Об этом ухудшении свидетельствует уже простое сопоставление данных о заработках и ценах. Хотя в течение 30—40-х годов происходило повышение и заработков и стоимости жизни, рост дороговизны начинался раньше и по большей части обгонял подъем оплаты труда. В годы первой пятилетки инфляционные процессы опрокинули устойчивость рубля, столь надежного во времена нэпа. Разрыв между денежной массой и ее товарным обеспечением вылился в острый товарный голод, и с 1928 по 1934 г. распределение пришлось осуществлять по карточкам. Это единственный случай в нашей истории, когда карточная система была введена для снабжения основной части городского населения в мирное время [1].

Рост цен продолжался и во второй половине 30-х годов, хотя и при несколько лучшей сбалансированности с заработками. В целом государственные розничные цены в 1940 г. были в 6—7 раз выше, чем в 1928 г. Дальнейший взлет цен в военные годы нельзя, конечно,

[1] См.: *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6, с. 131.

относить за счет политики форсирования промышленного роста. Однако и в середине 50-х годов, после восстановления народного хозяйства и ряда туров всеобщего одновременного снижения цен (оставивших столь сильный след в народной памяти), средний уровень государственных розничных цен оказался все-таки в 1,5 раза более высоким, чем в конце 30-х годов, и в 8 раз выше, чем в конце 20-х. Рыночные цены на протяжении 30—40-х годов колебались сильнее, но так или иначе постоянно превышали базарные цены до начала индустриализации — судя по данным официальной статистики, в годы первой пятилетки в 7—8 раз, во второй половине 30-х годов и в начале 50-х годов примерно в 4—5 раз [1].

Заработная плата рабочих и служащих поднималась таким образом, что увеличение ее номинальной величины лишь в отдельные годы приблизительно соответствовало росту цен. Так, в 1940 г. средняя номинальная заработная плата рабочих и служащих превышала среднюю зарплату 1928 г. в 5—6 раз, если не учитывать безработных, и более чем в 6 раз, если принимать их в расчет; в 1950 г. она превосходила уровень 1928 г. в 8—9 раз [2]. Тогда или, говоря точнее, в конце 30-х и в начале 50-х годов заработки рабочих и служащих позволяли им оплатить примерно то же или чуть большее количество товаров, какое они могли купить на свою заработную плату в конце 20-х годов. Но и в эти благоприятные периоды физическая нехватка товаров делала невозможной покупку необходимых продуктов с той же легкостью, с какой удалось это делать в разгар нэпа. Если же иметь в виду большую часть 30-х годов, а также послевоенное время (о годах самой войны нечего и говорить), покупательная способность заработной платы была явно ниже, чем во второй половине 20-х.

На этом фоне удивительное впечатление производит простота знаменитой сталинской логики, столь восхищавшая его последователей. На XVII и XVIII съездах ВКП(б), сообщая партии и народу о росте материального благосостояния рабочих и служащих, И. В. Сталин

---

[1] См.: *Майер В. Ф.* Доходы населения и рост благосостояния народа. М., 1968, с. 96—97; Социальное развитие рабочего класса СССР, с. 280; Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 737.

[2] См.: Социальное развитие рабочего класса СССР, с. 142—143, 280.

приводит цифры повышения номинальной заработной платы и ни слова не добавляет о ценах [1]. Как будто слушающие и читающие его люди не помнят собственного быта 5—10 лет назад. Впрочем, самое поразительное, что примитивное умалчивание в обстановке всеобщего поклонения оказывалось эффективным средством внушения. Похоже, что большинство современников с искренним удовлетворением, если не с энтузиазмом, принимали подобные заявления. В частности, авторы, студентами штудировавшие выступления И. В. Сталина, помнят, что у них не возникало в данном пункте никаких вопросов даже к самим себе. Но это уже предмет не столько социально-экономической истории, сколько истории и психологии массового сознания.

Рабочие и служащие, однако, еще не все население страны. Большую часть его в начале 30-х годов, половину в конце этого десятилетия, свыше трети в 40-е годы составляли колхозники. Оплата их труда в общественном хозяйстве многих колхозов имела в то время почти номинальный характер. В 1940 г. даже у тех колхозников, кто не пропустил ни одного рабочего дня в течение года, денежная оплата едва достигала 5 руб. в месяц (считая в современном масштабе денег), а с добавлением натуроплаты едва превышала 10 руб. [2]

Правда, колхозные заработки дополнялись у крестьян поступлениями из личного подсобного хозяйства. Собственно, подсобное хозяйство давало даже больше, чем колхоз. Но разница была не слишком велика — в том же 1940 г. от подсобного хозяйства получалось лишь на 20—30% больше, чем от трудодней [3]. Так что весь среднемесячный трудовой доход полностью занятого колхозника в сравнительно благополучном 1940 г. равнялся, по официальным данным, примерно 20 руб. на современные деньги. У рабочих и служащих заработная плата, хоть и недостаточная, составляла все-таки в среднем 30—35 руб. в месяц, не считая доходов от подсобного хозяйства, которое также имелось у многих из них [4].

---

[1] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 337; *Он же.* Вопросы ленинизма. 11-е изд., с. 586.

[2] См.: *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР. Тенденции и перспективы социально-экономического развития. М., 1985, с. 48; Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 9.

[3] См.: Народное хозяйство СССР в 1985 г. Статистический ежегодник. М., 1986, с. 419.

[4] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 431.

А что до менее удачных лет, тогда, по воспоминаниям такого знатока крестьянской жизни, как писатель В. Белов, «на трудодень начисляли по три-четыре копейки и по 100—120—200 граммов зерна. Не зерна, а третьего сорта, то есть костера, отходов от веялки»[1]. Значит, заработай «сеятель» и «хранитель» отечества хоть 300 трудодней на год, все равно «общественной» оценкой его годового (не месячного!) труда в коллективном хозяйстве будут один-два мешка сорного зерна да рублей десять — пятнадцать денег. «Что оставалось делать колхозникам? Ясно что. Или уезжать, или идти воровать. Так и поступали, смотря по тому, кто на что способен»[2].

В послевоенное время подобная оплата перестала казаться случайностью того или иного года; она настолько вошла в привычку, что в языке деревни появилось даже особое выражение — «работать за палочки». Выражение это означало, что главным результатом труда в общественном производстве для работника оказывались отметки («палочки»), которыми в учетных тетрадях регистрировалось число отработанных трудодней, но по которым почти ничего не выдавалось — ни денег, ни продуктов. Метафора О. Лациса о палочной коллективизации получает здесь второй смысл. В общем, касаясь крестьянства, надо говорить не об отставании оплаты труда от роста цен, а о прямом ее падении.

Наконец, говоря об изменении оплаты общественного труда в 30—40-е годы сравнительно с предыдущим десятилетием, нельзя забывать еще об одной группе населения — работниках, лишенных свободы, заключенных так называемых исправительно-трудовых лагерей. В мировой статистической практике заработки заключенных, как правило, не учитываются при рассмотрении оплаты труда. Во-первых, сами эти заработки в большинстве стран имеют достаточно случайный характер и не определяют жизнь осужденных, во-вторых, число людей, лишенных свободы, в обычных условиях таково, что ни их труд, ни его оплата не оказывают сколько-нибудь существенного влияния на материальное положение народа в целом. Можно отвлечься от заработков заключенных и при характеристике оплаты

---

[1] *Белов В.* Ремесло отчуждения.— Новый мир, 1988, № 6, с. 164.

[2] Там же.

труда в советском обществе 20-х годов. Хотя привлечение их к оплачиваемой работе, имеющей народнохозяйственное значение, стало в это время скорее правилом, чем исключением, доля несвободных работников в массе общественного труда составляла по-прежнему пренебрежимо малую величину.

Однако в 30—40-е годы ситуация изменилась коренным образом. По причинам, которых мы коснемся ниже, переход к форсированному развитию повел у нас к ужасающему расширению принудительного труда заключенных, спецпереселенцев и тому подобных групп. Нам, правда, еще не известны точные цифры. Но принципиальный масштаб явления ясен. В своем месте мы скажем об этом подробнее. А здесь пусть читатель поверит нам на слово: на протяжении всей четверти века — от времени массового раскулачивания до смерти Сталина — число заключенных, ссыльных, переселенцев всегда составляло многие миллионы людей. И это при том, что все число свободных работников, занятых в народном хозяйстве СССР, не превышало в 30—40-е годы 80—90 млн человек[1]. В общем, Главное управление лагерей (ГУЛАГ) обеспечивало в это время отнюдь не пренебрежимо малую, но очень заметную долю общественного труда, наверное никак не меньше одной десятой. В некоторых секторах экономики — в строительстве, в лесной промышленности, в освоении новых районов — заключенные и полузаключенные превратились едва ли не в самую многочисленную категорию работников.

Понятно, каким образом сказывался столь бурный рост принудительной занятости на общем изменении оплаты труда. Тем более что в 30—40-е годы вместе с увеличением числа заключенных их заработки, и без того весьма низкие, несравнимые с заработками «вольных», стали еще меньше. В это время всюду, где использовался принудительный труд, произошло повышение норм выработки, зачастую до совершенно неисполнимых пределов.

Даже в так называемых спецпоселениях, где жили многие крестьяне, подвергшиеся раскулачиванию, и где

[1] Во всяком случае, в пересчете на среднегодовое число полностью занятых в народном хозяйстве СССР и в 1940 г. и в 1950 г. трудилось около 70 млн рабочих, служащих, колхозников, единоличников (см.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 521; Труд в СССР, с. 3, 22).

платили все же несравнимо лучше, чем в лагерях, молодые здоровые и трудолюбивые люди, занятые на лесоповале и лесосплаве, никак не могли заработать на самое скудное пропитание. «...Отношение со стороны местных десятников,— рассказывает младший брат А. Т. Твардовского Иван, попавший в 1930 г. в раскулачивание и затем на спецпоселение,— было почти издевательским, всюду слышалось: «Давай!», «Давай!», «На вас люди работали — теперь ваша очередь работать на людей!» И так проходили... недели, декады, подсчитывалась десятниками проделанная работа, выделялись, согласно выработке, продукты. Выделяли их по так называемому расчету на заработанный рубль... Получалось до смешного мало...» Чуть дальше И. Т. Твардовский поясняет: «...того, что мы получали на десять дней, едва хватало дня на четыре-пять» [1].

Что же говорить об оплате труда непосредственно в ГУЛАГе. Там для большинства речь шла просто о возможности зарабатывать паек, оставлявший надежду на выживание, или паек, обрекавший человека «на голод, побои и смерть» [2]. В этом случае понятие «оплата труда» вообще теряет смысл. О вознаграждении заключенных упоминается здесь лишь потому, что распространенность такого вознаграждения (вернее, его отсутствие) характеризует оплату общественного труда в целом.

Вернемся, однако, к движению заработков большинства обычных работников и их соотношению с ценами. В оценках столь сложного показателя, как стоимость жизни, неизбежно остается некоторый привкус субъективно-произвольного толкования, особенно если они относятся к периоду, для которого вообще характерно очень «нестрогое» отношение к индексам цен. Кроме того, покупательная способность заработков, даже исчисленная самым точным образом, не дает полного представления о динамике материального положения в условиях, когда преобладают внеэкономические методы управления и резко ограничивается действие стоимостных факторов. С одной стороны, в этих условиях часть материальных благ предоставляется бесплатно (у нас,

[1] *Твардовский И.* Страницы пережитого.— Юность, 1988, № 3, с. 13—14, 19.

[2] Варлам Шаламов: проза, стихи.— Новый мир, 1988, № 6, с. 134.

например, государственное жилье), с другой — фонд оплаты труда нередко превышает фонд товаров и услуг, которые население может фактически приобрести на имеющиеся у него деньги. Стоит поэтому дополнить данные о движении заработков сведениями, прямо характеризующими потребление материальных благ.

Известно, что одним из самых надежных показателей того, в каком направлении развивается потребление материальных благ в современных обществах, является изменение его структуры. Чем выше уровень потребления, тем меньше в его составе доля расходов, связанных с питанием, и выше доля непродовольственных затрат. И наоборот. Глубоко знаменательно поэтому, что в противоположность всему, что бывало на предшествующих и последующих этапах (за исключением военных периодов), в 30-е годы структура государственного и кооперативного товарооборота менялась таким образом, что в ней непрерывно увеличивался удельный вес именно продовольственных товаров. В 1932 г. оплата продуктов питания составила 55% товарооборота, а в 1940 г.— 63% [1]. Столетний национальный и международный опыт убеждает, что за подобным сдвигом неизбежно стоит общее обеднение материального потребления.

К тому же снижение уровня потребления в 30—40-е годы подтверждается прямыми сведениями о динамике базовых, исходных элементов материального быта, прежде всего питания и жилищных условий. Эти сведения переводят измерение материально-бытовых тягот, принятых народом ради индустриализации, коллективизации, повышения военной мощи, из абстракций индекса покупательной способности и структуры товарооборота

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 686. Рост доли продовольствия в товарообороте начался с конца 20-х годов — в 1928 г. продажа продтоваров давала 48% государственного товарооборота. Однако эти данные не вполне сопоставимы с цифрами 30-х годов, так как в них не учитывается роль частной торговли, еще довольно заметная накануне первой пятилетки (в 1928 г. на нее приходилось 24% всего товарооборота) (см.: СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции, с. 182). Что же касается 1932 и 1940 гг., здесь сведения о структуре товарооборота вполне соотносимы. Частной торговли не было ни в том, ни в другом году, а роль колхозного рынка в обоих случаях была примерно одинаковой — 16% в 1932 г., 14% в 1940 г. (см. там же, с. 183).

Таблица 6

Потребление некоторых продуктов питания
(на душу населения в год, кг)

Продукты питания	1913	1940*	1950
Мясо и сало (включая птицу и субпродукты)	29	15—20	26
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко	154	90—140	172
Сахар	8	5—15	12
Картофель	114	80—140	241
Хлебные продукты (хлеб в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые, макаронные изделия)	200	200—210	172

Источник: Народное хозяйство СССР в 1960 г., с. 742; Народное хозяйство СССР в 1967 г., с. 697.

* Примерная оценка для обследуемых ЦСУ СССР семей рабочих и служащих промышленности (вторая цифра) и семей колхозников (первая цифра).

в конкретные килограммы основных продовольственных продуктов и квадратные метры жилья, приходящиеся на человека в то или иное время.

Так, сведения о продовольствии сразу же показывают, что, как бы ни считать реальные заработки и доходы, как бы ни оценивать изменение товарооборота, все-таки и в 1940 г. и в 1950 г. советское общество, сделав гигантский рывок в промышленном и культурном развитии, кормилось не лучше, чем в 1913 г. Судя по средним цифрам, качество питания даже ухудшилось. Душевое потребление мяса, например, составляло в 1913 г. 29 кг, в 1940-м — 15—20 кг (оценка), в 1950 г.— 26 кг. Взамен резко увеличилась роль картофеля — верный признак низкокачественного питания в странах европейской культуры. Его среднегодовое потребление в 1950 г. удвоилось сравнительно с 1913 г. (241 кг против 114 кг, см. табл. 6).

Конечно, в столь классово и сословно дифференцированной стране, какой была царская Россия, пользоваться средними цифрами надо с большой осторожностью. ЦСУ СССР считало, например, что трудящиеся потребляли в 1913 г. не 29, а 20 кг мяса, не 154, а 120 кг молока [1]. Пусть точность подобных поправок и в

[1] См.: Народное хозяйство СССР в 1972 г., с. 557.

особенности определение доли населения, которая была отнесена к нетрудовым слоям, не кажется бесспорной. Похоже, что эта категория толковалась здесь слишком широко, ибо трудно представить себе, что одни только помещики, фабриканты, купцы, чиновники были способны съесть столько мяса и выпить столько молока, чтобы ощутимо изменились средние показатели для остального населения. Но все же известная затрудненность сопоставления средних показателей дореволюционного и послереволюционного потребления, вызванная разительной глубиной социальных различий, не подлежит сомнению. Тем доказательнее сопоставления в пределах советской эпохи, в частности сравнение 30—40-х годов с предшествующим десятилетием.

ЦСУ СССР, правда, в рядах, характеризующих душевое потребление, не приводит данные на вторую половину 20-х годов. Но для рассматриваемого периода их вполне могут заменить сведения о душевом производстве основных сельскохозяйственных продуктов. При отсутствии ввоза продовольствия из-за границы (в 30—40-е годы его не было и в помине) динамика их душевого производства сама по себе хорошо отражает изменение уровня питания, разве что в некоторой степени приукрашивает его в те годы, когда значительная часть зерна вывозилась за рубеж.

Напомним, что концентрация всех сил народа на ускорении промышленного развития и обусловленные этим принудительные формы коллективизации имели своим следствием постепенное отставание зернового производства от роста населения и еще более заметное падение животноводства (см. табл. 4, 5). Поэтому тот факт, что ежегодное душевое производство мяса в лучшие (с точки зрения сельского хозяйства) предвоенные годы (1936—1940 гг.) и в течение всего послевоенного десятилетия (1946—1955 гг.) колебалось в пределах 20—30 кг, тогда как в конце 20-х годов оно превышало 30 кг на каждого жителя страны, что производство зерна в расчете на человека снизилось в течение 30-х годов с 470 до 420—430 кг, да и в начале 50-х годов не превышало 430—440 кг, означает несомненное ухудшение народного питания.

На вершине нэпа население СССР в среднем питалось примерно так же, как население дореволюционной России, а трудовое большинство его явно лучше, чем до революции. Форсированная индустриализация потребо-

вала затянуть пояса, и в 30—40-е годы советские люди ели менее сытно, чем в 20-е годы [1].

Особенно резко ухудшилось питание крестьянства. После гражданской войны и до 30-х годов деревня едва ли не впервые в истории нашей страны в общем и целом ела досыта, забыв об угрозе голода; в течение многих лет она кормилась лучше города. Когда же индустриализация привела к быстрому переходу многих миллионов людей из деревни в город и когда колхозная организация жестко подчинила сельское хозяйство необходимости любой ценой обеспечить нужды промышленности и армии, тогда именно крестьянство сильнее всего ощутило растущую напряженность продовольственной проблемы.

И опять-таки речь здесь не о голоде, который поразил зерновые регионы страны в начале 30-х годов. Этот голод был, так сказать, чрезвычайным бедствием первых лет сплошной коллективизации, обусловленным — и к этому нам еще придется вернуться — скорее социально-политическими, чем чисто экономическими обстоятельствами. Между тем колхозники продолжали кормиться скуднее горожан в течение нескольких десятилетий, последовавших за коллективизацией, и после того, как чрезвычайная обстановка миновала и деревня вступила в полосу нормального, устоявшегося функционирования колхозной системы. Худшее питание (сравнительно с рабочими и служащими) определяло положение большей части крестьянства на протяжении практически всего этапа форсированной индустриализации. Даже в 60-е годы, когда острота продовольственной проблемы смягчилась и началось преодоление прежнего разрыва в условиях жизни сельского и городского населения, колхозники все еще потребляли в расчете на душу населения в 1,5 раза меньше мяса, чем рабочие и служащие, в 1,1 раза меньше молочных продуктов, в 1,5—2 раза меньше сахара [2].

---

[1] Мы исходим здесь из официальных данных, публикуемых сегодня государственной статистикой. Если использовать оценки некоторых ученых, снижение уровня питания в 30—40-е годы окажется еще более разительным. Так, по мнению академика ВАСХНИЛ В. А. Тихонова, перед коллективизацией городские жители потребляли около 70 кг мяса и мясных продуктов на душу, а сельские — свыше 50 кг (см.: Литературная газета, 1988, 3 августа, с. 10). Судя по этим цифрам, питание народа ухудшилось в 30—40-е годы вдвое, если не втрое.

[2] См.: Народное хозяйство СССР в 1967 г., с. 697.

Впрочем, слово едва ли не убедительнее цифр. Вслушаемся, что «отпечаталось» в памяти известного нашего публициста В. Селюнина из довоенных лет его деревенского детства: «Хлеб у нас пекли с опилками, с клеверными головками, а когда с толченой картошкой, так это праздник. Всего противнее в детстве было ходить на двор: опилки, непереваренная трава в кровь расцарапывали задний проход... Конечно, год на год не приходился, бывало и получше, но начиная с 1932 года (тот голод я отчетливо помню) нечасто едали досыта. Урожай, неурожай — разница невелика: надо кормить державу. И так до конца, пока кормильцы не разбежались кто куда» [1].

О питании тех миллионов несчастных людей, которые в 30—40-е годы оказались — по большей части безвинно — за колючей проволокой ГУЛАГа, лучше промолчать. Тут уж дело шло о постоянном голодании, а то и прямом, гибельном голоде.

Если в отношении питания (и еще более в отношении промышленных товаров) понижение материального уровня, обусловленное форсированием экономического роста, чаще ощущалось деревней, то ухудшение другой важнейшей составляющей материального благосостояния — жилищных условий — коснулось в первую очередь города, правда, без учета условий, в которых жила часть народа, «перемещенная» в лагеря. Конечно, тенденция административно-командной системы, не считаясь ни с чем, концентрировать человеческие и материальные ресурсы на первоочередном удовлетворении промышленно-производственных нужд, резко ограничивала возможности жилищного строительства повсюду — и в городских и в сельских поселениях. В абсолютном масштабе это ограничение в деревне было даже более заметным, чем в городе. В 1918—1928 гг. семьи крестьян и других сельских жителей построили дома общей площадью 152 млн м^2, а в 1929—1941 гг.— 76 млн м^2. Между тем государственное строительство, ведшееся в то время почти исключительно в городах, а также строительство рабочими и служащими собственных домов составило в 1918—1928 гг. 51 млн м^2, а в 1929—1941 г.— 130 млн квадратных метров [2].

---

[1] *Селюнин В.* Истоки.— Новый мир, 1988, № 5, с. 162.
[2] См.: Страна Советов за 50 лет, с. 245.

Но численность сельского населения за это время изменилась, если иметь в виду абсолютные величины, не слишком значительно: к концу 1919 г. в деревнях жило 117 млн человек, к концу 1928 г.— 125 млн, к 1940 г.— 131 млн человек. Сокращение прироста жилищ в этих условиях означало лишь отсутствие улучшения. Деревенские дома постепенно ветшали; за исключением электричества, которое появилось примерно в половине дворов, ничего в них не менялось. Несмотря на рост образованности, подавляющая часть деревни продолжала обитать в жилищах, лишенных простейших коммунальных удобств. Тем не менее в деревне не произошло усиления жилищной тесноты, и отдельный дом для каждой семьи остался преобладающим типом жилища практически в любом сельском населенном пункте.

Иная ситуация сложилась в городах. Население здесь в первые годы после революции уменьшилось, а затем стало расти, сначала лишь немногим опережая увеличение числа сельских жителей, а затем стремительным, почти взрывным образом. В 1917 г. в городах жило 29 млн человек, в 1918—1919 гг.— 21 млн, к концу 1924 г.— свыше 22 млн, в 1926 г.— 26 млн, в 1928 г.— 29 млн, в 1936 г.— 47 млн, в 1940 г.— свыше 63 млн человек. При такой численности населения строительство 20-х годов открывало возможность улучшения жилищных условий. По крайней мере, в среднем к 1924—1926 гг. на каждого городского жителя приходилось больше жилья, чем в 1913—1917 гг. Общая площадь городского жилищного фонда в расчете на одного горожанина увеличилась за это время с 5—6,5 м^2 до 8—9 м^2. Революционное перераспределение жилищ привело к тому, что жилищная обстановка основной части городского населения в первое десятилетие после революции улучшилась в еще большей мере (правда, за счет снижения привычного жилищного стандарта городской интеллигенции).

Однако в 30-е годы эти сравнительно благоприятные соотношения решительно изменились. С развертыванием индустриализации произошло такое перераспределение капиталовложений, направляемых в промышленное и жилищное строительство, при котором последнее, продолжая абсолютно увеличиваться, все же перестало поспевать за приростом городского населения. В итоге в большинстве городов, особенно крупных, а также в новых индустриальных центрах возник

Таблица 7

Обеспеченность жильем населения городов и поселков городского типа

	1913 г.	1917 г.	1924 г.	1926 г.	1940 г.	1950 г.
Общая (полезная) площадь жилого фонда в городах и поселках городского типа (млн м²)	180	185	194	216	421	513
Население городов и поселков городского типа (млн чел.)	28	29	22	26	63	69
% ко всему населению страны	18	18	16	18	33	39
Полезная площадь жилищ в расчете на одного городского жителя * (м²)	6,4	6,3	8,8	8,3	6,3	7,4

Источник: Страна Советов за 50 лет, с. 15, 248; СССР и зарубежные страны после победы Великой Октябрьской социалистической революции, с. 24, 180.

* Показатели имеют не строгий характер, так как в исходных данных сопоставляется жилой фонд на конец года и население на начало (за исключением 1913 и 1926 гг.).

острый жилищный кризис. К 1940 г. на каждого городского жителя снова приходилось немногим более 6 м² полезной площади жилищ, т. е. примерно столько же, сколько до революции, и почти в 1,5 раза меньше, чем в середине 20-х годов (см. табл. 7). Обеспеченность, собственно, жилой площадью была еще ниже и скорее всего (в среднем!) не достигала 5 м² на человека.

Жилищная теснота стала в 30—40-е годы характерной особенностью городского быта. Ее нарастание привело к тому, что в больших городах изменился преобладающий тип жилища. В государственных домах массовое распространение получила так называемая коммунальная квартира, т. е. квартира, заселенная несколькими семьями, вынужденными жить, не имея минимальной бытовой изоляции, пользуясь общей кухней, уборной, прихожей. В личных домах преобладало посемейное (или, по крайней мере, родственное) заселение. Но они составляли с конца 30-х годов лишь около трети городского жилищного фонда. Так что и с учетом личных домов все-таки получается, что около половины

городских семей (в крупных городах больше) в предвоенные и послевоенные годы не имело изолированных жилищ [1].

Сверх того, значительной части городских жителей, особенно из тех, кто перебрался в города во время индустриализации, пришлось на долгие годы поселиться в бараках, подвалах, неприспособленных помещениях, даже в землянках. В подвалах и землянках жило, конечно, не так много народу, как в коммунальных квартирах (хотя бараки по своей распространенности, пожалуй, могли поспорить с «коммуналками»). Землянки в современных городах были все-таки крайностью. Но крайностью, лежащей, так сказать, в пределах допустимого. И многолетняя терпимость, мыслимость подобного ужаса рисуют глубину жилищного кризиса, равно как и суровую жестокость приоритетов, которым следовало общество, быть может, ярче, чем самые фундаментальные статистические выкладки.

Вот эпизод, чрезвычайно характерный в данном отношении. В 1938 г. Н. А. Вознесенский, недавно ставший председателем союзного Госплана, приехал в город Ефремов Тульской области, от которого он был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. В городе Н. А. Вознесенский обнаружил улицу, проходившую по склону крутого оврага. По всей улице «лепились друг к другу странные постройки, похожие не то на землянки, не то на коровники...». Постройки эти были сооружены «на один лад: три стены наспех сколочены из горбыля и промазаны глиной, четвертой стеной служил отвесный откос оврага» [2]. Жили в них рабочие возведенного в городе завода синтетического каучука, новейшего и сложнейшего по тем временам химического предприятия.

Трущобу, в которой жилище не отличается от хлева, председатель Госплана встречает не где-нибудь в безлюдной степи, не в тайге, пустыне или тундре, а в обжитом центре страны, в старинном поселении, расположенном в нескольких часах езды от столицы. И не в первые штурмовые и полные неразберихи годы

[1] На каждые 100 жилищ (квартир и отдельных домов) приходилось в конце 30 — начале 40-х годов чуть больше, а в конце 50 — начале 60-х — чуть меньше 150 семей (см.: Социальное развитие рабочего класса СССР, с. 172).

[2] См.: *Колотов В. В.* Николай Алексеевич Вознесенский. М., 1974, с. 199—200.

форсированной индустриализации, а после завершения двух пятилеток, когда хозяйственный механизм индустриализации в общем и целом «устроился», перешел, так сказать, к работе в «нормальном» режиме.

Самое поразительное, равно как и самое убедительное с точки зрения «обычности» подобной ситуации: единственное, что считает нужным (и, видимо, что может) сделать один из высших руководителей страны, увидев «жилые коровники»,— это выделить своей властью бревна, тес, гвозди и предложить обитателям оврага своими силами построить обычные деревенские дома [1]. Сама же возможность появления в мирное время, в нечрезвычайных, некатастрофических условиях таких трущоб, возможность сооружения крупного нового завода без одновременного (или не слишком отдаленного по времени) строительства каких-то жилищ даже не обсуждается. Для всех участников — и представителей власти и рабочих — она выступает делом естественным, конечно, нежелательным, но вполне допустимым. Если трущобные жилища не оказывались на пути руководителей такого ранга, как Н. А. Вознесенский, они могли сохраняться десятилетиями.

Война и оккупация еще больше усугубили жилищную проблему. Во многом за счет военных разрушений следует отнести то обстоятельство, что даже чисто количественный уровень обеспеченности жильем, существовавший в 20-е годы,— 8—9 м² на человека — был восстановлен лишь через 40 лет. Однако начало и исток жилищного кризиса не в военных бедствиях. Теснота коммунальных квартир с их принудительным соседством, тягостная необходимость барачной и подвальной жизни, десятилетиями сохраняющаяся патриархальная простота дворовых уборных, простота тем более разительная, что за забором, на улице и на заводе, человек все чаще сталкивался со зримым богатством современной техники,— все это определяло массовые жилищные условия еще до войны.

Обострение жилищного кризиса в 30-е годы было прямым следствием смены установок хозяйственно-политической стратегии в связи с поворотом к форсированной индустриализации. До этого поворота, скажем, в директивах XV съезда партии по составлению пяти-

[1] См.: *Колотов В. В.* Николай Алексеевич Вознесенский. М., 1974, с. 201.

летнего плана, где цели развития промышленности, добровольного кооперирования и роста благосостояния рассматривались еще как равнозначные, подчеркивалось, что жилищному строительству следует уделять чрезвычайное внимание[1]. Но сразу же после того, как утвердился курс на осуществление индустриализации любой ценой, И. В. Сталин с трибуны XVI съезда партии дал недвусмысленно понять, что жилищная проблема, с его точки зрения, является одним из «второстепенных вопросов»[2].

В конечном счете жилищный кризис, так же как отставание заработков от цен, мизерная оплата труда в колхозах, ухудшение питания, дефицит промышленных товаров, стал элементом того общего падения материального уровня жизни, которое явилось следствием и предпосылкой стратегии форсированной индустриализации. Снижая жизненный уровень, страна получала дополнительные возможности мобилизовать средства для достижения первоочередных целей этой стратегии — всемерного роста индустриальной и оборонной мощи. «Она копила, экономила, она вприглядку чай пила, чтоб выросли заводы новые, громады стали и стекла»[3]. И кроме того, выросли школы, техникумы, вузы, больницы, родильные дома, выросла современная наука и современная армия.

Длительная стагнация жизненного уровня оказала глубокое воздействие на общество, и это воздействие не сводится к тому, что в течение некоторого времени советские люди были лишены ряда материальных благ и удобств. Социальные последствия такой стагнации много сложнее и глубже.

Материальные нехватки ухудшали физическое здоровье народа, причем в столь значительной степени, что их негативное влияние оказалось более или менее равнозначным позитивному влиянию приобщения масс к всеобщему медицинскому обслуживанию. Во всяком случае, в безвоенный период, с середины 20-х годов до конца 30-х годов, средняя ожидаемая продолжительность жизни в СССР (т. е. показатель, в известном смысле обобщающий уровень благосостояния и социального обслуживания) почти не изменилась. Она уве-

---

[1] См.: КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 40.
[2] См.: *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 2.
[3] *Слуцкий Б.* Сегодня и вчера. Книга стихов. М., 1963, с. 177—178.

личилась всего на три года — с 44 лет в 1926—1927 гг. до 47 лет в 1938—1939 гг. За предшествующие три десятилетия, в течение которых Россия пережила мировую войну, революцию, гражданскую войну и интервенцию, соответствующая цифра поднялась на 12 лет (в 1896—1897 гг. продолжительность жизни равнялась 32 годам). В течение последующих двух десятилетий, включавших Великую Отечественную войну и послевоенную разруху, этот показатель вырос на 22 года (достигнув в 1958—1959 гг. 69 лет)[1].

Тяготы быта сказывались и на моральной атмосфере общества, нравственном здоровье народа. Очереди, теснота, вынужденное соседство, постоянные нехватки и дефицит, повседневное ощущение того, что предметы первой необходимости нужно «доставать», «добывать», «получать», прилагая усилия и преодолевая трудности,— все это рождало подспудное нервное напряжение, постоянную озабоченность, немотивированное озлобление. Квартирные склоки, магазинная и транспортная грубость, бесконечные жалобы, втягивающие личные отношения в общественное разбирательство, становились бытом. В более сложном опосредовании напряженность повседневной жизни выступила одной (конечно, только одной!) из причин бедственного роста пьянства, идущего с рубежа 20—30-х годов почти что до наших дней.

Было бы наивным ригоризмом представлять ухудшение и огрубление бытовых нравов 30—40-х годов в виде абсолютной моральной катастрофы. Доброта, сочувствие, солидарность встречались у людей этого времени ничуть не реже, чем хамство, себялюбие, равнодушие. А такие качества, как коллективизм, военное и трудовое мужество, героическая самоотверженность, были присущи им в большей мере, нежели многим другим поколениям. Тем не менее повышенная затрудненность каждодневного существования ухудшала нравственный климат. Без нее жизнь была бы лучше, чище, честнее. В раздающихся иной раз сожалениях об исчезнувшем «братстве» коммунальных квартир и бараков может отражаться что угодно — и искренняя идеализация молодости, и бесстыдное лицемерие, и злобное неприятие перемен, и истина конкретного житейского случая. Но подлинной правды в них нет. Правда, скорее, в неве-

[1] См.: Вестник статистики, 1987, № 3, с. 57.

селых замечаниях булгаковского героя: «...люди как люди», «квартирный вопрос только испортил их...» [1]

Так что «громады стали и стекла» стоили советским людям не одного лишь недостатка сытости и просторных жилищ. Но ведь и «громады» эти — не просто здания. Они обозначали подъем на новую ступень технического и социального прогресса, прорыв к новому типу труда, к основам современной цивилизации. С ними неразрывно связан охват полуграмотного в недавнем прошлом народа всеобщей школой и превращение миллионов рабочих и крестьянских детей в образованных специалистов. В них — одна из предпосылок победы, не единственная, но совершенно необходимая.

Поэтому если бы издержки форсированной индустриализации и форсированного строительства социализма сводились к стагнации или даже понижению жизненного уровня, социально-экономическая оценка выбора, сделанного в нашей стране на рубеже 20—30-х годов, была бы гораздо более определенной. Не то чтобы она стала совершенно однозначной — при всех условиях надо принимать в расчет некоторую вероятность того, что вообще была возможность более легкого развития на путях плавной, неформированной индустриализации. Однако вся проблема народных жертв потеряла бы в этом случае остроту. Ибо два-три десятилетия меньшей сытости можно вполне рационально сопоставлять с ускорением народнохозяйственного и культурно-образовательного развития. В конце концов, человечество давно уже признало, что первородство стоит чечевичной похлебки.

Но как быть, если за первородство надо расплачиваться не чечевичной похлебкой, а тем, что один из самых тонких поэтов нашего века ощутил как «горячий отвар» из «ребячьих пупков», «хлипкой грязцы» и «кровавых костей в колесе»? [2]

Трагедия советской истории после «великого перелома» не в стагнации или падении жизненного уровня при всех ее несомненных тяготах и моральных издержках. Стагнация эта — полбеды. Настоящая беда в том, что на протяжении 30—40-х годов вместе и в связи с

---

[1] См.: *Булгаков М.* Белая гвардия. Мастер и Маргарита. М., 1984, с. 365—366.

[2] См.: *Мандельштам О.* Стихотворения. Л., 1974, с. 153; *Мандельштам О.* Стихи и переводы.— Дружба народов, 1987, № 8, с. 138.

осуществлением индустриализации и сплошной коллективизации, одновременно с ростом оборонной мощи, преодолением экономической отсталости, приобщением к цивилизации в стране возник и укрепился авторитарный, деспотический политический режим, воздействие которого оказалось куда более губительным, чем просто снижение жизненного уровня. Именно с противоречиями политического режима, с заключенными в нем возможностями массового героизма и массовых злодеяний, всеобщей организованности и застойного бюрократизма, государственной поддержки идеалов добра и догматического окаменения социалистической идеи связано самое страшное из того, что произошло у нас вслед за поворотом, совершившимся на рубеже 20-х и 30-х годов. Здесь главный пункт, делающий столь сложной общую оценку событий того времени. Здесь мысль подходит к пределу, где ужас сковывает ее движение и где слабеет столь нужная историку решимость «не плакать, не смеяться, но понимать».



III

ФОРСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

1. Факторы перехода к авторитарному управлению
2. Превращение авторитарности в деспотическое самовластие. Неизбежность? Случайность? Вероятность?
3. Риск чрезмерных ошибок и злоупотреблений

1. Факторы перехода к авторитарному управлению

Обусловленность политического режима 30—40-х годов обстоятельствами форсированной индустриализации и вообще форсированного варианта социалистического строительства имеет далеко не столь прямой и очевидный характер, как в случае жизненного уровня. Если стагнацию и снижение последнего можно однозначно выводить из нужд индустриализации и необходимости повышения обороноспособности, то в отношении политического развития такое утверждение, во всяком случае в безоговорочной форме, вряд ли будет правомерным. В торжестве того или иного варианта политической организации огромную роль всегда играют не только социально-экономические факторы, но и характер политических деятелей, конкретный ход политических событий (в том числе событий случайных), традиции политической культуры и многое другое.

В советском обществе складывание политического режима, достигшего расцвета в 30—50-е годы, в огромной мере определялось тем, что народы нашей страны столетиями были лишены возможности участвовать в государственной жизни, что в массах (в частности, в массах партийных) были очень слабы демократические традиции, умения, привычки, навыки защищать свои права. Эти факторы действовали до и вне зависимости от принятия или непринятия стратегии форсированной индустриализации.

Точно так же не связаны напрямую с индустриализацией личностные особенности И. В. Сталина — сочетание в нем политической проницательности, сильной воли, выдающихся организационных способностей с неограниченным властолюбием, невысокой культурой, грубостью, болезненной подозрительностью, жестокостью,

абсолютной политической безнравственностью. Не от индустриализации зависел и тот факт, что большинство его противников (из тех, кто мог сравниться с ним по масштабу личности) сформировались в эмигрантско-интеллигентской среде и по характеру своих идейных построений, по самой манере держаться и выражаться отличались от многих рядовых членов партии и партийных активистов того времени несравнимо сильнее, чем Сталин. Равно как и то, что среди сторонников Сталина не оказалось людей его калибра, так что никто из них не мог серьезно противостоять сталинским решениям и сталинскому произволу (а некоторые, наоборот, сознательно играли на худших сторонах натуры вождя). Между тем все эти обстоятельства занимают совсем не последнее место в ряду причин, объясняющих характер политического режима, развивавшегося у нас в 30—50-е годы.

Политическая обстановка и политические порядки этого времени вызваны к жизни совокупным действием множества очень различных экономических, социальных, культурных факторов. Более того, если иметь в виду прямые ближайшие предпосылки, то надо признать, что решающую роль здесь сыграли политические действия И. В. Сталина и его окружения. В этом смысле за политический режим, установленный в стране и партии в 30-е годы, за совершенные ошибки и злодеяния непосредственно «отвечают те, кто тогда был у власти» [1], кто эту власть представлял и формировал, кто придавал ее общим тенденциям конкретное выражение, так сказать, конкретную политическую физиономию.

Отсюда, однако, никак не следует, что политический режим, сложившийся после принятия стратегии форсированного развития, вообще не связан с этой стратегией, с характером пути, избранного партией и страной в конце 20 — начале 30-х годов. Зависимости здесь очень глубокие, и притом не только прямые, но и обратные. С одной стороны, социально-экономическая обстановка, порождаемая переходом к форсированной индустриализации и всем, что вытекало из такого перехода, если и не предопределяла с неизбежностью складывание авторитарной антидемократической системы управления, существенно способствовала ее утверждению.

[1] *Горбачев М. С.* Избранные речи и статьи. М., 1988, т. 5, с. 27.

С другой — возникновение и последующее длительное функционирование подобной системы оказывало серьезное воздействие на течение социально-экономических процессов, выступая как бы особым, относительно самостоятельным фактором социального развития.

В работе о социально-экономических сдвигах 30—50-х годов (притом основанной по преимуществу на статистических материалах) не стоит и пытаться анализировать политический режим во всей его целостности. Но равным образом нельзя полностью игнорировать все его предпосылки и последствия. Особенно когда речь идет, как у нас, о соотношении социально-экономических достижений и их «цены». Ибо в совершенном отрыве от политической сферы невозможно охватить ни грандиозный масштаб преобразований, осуществленных после перехода к форсированной индустриализации и форсированному строительству социализма, ни страшной тяжести ошибок, преступлений и жертв, сопутствовавших этим преобразованиям.

Прежде всего важно пояснить, на чем основывается наше убеждение, что выбор форсированного варианта развития способствовал нарастанию авторитарных начал в политическом устройстве советского общества. Не будем искать здесь абсолютной детерминации по какой-нибудь строгой формуле вроде того, что если экономические меры типа A_1 дают политические решения типа A_2, то экономическая линия типа B_1 ведет в политике к явлениям типа B_2. Подобные умозрительные схемы чужды реальной сложности социальной жизни. Попробуем просто подумать, было ли в природе форсированного развития нечто такое, что повышало вероятность укрепления командно-директивных, недемократических форм государственного управления.

В этой связи надо заметить, что переход к форсированной индустриализации и форсированному варианту социалистического строительства резко усиливал объективную потребность в широком использовании административно-командных форм политической организации. Не то чтобы в новых условиях эта потребность была единственной. Рядом с факторами, усиливавшими тягу к авторитарности, продолжала действовать и сущностная потребность социализма в демократии. Однако невозможно оспорить, что с началом форсированного развития умножились сферы общественной жизни, где применение командно-директивного управления стало

прямой необходимостью, что произошло своего рода расширение «социального поля», в пределах которого подобное управление оказывалось эффективным или даже единственно возможным.

Напомним, что выбор форсированной стратегии предполагал резкое ослабление, если не полное уничтожение, товарно-денежных механизмов регулирования экономики и абсолютное преобладание административно-хозяйственной системы. Тем самым центр получал возможность быстро мобилизовывать материальные, финансовые, человеческие ресурсы, концентрировать их на участках хозяйства, которые определялись как ключевые, на время повышая темпы развития этих участков (как бы ни замедлялся при этом прогресс остальных сфер общественной жизни). Но одновременно тем самым устранялась возможность управлять течением производственных и воспроизводственных процессов, поддерживать необходимые народнохозяйственные пропорции, обеспечивать общую сбалансированность экономики с помощью преимущественно экономических воздействий, на основе использования и стимулирования социально-экономических интересов.

По сути дела, главным средством управления экономикой в рамках форсированного развития (т. е. экономикой с «усеченными», «урезанными» товарно-денежными отношениями и с фактической народнохозяйственной монополией государства) становились приказ, распоряжение, директива. Решающее значение для поддержания нормальной хозяйственной жизни в этих условиях получала дисциплина, неукоснительное подчинение подаваемой «сверху» команде. Инициатива, предприимчивость, самодеятельность имели ценность лишь в той мере, в какой они не противоречили директиве. Ибо понижение уровня инициативности, удлиняя сроки и ухудшая качество выполнения директивы, все же не вело административную экономику к развалу; она могла функционировать при низкой локальной инициативности. Между тем массовая недисциплинированность, особенно на средних и высших ступенях управленческой иерархии, грозила этой экономике прямой катастрофой, непоправимым нарушением множества жизненно важных связей и пропорций.

Здесь практически нет альтернативы. Выбор может быть между административно-хозяйственным механизмом и механизмом, в котором используются главным об-

разом стимуляционные экономические воздействия. Но коль скоро система административного управления экономикой становится преобладающей, поддержание неукоснительной дисциплины оказывается непременным условием воспроизводства.

А дальше развертывается жесткая логика социальных зависимостей. Плановой, производственной, технической дисциплины в хозяйстве, лишенном рычагов экономического интереса и экономического давления, легче всего добиться, опираясь на политический аппарат, государственную санкцию, административное принуждение. Собственно политическое управление сращивается здесь с управлением экономическим, так что экономический механизм становится в форсированном варианте раннего социализма механизмом хозяйственно-политическим. Причем дисциплинарно-иерархическое строение экономики подталкивает политическую структуру этого механизма к тому, чтобы и в политике как таковой возобладали те же формы неукоснительного подчинения директиве, на которых строится здесь хозяйствование.

В экономике с большим объемом товарно-денежных и рыночных отношений (в том числе в социалистических разновидностях товарной экономики) управление на разных уровнях строится неодинаковым и подчас противоречивым образом. Внутри отдельных предприятий, особенно индустриально-фабричного типа, всегда сильны элементы авторитарного управления — такое положение диктуется самой технологией[1]. Но управление экономикой в целом, пока в ней заметную роль играют рыночные отношения и конкуренция, имеет отнюдь не авторитарный характер. Политическая надстройка в этих условиях может быть как авторитарной, так и демократической; демократическая политическая система, при прочих равных, открывает даже больший простор для функционирования товарной экономики, чем система авторитарная.

Преимущественно нетоварный, нерыночный вариант форсированного развития снимает противоположность принципов, на которых строится организация отдельного предприятия и народного хозяйства в целом. Они перестают уравновешивать друг друга, и на обоих уровнях преобладающими становятся административно-властные, преимущественно директивные, а не стиму-

[1] См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 18, с. 303—304.

ляционные формы управления. Естественно, что такое единство экономики рождает в ней тягу к авторитарной политике.

Усиления административно-авторитарных начал политической системы требовало также длительное снижение материального благосостояния народа, образующее органическую часть форсированного варианта индустриализации и преодоления экономической отсталости. Как ни сильны были энтузиазм передовых слоев советского общества, их убежденность в необходимости жертв и готовность стойко переносить бытовые лишения, трудно поверить, что одних лишь идеологических воздействий могло быть достаточно, чтобы в течение четверти века, в том числе на протяжении двух десятилетий мирного времени, удерживать жизненный стандарт десятков миллионов людей на уровне, который обычно существует в течение относительно кратких периодов, в годы войны и общественных катастроф.

Перефразируя известный афоризм А. Линкольна о том, что можно обманывать всех некоторое время и некоторых все время, но нельзя обманывать всех все время, в нашем случае следовало бы сказать: можно убедить всех принимать катастрофическое снижение уровня жизни в течение некоторого времени; можно убедить некоторых принимать его в течение всей жизни; но нельзя одним убеждением добиться того, чтобы в течение всей жизни все добровольно соглашались с чрезвычайным понижением жизненного уровня.

Еще В. И. Ленин писал о недостаточности одного энтузиазма, о необходимости трезво оценивать силы общественного развития и понимать, что социализм строится «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете...» [1]. В условиях форсированной индустриализации, с характерным для нее снижением жизненного уровня и административными методами хозяйствования, возможности дополнять энтузиазм личным интересом и хозрасчетом резко сократились. Энтузиазм в этой обстановке надо было дополнять иными факторами, организационно-политическими в первую очередь.

Правда, длительное проведение политики низкого жизненного уровня облегчалось у нас тем, что осознан-

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 44, с. 151.

ная вера в ее оправданность и целесообразность упрочивалась влиянием бессознательных или подсознательных социально-психологических факторов, в том числе повышенной способностью народа к терпению. Видимо, И. В. Сталин принимал в расчет эту особенность народного характера. Во всяком случае, сразу же по окончании войны в редкий час искренности он признал, что у его «правительства было не мало ошибок» [1] и что именно «терпение» русского народа помогло ему сохранить власть, несмотря на все промахи.

Нам трудно согласиться с буквальным смыслом сталинских слов. Терпение он провозгласил именно и только русской чертой, выделяющей русский народ «среди всех народов нашей страны» и означающей, что «он — руководящий народ...» [2]. По нашему убеждению, то, что И. В. Сталин называет терпением, есть выражение обычного способа действий по отношению к давлению внешних обстоятельств всякого народа, в массовом сознании которого еще сильны патриархальные установки. Долгое время такой народ смиряется с давлением, а затем отвечает на него общим мятежом, крушащим все подряд. «Русский бунт — бессмысленный и беспощадный», как его характеризовал А. С. Пушкин [3], есть типичная форма такого мятежа. Потом снова наступают десятилетия терпеливой апатии. В истории неславянских народов нашей страны, например в истории народов Средней Азии, сносивших свирепый гнет варварских средневековых деспотий, в истории прибалтийских народов, подчинявшихся господству немецких баронов, в истории местечкового еврейства, покорно мирившегося с национальным унижением и презрением соседей, пресловутое терпение выступало столь же ясно, как и в судьбах русского, украинского, белорусского народов. Что же касается народов, не обладающих терпением,— это те же народы, но достигшие в своем развитии стадии, когда поведение масс начинает определяться глубокими демократическими традициями немедленного и активного сопротивления любому давлению, коль скоро оно сознается неоправданным и несправедливым.

Мы не согласны и с безусловно положительной оценкой терпения как свойства народа. И. В. Сталин считал,

---

[1] *Сталин И. В.* О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1947, с. 196.

[2] Там же.

[3] *Пушкин А. С.* Собр. соч. В 10 т. Л., 1978, т. 6, с. 370.

что, не будь народного терпения, советские люди могли бы во время войны «сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией» [1]. Что «нетерпеливый» народ скорее, чем «терпеливый», способен попытаться сменить правительство, совершившее «немало ошибок» и не раз приводившее страну на грань «отчаянного положения» [2], это, конечно, верно. Но почему надо думать, что смена правительства обязательно повела бы к капитуляции? Тут невозможно единственное суждение вроде того, что народное терпение, полностью развязывающее руки правительству, всегда предпочтительнее нетерпения, ограничивающего свободу его действий. Все зависит от конкретных исторических условий, и очень возможно, что вовремя «поставленное» в нашей стране «другое правительство» (особенно, если бы это было сделано до войны) сумело бы развивать социалистическое строительство, наращивать обороноспособность, вести войну лучше, чем это делало правительство, руководимое И. В. Сталиным.

В общем оставим на совести автора (если применительно к Сталину можно говорить о совести) утверждения относительно достоинств терпения и его русской природы. Но самый факт повышенной терпеливости большинства советских людей всех наций в 30—40-е годы, их, так сказать, особую социальную выносливость отрицать невозможно. Этот факт явно облегчал долговременное сохранение низкого жизненного уровня, расширял возможности поддерживать народное «принятие» подобного уровня с помощью воздействий в сфере массового сознания.

И все-таки опыт истории, да и просто человеческий, житейский опыт людей, еще помнящих быт 30—40-х годов, заставляет сомневаться в том, что факторы общественного сознания, даже если в их ряду действовали такие мощные силы, как особенности народного характера, сами по себе могли обеспечить согласие нескольких поколений 200-миллионного народа прожить всю жизнь едва ли не впроголодь, в коммунальной и барачной тесноте, ощущая непрерывное напряжение и нехватку

---

[1] См.: *Сталин И. В.* О Великой Отечественной войне Советского Союза, с. 197. Характерная деталь: когда речь идет о правительстве, которое он возглавляет, И. В. Сталин пишет это слово с прописной буквы.

[2] См. там же, с. 196.

предметов первой необходимости. Тем более что в России XX в. способность общества к «терпению» была уже изрядно размыта тремя революциями и гражданской войной, завершившейся всего за 10 лет до начала индустриализации.

Идеологические воздействия в подобной обстановке нужно было подкреплять твердым государственно-политическим регулированием меры труда и потребления [1]. Введение смертной казни или десятилетней каторги за хищение колхозного добра, установление тюремных наказаний за сбор колосьев на полях (1932 г.), предание суду рабочих и служащих за три прогула в месяц (1938 г.), а затем и просто за небольшое опоздание (1940 г.), запрещение им переходить по своему желанию с одного предприятия на другое (1940 г.) и почти полное ограничение всякой свободы передвижения у колхозников, лишенных общегражданских паспортов (появившихся у остальной части населения в 30-е гг.),— посредством таких и даже еще более жестоких мероприятий условия труда и жизненный уровень удерживались в пределах, совместимых с форсированной индустриализацией [2]. Понятно, необходимость проведения этих мер никак не благоприятствовала демократизации политической жизни.

Если преобладание внеэкономических, административных методов хозяйствования и снижение жизненного уровня усиливали своего рода общественную потребность в авторитарной политике, то другими своими последствиями форсированное развитие расширяло возможности реального осуществления такой политики. Главное здесь в том, что преобразования, обусловленные индустриализацией и коллективизацией, неизбежно вели

---

[1] «Значительную часть населения страны... приходилось заставлять мириться с проводимыми мерами, мириться с создавшимся положением самыми разнообразными принудительными мерами и средствами» (см.: *Плимак Е.* Политическое завещание В. И. Ленина. Истоки, сущность, выполнение. М., 1988, с. 76).

[2] См. подробнее: Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст на 1 июля 1950 г. М., 1950, с. 157—163; *Курицын В. М.* 1937 год в истории Советского государства.— Советское государство и право, 1988, № 2, с. 113; *Селюнин В.* Истоки.— Новый мир, 1988, № 5, с. 178. Что касается более жестких мер, упомянем введение в 1940 г. тюремного наказания учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение школьной дисциплины и самовольный уход из училища (Уголовный кодекс РСФСР. М., 1950, с. 164).

к временному (и даже долговременному) ослаблению социальных сил, которые при иных обстоятельствах могли бы противостоять авторитарным командно-нажимным тенденциям в политической сфере.

Собственно, силы эти не были слишком могущественны и раньше. Характерное для 20-х годов сочетание демократии и централизма, соединявшее политическую дисциплину с возможностью известного разнообразия политических решений, политической критики, политической дискуссии внутри правящей партии, держалось в основном «безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией» [1]. Этот слой включал несколько тысяч большевиков (менее 10 тыс. человек [2]), вступивших в партию еще до революции, обладавших реальным опытом партийной демократии и высокой политической культурой, понимавших значение обеих сторон демократического централизма, умевших пользоваться ими.

Подобное умение было гораздо слабее у широкого партийного актива и рядовых членов партии. Среди них преобладали тогда сравнительно молодые и не очень грамотные люди — даже к концу 30-х годов 70% секретарей райкомов и горкомов, 40% секретарей обкомов имели только начальное образование или не имели даже его [3]. Политически и нравственно активисты, воспитанные гражданской войной или под влиянием ее идейной атмосферы, были привычны к военным формам управления. Они искренне считали, что решение сложных общественных проблем с помощью «красногвардейской атаки» есть высшее проявление революционности и коммунистической самоотверженности. Исторически сложившаяся у нас однопартийная система не давала им в то время опыта нормальных форм политического соперничества. К тому же, формируясь в годы революционной ломки жизненных устоев и ощущая разрыв с традицией как долг революционеров, партийные активисты неизбежно теряли ту дополнительную опору самостоя-

---

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 20.

[2] Сразу же после гражданской войны — в 1922 г.— большевики со стажем до февраля 1917 г. составляли только 2% партии (см.: *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6, с. 127). В партии тогда насчитывалось около 400 тыс. человек (Партийная жизнь, 1973, № 14, с. 9).

[3] Человек и символ.— Комсомольская правда, 1988, 2 апреля.

тельности («самостоянья человека», по пушкинскому выражению), которую обычно дает укорененность в привычной бытовой среде. Тем более что немалую их часть составляли выходцы из районов России, оказавшихся после революции вне пределов СССР, а также зарубежные интернационалисты, решившие целиком посвятить себя первому государству рабочих, отечеству пролетариев всех стран, как говорили в то время.

Сами по себе многие молодые люди, вошедшие в политику под возгласы «Пролетарий, на коня!» и «Даешь!», тяготели скорее к авторитету, к выполнению воли вождя или коллектива, чем к демократическому обсуждению и отстаиванию собственных взглядов. В еще большей мере это относится к работникам чиновничьей складки, подбиравшихся сталинским кадровым аппаратом с середины 20-х годов. Стихийное тяготение большинства активистов партии к «недемократическому централизму» умерялось именно уважением к ленинскому слою старой партийной гвардии, безоговорочному, построенному на доверии принятию его политических принципов и политической этики.

Точно так же и в классовой структуре советского общества того времени главной социальной базой развития социалистической демократии выступали относительно немногочисленные группы кадровых рабочих. У рабочих крупных промышленных центров и, пожалуй, только у них были действительно сильны пролетарские традиции сознательной дисциплины, политической активности, стремления и умения защищать свои права, сдерживать напор бюрократизма. В других слоях народа, в крестьянстве прежде всего, демократические элементы общеполитической культуры и общеполитического сознания присутствовали в гораздо меньшей степени. Хотя — и это важно для понимания последующих событий — десятилетие послереволюционного развития и в деревне укрепило некоторые предпосылки такого сознания. В крестьянской массе выросло ощущение собственного достоинства, появилась уверенность в своем положении хозяев земли, утверждалось стремление самостоятельно решать местные дела. Стихийный мужицкий демократизм начинал перерастать в осознанное демократическое мироощущение.

Реальное соотношение социальных групп, обладавших бо́льшим или меньшим опытом демократии, большей или меньшей приверженностью к ней, явилось

одним из условий, определивших поворот рубежа 20—30-х годов. Но пока такое соотношение существовало, оно сохраняло — пусть и довольно хрупкое — равновесие начал демократии и централизма в советском обществе. Когда же поворот совершился, само форсированное социально-экономическое развитие нарушило это равновесие, уменьшив на определенный период действенность факторов поддержания демократии и усилив факторы, толкавшие политический строй к безоговорочному централизму.

Резкость и глубина перемены политического курса в связи с переходом к стратегии форсированного развития завершили начавшийся еще раньше раскол «тончайшего слоя» старой партийной гвардии, которого так опасался Ленин и предотвратить который он пытался своим завещанием [1].

Сталинский план индустриализации и коллективизации, а также исторически слитый с ними сталинский стиль руководства приняли далеко не все представители данного слоя. Вместе с деятелями, отклонившимися от линии большинства на предшествующих стадиях внутрипартийной борьбы, они составляли очень значительную часть старой гвардии. Естественно, что люди эти теряли авторитет в глазах партийной массы и партийного актива. Соответственно — вольно или невольно — слабело и доверие к нормам внутрипартийной и общеполитической жизни, выработанным старой партийной гвардией. В том числе к нормам и ценностям, с помощью которых удавалось сохранить в партии действенность обоих начал демократического централизма. В массовом сознании, как и непосредственно в политической реальности, сбылись худшие ленинские предвидения о том, что «достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него» [2].

Отход от норм внутрипартийной демократии, утверждавшихся старой партийной гвардией в 20-е годы, протекал с тем большей легкостью, что сами эти нормы отличались глубокой противоречивостью. В соответствии с представлениями того времени, демократические нормы распространялись лишь на единомышленников.

---

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 343—348.
[2] Там же, с. 20.

Политических же противников лишали права легально отстаивать свои убеждения. Это оправдывалось обстановкой гражданской войны, капиталистическим окружением, угрозой реставрации власти эксплуататоров и т. п. Утверждению такого подхода способствовало и непонимание цивилизационной роли демократии, присущее теориям и этическим взглядам многих революционно-социалистических движений XIX — начала XX в., большевизма в том числе [1].

Как бы ни оценивать такое объяснение, в том числе и считая его вполне убедительным, очевидно, что принятие половинчатых демократических норм в качестве принципа крайне затрудняет сохранение хотя бы неполной демократии на практике. Ибо в политической борьбе нет и не может быть однозначных критериев, позволяющих четко провести грань между различиями единомышленников (каждая группа которых имеет право на защиту своих взглядов) и конфликтами сторонников и противников большевизма (где, как считали тогда, не следует допускать свободной и равноправной дискуссии). Внутрипартийная борьба в рамках подобной политической культуры легко переходила в борьбу с антипартийными группами или, по крайней мере, начинала казаться таковой. Соответственно теряли силу нормы внутрипартийной демократии. Призыв к их сохранению переставал действовать на большинство партии, стоило лишь этому большинству счесть, что разногласия вышли за рамки партийности.

Так, кстати, и произошло во внутрипартийной борьбе середины 20-х годов. Разногласия тогда касались двух основных проблем: во-первых, вопроса о возможности построения социализма в одной стране, во-вторых, вопроса об угрозе бюрократического перерождения аппарата и о сосредоточении чрезмерной власти в руках Секретариата ЦК, персонально И. В. Сталина. Признание неверными и антипартийными взглядов по первому вопросу сразу же закрыло возможность продолжения дискуссии по второму, хотя здесь — теперь уже это ясно — оппозиция была во многом права.

Сверх того, противоречивый характер представлений старой гвардии относительно демократии создавал благоприятную почву для расцвета нигилистического отношения к праву, к законности, к упорядоченным

---

[1] См.: *Ципко А. С.* Истоки сталинизма.— Наука и жизнь, 1988, № 11, 12.

нормам вообще. О. Лацис напомнил о чрезвычайно характерном эпизоде, происшедшем на XV съезде партии. Большинство съезда чуть ли не осмеяло попытки Н. В. Крыленко доказать необходимость для прокуратуры руководствоваться законом, а не произвольно толкуемой целесообразностью [1].

Между тем вольный подход к законности, вытекавший из ограниченного понимания демократии, неизбежно и неумолимо вел к дальнейшему нарастающему ограничению самой демократии. В подобной атмосфере постепенно, но неуклонно увеличивалась власть аппарата. К концу 20-х годов она достигла такой силы, что уже невозможно с полной определенностью установить, чем решался исход борьбы сторонников форсированного и неформированного развития, равно как и окончательный отказ от норм внутрипартийной демократии,— искренним принятием партийной массой авторитета сталинской группы и ее методов или вынужденным подчинением директивам аппарата, возглавляемого этой группой.

Понижению «сопротивляемости» общества в отношении авторитарно-бюрократических форм управления способствовали также некоторые изменения социальной структуры, происшедшие на начальных этапах форсированной индустриализации. Великим достижением индустриализации явилось стремительное превращение относительно немногочисленного рабочего класса в массовый народный слой, охватывающий десятки миллионов работников во всех отраслях и всех регионах страны. Напомним, что в 1928 г. в СССР насчитывалось менее 9 млн рабочих, тогда как в 1940 г. их число достигло 24 млн, а в 1950 г.— почти 30 млн человек. О прогрессивном социальном значении «взрывного» расширения рабочего класса мы уже говорили — без такого расширения не было бы ни индустриального, ни профессионально-культурного рывка, осуществленного страной в 30—40-е годы. Но, как всякий сложный исторический процесс, скачкообразный рост рабочего класса был сопряжен со многими сложностями и противоречиями.

Применительно к нарушению равновесия факторов демократического и «недемократического» централизма важнее всего то обстоятельство, что гигантское увеличение численности рабочих в 30—40-е годы достигалось главным образом за счет массового притока выходцев из крестьянства и деревни вообще. Иначе, собственно, и

[1] См.: *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6, с. 168—170.

нельзя было достичь утроения рабочего класса за столь короткий срок, так что в этом отношении наплыв миллионов бывших крестьян в города имеет глубоко позитивный смысл.

Но одновременно громадный масштаб «внерабочих» пополнений создавал условия, при которых рабочие массы на некоторый период неизбежно становились, по выражению В. И. Ленина, «гораздо менее пролетарскими по составу, чем прежде...» [1]. Работники, недавно пришедшие из деревни, оказались в ходе индустриализации большинством рабочего класса. Их масса захлестывала старые промышленные города (не говоря уже о новых индустриальных центрах), размывая и растворяя в себе ядро кадров рабочих [2]. Общее окрестьянивание города затронуло рабочий класс в первую очередь. В рабочих коллективах количественное преобладание получили люди, выросшие вне городской, промышленной среды, непривычные к промышленной дисциплине, далекие от рабочих традиций и привычек, лишь постепенно овладевавшие мастерством и рабочей квалификацией. Многие из них чувствовали себя выбитыми из привычной колеи, испытывали растерянность, если не страх, перед мощью индустриальной техники и сложностью городского быта. Следствием раскрестьянивания деревни оказалось, таким образом, не просто окрестьянивание города, но также и то, что писатель И. Васильев назвал «распролетаризацией» рабочего класса [3].

Массовое сознание рабочих в этой обстановке переставало быть серьезным препятствием для авторитарного нажима. Наоборот, в сознании новых рабочих, неопытных, не владевших техникой, далеких от традиций пролетарской самодеятельности и солидарности, жесткая производственная дисциплина и необходимое на производстве единоначалие выступали как образец нормальной, естественной, даже единственно возможной организации всей общественной жизни, в том числе и политики. Индустриализация, таким образом, вызывала среди рабочих нарастание такой же готовности принять командно-административные формы управления, какая (хотя и по иным причинам) еще раньше сложилась

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 19.

[2] См. подробнее: *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического развития, с. 39—41.

[3] См.: *Васильев И.* Бумеранг.— Правда, 1988, 2 октября.

у немалой части партийных, советских, хозяйственных руководителей.

Одновременно с переменами в рабочей среде форсированное экономическое развитие ослабляло социальные силы, объективно противостоявшие авторитарным политическим тенденциям в деревне. Крестьянство нашей страны до революции не имело условий, а после революции — достаточного времени, чтобы в его массовом сознании упрочились идеи развитого политического демократизма, особенно применительно к высшим эшелонам власти. Однако на местном уровне политической организации само устойчивое положение ведущих слоев крестьянства в нэповской деревне, их хозяйственный достаток и известная хозяйственная независимость отчасти сдерживали произвол и попытки командного управления.

Как раз эта устойчивость традиционного деревенского быта ушла вместе с индустриализацией и коллективизацией. Спору нет, устранение многих реакционных традиций открывало перспективу социального и культурного прогресса: оно уничтожало элементы неподвижности, застывшей рутинности, все еще сильные в крестьянской жизни. Однако ускоренное и единообразное переустройство села, особенно учитывая насильственно-механические методы, с помощью которых осуществлялась коллективизация, приводило к тому, что вместе с действительно реакционными традициями разрушалась вообще вся система нормальных, естественных хозяйственных, человеческих семейных связей. Получалось так, что прежние привычные устои рушились в деревне много быстрее, чем складывались заменяющие их порядки и ценности. Крестьянство, лишенное старого мира, но еще не освоившееся в новом, меньше чем когда-либо было способно сопротивляться давлению централизаторских тенденций в политической сфере.

Немалую роль здесь сыграл и социальный облик людей, вынесенных на вершину деревенской жизни в первые годы коллективизации. Создание колхозов активнее всего поддержала сельская беднота. Она закономерно дала большую часть первого колхозного актива. При этом надо учитывать, что процесс дифференциации крестьянства, определявший облик бедноты в 20-е годы, имел ряд особенностей. Он протекал в условиях Советской власти и свободного крестьянского землепользования. Дифференциация в такой обстановке приводила к

тому, что в составе бедноты оказывалась повышенная доля слабых, неумелых, а то и просто безответственных людей. За 10—15 лет, прошедших после революции, большинство мало-мальски старательных крестьян выбилось хотя бы в середняки, в бедняках остались по преимуществу либо калеки, либо плохие работники. Соответственно и в верхах новой деревни оказалось достаточно подобных «обсевков» сельской жизни.

В сравнительно безобидном случае это были лодыри и бестолковые пьяницы вроде Вани по прозвищу Акуля из автобиографических рассказов В. Ф. Тендрякова. Того самого Акули, никудышного хозяина, кого в деревне раньше «за назем считали», но которого с началом коллективизации поставили «во главу угла... ги-ге-мон!». Как говорит Акуля, кулака «сковырнули — меня выдвинули!». И разносится над деревней его пьяный крик: «С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!..» [1]

В других, гораздо более опасных случаях коллективизация выбрасывала наверх озлобленных и беспринципных деревенских крикунов-неудачников, подобных Игнахе Сопронову, герою беловского романа «Кануны» [2]. Сопроновы в годы нэпа не умели ни вести собственное хозяйство, ни добиться успеха в советской или партийной работе. Презираемые соседями и не заслужившие уважения товарищей, они были готовы творить любые беззакония, идти на любые авантюры, лишь бы поправить свое положение.

К беззакониям склонялись не только неудачливые деревенские карьеристы, но и честные сельские романтики-коммунисты, также составившие заметную часть новых руководителей деревни. Выбитые из нормальной колеи гражданской войной, да так и не сумевшие снова врасти в крестьянскую жизнь, они в своем мироощущении оторвались от среднего крестьянства и перестали воспринимать его интересы как свои собственные. Власть шолоховского Макара Нагульнова или бывших красных партизан из «Босой правды» Артема Веселого [3], при всем их революционном героизме, сулила деревне не больше демократии, чем власть Вани Акули.

---

[1] *Тендряков В.* Рассказы.— Новый мир, 1988, № 3, с. 14.

[2] См.: *Белов В.* Кануны. Хроника конца 20-х годов.— Новый мир, 1987, № 8, с. 6—81.

[3] См.: «Россия, кровью умытая» Артема Веселого. По материалам личного архива писателя.— Новый мир, 1988, № 5, с. 154—161.

В конечном счете ослаблению социальной основы демократизма в деревне способствовала и присылка кадров из города. Самые беззаветные и самые увлеченные идеей стремительной переделки села рабочие-двадцатипятитысячники, такие, как Семен Давыдов из «Поднятой целины», не всегда могли стать реальной силой колхозной демократии хотя бы потому, что были вынуждены управлять сельскохозяйственным делом, будучи несравнимо менее сведущими в нем, чем руководимые ими мужики. Какое уж тут уважение к воле большинства, когда повсеместно происходило то, что наблюдал в детстве один из самых знающих наших деревенских писателей — В. П. Астафьев: «...городской уполномоченный брался командовать крестьянами, не умея садиться на лошадь, не зная, как и что растет на здешней земле, лишь попусту поучавший, а если сопротивлялись, то в тюрьму их, в ссылку» [1].

В общем, основные типы выдвиженцев коллективизации были готовы к принятию авторитарных порядков. Да, собственно, приказ, указание, директива представляли единственные методы, с помощью которых только и можно было управлять деревней через такие кадры. В дальнейшем, когда колхозная система стабилизировалась и формирование кадров приняло более упорядоченный характер, сама организационная структура этой системы оказалась мощным фактором выдвижения новых людей, хотя и грамотных, но скорее дисциплинированных, чем самостоятельных, инициативных, готовых принимать и отстаивать демократические ценности. Тем более что весь строй колхозной жизни, как он реально сложился у нас в 30—40-е годы, открывал самые широкие возможности подчинения жизни села административно-командному воздействию.

Как видно, линия форсированного экономического развития, принятая на рубеже 30-х годов, с одной стороны, требовала расширения авторитарных начал политической жизни, а с другой — укрепляла готовность многих групп общества к принятию авторитарности, ослабляя социальные силы, которые прежде обеспечивали сохранение соразмерности обеих сторон демократического централизма. Неудивительно, что вместе с переходом к форсированному развитию и в органическом единстве

---

[1] Моя земная деревушка. Беседа с писателем В. П. Астафьевым.— Комсомольская правда, 1988, 12 мая.

с его нарастанием в нашем обществе развернулся процесс превращения политического режима демократического централизма, преобладавшего в 20-е годы, в политический режим недемократического, авторитарного централизма.

История почти всегда ставит меты на своих поворотных точках, хотя их пламенеющие знаки зачастую проходят мимо глаз современников. Люди 1930 г. видели в состоявшемся в то лето XVI съезде партии — первом после поворота к форсированному развитию — «съезд *развернутого наступления* социализма *по всему фронту*», съезд «усиленного строительства социализма и в области промышленности, и в области сельского хозяйства», съезд «ликвидации кулачества, как класса, и проведения в жизнь сплошной коллективизации» [1]. И действительно, XVI съезд партии знаменовал все эти переломные для нашей страны сдвиги. Но одновременно в жизни страны и партии «переломилось» и кое-что еще. XVI съезд стал первым за годы Советской власти партийным съездом, на котором не только не было «оформленной оппозиции, но не нашлось даже маленькой группы или даже отдельных товарищей, которые считали бы правомерным выйти... на трибуну и заявить о неправильности линии партии» [2].

И. В. Сталин связывал подобную ситуацию с неоспоримой правильностью утвержденного съездом курса (т. е. курса, который выдвинул сам Сталин и который он отстаивал во внутрипартийной борьбе предшествующих лет). Думается, однако, что правильность важнейших предложений, выдвигавшихся В. И. Лениным в то время, когда он руководил партией, была ничуть не менее «неоспоримой». И все же на съездах ленинского периода развертывались острые политические дискуссии, ключевые решения, прежде чем они принимались партией, подвергались глубокой критике и всестороннему обсуждению. Дискуссии ленинского периода не были признаком слабости, меньшей «правильности» предложений В. И. Ленина, выносившихся на съезд. Они выражали определенный строй внутрипартийной жизни и определенную атмосферу политической жизни общества в целом, в них выступала практика живого, «работающего» демократического централизма.

---

[1] *Сталин И. В.* Соч., т. 12, с. 342.
[2] Там же, т. 13, с. 1.

И наоборот, отсутствие гласной политической критики, открытой борьбы мнений на XVI съезде партии вовсе не означало какой-то особой правильности и убедительности сталинской стратегии. Как отмечалось выше, на XVI съезде были безо всякой критики приняты предложения Сталина удвоить и утроить многие и без того напряженные задания пятилетнего плана. Жизнь вскоре же показала абсолютную нереалистичность (если не прямо авантюрный характер) этих предложений. Ни одно из них не было выполнено. Так что критика руководства и дискуссия с ним были бы вполне уместны на этом съезде.

Впервые проявившийся на XVI съезде партии отказ от критики — или, точнее, переход от свободной, равноправной критики, направленной как сверху вниз, так и снизу вверх,— к критике, идущей только вниз, фактическое появление лиц (прежде всего самого Сталина), поставленных вне критики,— все это выражало смену политического режима в партии и в стране. На всех высших партийных форумах в течение последующей четверти века (и даже позже) подобный стиль сохранялся и усиливался. На съездах сталинского периода — и чем дальше, тем явственнее,— свободная критическая атмосфера уступала место парадности, отчетному рапортованию и покорно-восторженному принятию истин, вещаемых вождем. Да и сами съезды стали собираться раз от разу реже.

VI—XIV съезды партии, прошедшие в 1917—1925 гг., созывались ежегодно (в том числе и в годы гражданской войны);

XV съезд состоялся в 1927 г., через два года после предыдущего;

XVI — в 1930 г., спустя 3 года;

XVII — в 1934 г., через 4 года;

XVIII — в 1939 г., через 5 лет;

и, наконец, XIX — в 1952 г., через 13 лет, включая в этот промежуток 7 мирных послевоенных лет.

Понятно, что изменение регулярности и характера работы съездов есть концентрированное отражение перестройки всех органов политической власти, всех партийных и государственных учреждений, признак и доказательство перемены всего стиля и всех методов политического руководства.

В 30-е годы, отмечает Л. А. Оников, специально изучавший этот вопрос, сталинской верхушке партийного

аппарата удалось «скрыто, негласно заменить ленинские нормы и принципы организационно-партийной работы строго секретными, скрытыми от партийной массы нормативами. Внешне преемственность вроде бы была сохранена: терминологически, словарно все нормы, даже многие уставные положения при культе личности звучали и выглядели, как при Ленине, а содержание было порой прямо противоположным» [1].

Иными словами, в ходе форсированной индустриализации и сплошной коллективизации, вместе с ними и отчасти на их базе завершился переход от политического режима, в котором генеральная линия партии вырабатывалась в ходе сопоставления и борьбы мнений и где проведение такой линии постоянно подвергалось критике, к режиму, в котором политическое руководство осуществлялось на основе военной или полувоенной дисциплины, безоговорочного подчинения нижестоящих органов и работников вышестоящим. Такой режим позволял достичь почти абсолютного единства действий и монолитного единомыслия, во всяком случае в его внешних выражениях. Но он неизбежно менял соотношение основных элементов демократического централизма в партии и во всей системе Советской власти. Централизм в громадной мере усиливался, демократические начала политической жизни (и раньше не слишком развитые в главных звеньях управления) слабели и практически сходили на нет. В политической жизни происходило не декларируемое, но действенное, реальное возрождение теории и практики «военного коммунизма».

2. Превращение авторитарности в деспотическое самовластие. Неизбежность? Случайность? Вероятность?

Все это было бы не так страшно, если бы эволюция политического режима в 30—40-е годы исчерпывалась простым усилением в нем централистско-командных элементов и даже общим перерастанием системы демократического централизма в систему централизма административно-авторитарного. В конце концов административно-авторитарный централизм может быть четко организованной и успешно функционирующей системой

[1] Гласность и демократия.— Правда, 1988, 19 июня.

политического управления в чрезвычайных условиях. Более того, для чрезвычайных обстоятельств именно политический режим, построенный на основах недемократического, административно-авторитарного централизма, зачастую подходит больше, чем последовательная демократия[1]. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать эффективность политического режима «военного коммунизма» в годы гражданской войны. Точно так же и обстановка первых пятилеток, не говоря уже о военных годах, несла в себе определенные возможности рационального, целесообразного использования административных, а то и прямо армейских методов управления.

Но в том-то и дело, что упорядоченный административно-авторитарный централизм в условиях форсированного социалистического развития лишь в некоторых случаях и только на протяжении сравнительно недолгих периодов действует, если так можно выразиться, в чистом виде, как ясная, отлаженная, подчиненная определенным законам и правилам система. В сочетании с административно управляемой экономикой правовой, рационально регулируемый недемократический централизм в политике не имеет устойчивости, он, так сказать, нестационарен. В не очень продолжительном времени такой режим либо развивается в сторону демократии, либо (что, к несчастью, бывает чаще) перерождается в тиранический или деспотический режим, при котором административно-авторитарное управление как таковое усугубляется непомерной властью отдельных лиц и учреждений, слабостью правовых регуляторов, возникающей отсюда стихией произвола и личных пристрастий руководителей.

По сути дела, авторитарно-административная система политического управления в этом последнем случае превращается в систему авторитарно-деспотическую. Характеризуя зарождение еще только самых первых тенденций к становлению подобной системы, В. И. Ленин писал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»[2]. Дальнейший ход событий показал, что Ленин отметил здесь один из са-

---

[1] О соотношении обычного и чрезвычайного управления подробнее см.: *Курошвили Б. П.* Очерк теории государственного управления. М., 1987.

[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 345.

мых существенных признаков авторитарно-деспотической политической системы и потому вся эта система может называться режимом необъятной личной власти.

Тенденция к произволу и деспотизму заключена во всяком авторитарном политическом режиме. В этом режиме вследствие его командно-иерархического построения всегда крайне ослаблены политические механизмы, которые могут сдерживать произвольные действия руководителей. Такое ослабление растет от одного уровня управления к другому. Чем выше политический уровень органа авторитарной системы, тем меньше ограничиваются носители власти, шире их права, сильнее зависимость подчиненных. Соблазн произвольно-деспотических действий возникает в таких условиях с почти автоматической неизбежностью. Недаром говорится, что если всякая власть в той или иной мере развращает, то абсолютная власть развращает абсолютно.

Конечно, не каждый политический деятель поддается соблазну и не всегда потенциальная возможность тирании, таящаяся в авторитарном политическом управлении, превращается в действительность. Однако в обстановке форсированного развития (в отличие от других форм социалистического строительства) деспотическое вырождение авторитарного режима, если уж он возникает, становится едва ли не правилом и происходит оно чрезвычайно быстро. Иной раз никакого разрыва во времени просто нет. Авторитарный режим в этой обстановке с самого начала выступает в деспотической, самовластной форме.

Дело тут в следующем. В тех обществах, в том числе и социалистических, где народное хозяйство управляется экономическими методами, где основная ячейка экономики — предприятие — сохраняет значительную самостоятельность, сама эта самостоятельность оказывается мощным фактором предотвращения политического произвола. Произвольные действия здесь, когда они противоречат здравому экономическому смыслу, просто не исполняются; их неэффективность становится очевидной немедленно. К тому же хозяйственно-экономическая самостоятельность предприятий укрепляет социально-политическую независимость связанных с ними общественных сил, повышает их способность противостоять необъятной личной власти.

Иное положение складывается, если социалистическая индустриализация и социалистические преобразова-

ния вообще приобретают форсированный характер. Возникающее в этих случаях преобладание административных форм хозяйствования и ограничение товарно-рыночных связей ведет к тому, что в такой экономике нет самостоятельных предприятий, что все они находятся в абсолютной зависимости от высших органов хозяйственно-политического аппарата. Народное хозяйство в целом и каждая его клеточка в отдельности подчиняются государству полностью, фактически сращиваются с ним. Экономика перестает автоматически «отторгать» произвольное политическое вмешательство, и политическая власть ощущает себя гораздо более могущественной, чем в ситуации, когда основные производственные единицы не подчинены ей непосредственно и полностью.

Правда, рано или поздно неэффективность политического произвола в экономике выходит на поверхность и в административно управляемом хозяйстве. Директивы, требующие, скажем, удвоить производство металла в стране за два года, на чем настаивал И. В. Сталин в начале 30-х годов, или вырастить кукурузу на севере Нечерноземья, как того хотел Н. С. Хрущев в начале 60-х годов, остаются нереализованными. В конечном счете объективные пределы политических воздействий становятся вполне очевидными если не самим политикам, то хотя бы историку. Но это происходит именно в конечном счете. Непосредственно же, в момент принятия политического решения, административно-управляемая экономика не может противостоять такому решению, сколь бы субъективным или произвольным оно ни было.

Короче, форсированное развитие и огосударствление народного хозяйства ведут к тому, что противодействие деспотическим импульсам, рождаемым всякой авторитарной системой, слабеет не только в политической сфере, но и в экономике.

Здесь обнаруживается одно из самых глубоких противоречий форсирования социалистического развития. В рамках подобного развития возникает потребность в чрезвычайных, авторитарных формах политического управления. Авторитарный политический режим становится (вернее, способен стать при определенных условиях) мощным ускорителем экономического и культурного роста. И вместе с тем особенности форсированной, административной системы социалистического

хозяйствования — те самые особенности, которые иной раз превращают авторитарную политику в силу прогресса,— создают обстановку, благоприятствующую развертыванию самых реакционных начал авторитарности, облегчают подчинение всей общественной жизни необъятной и произвольной личной власти. Авторитарное руководство в социалистических обществах с административно управляемой экономикой может дать чрезвычайный хозяйственный эффект, и одновременно оно же создает в таких обществах чрезвычайный риск, чрезвычайную угрозу тиранического перерождения политического режима.

К нашей общей беде, угроза эта в советском обществе оказалась вполне реальной. Политическая система, заменившая на рубеже 30-х годов демократический централизм предшествующего десятилетия, сразу же стала складываться как система именно авторитарно-деспотическая. Год от году черты тирании и произвола в ней усиливались, так что к концу 30-х и в 40-е годы самовластие вождя и культ его личности приняли совершенно уродливые, порой прямо-таки безумные формы. Со временем историки и художники (а роль искусства тут не меньше, чем роль науки) вскроют механизм самовластия во всех деталях. Но тот факт, что после перехода к форсированному социалистическому строительству в стране восторжествовал авторитарно-деспотический режим, решительно отличный от демократического централизма и даже от «правильного» авторитарного режима,— этот факт ясен и без анализа деталей.

Достаточно открыть любую газетную страницу того времени, вспомнить массовые идеи тех лет, чтобы убедиться в неограниченности сталинской власти, в невозможности оспорить, подвергнуть малейшему сомнению его решения. В общественной идеологии и в массовом сознании И. В. Сталин выступал не в виде политического деятеля, пусть и наделенного большой властью. Он воспринимался как харизматический вождь, полубог, обладающий сверхчеловеческими свойствами и сверхчеловеческой мудростью. Для десятков миллионов людей человек, возглавивший партию и государство, был символом Родины, Советской власти, социализма. Это ощущение пронизывало духовную атмосферу общества, и военный призыв «За Родину! За Сталина!» становился естественным выражением общепатриоти-

ческого чувства народа. Такое почти инстинктивное восклицание нередко сопровождало последний смертный шаг даже тех (по правде сказать, немногих) людей, кому, вообще говоря, было чуждо обожествление вождя.

Подобное состояние общественной идеологии и обыденного сознания отражает не только характер пропаганды. Оно есть следствие и надежнейший показатель реального политического устройства общества, позиций его высшего центра, фактического положения и фактической власти в нем верховного руководителя. Идеологическая противоположность сталинского культа личности и ленинских норм демократического централизма свидетельствует одновременно и о различиях действительности, о качественных отличиях политической реальности 20-х и 30—40-х годов.

Быть может, еще выразительнее в этом отношении некоторые перемены в бытовом языке. С 30-х годов в словоупотреблении людей, причастных к высшим органам власти, появилось выражение «хозяин», употребляемое по отношению к И. В. Сталину. Невозможно и вообразить, чтобы кто-нибудь называл так В. И. Ленина. У Сталина была другая власть, он играл другую роль в политической системе; сама система приобрела другой характер, и живое движение языка выразило этот другой характер общества с неподкупной и нелицемерной ясностью естественного процесса.

Знаменательно, что с годами словечко спустилось вниз. Непосредственные подчиненные на всех уровнях начали говорить «хозяин», обозначая своего руководителя — министра, директора, председателя колхоза. Для рабочих, колхозников, служащих Сталин остался вождем, но для верхов аппарата он стал «хозяином». В свою очередь каждый из высших руководителей стал «хозяином» для руководителей среднего ранга, а этих последних стали называть «хозяевами» рядовые работники. Массовое сознание стихийно, бессознательно выразило здесь реальность авторитарно-деспотического режима: восторженно-приукрашивающее обожествление далекой верховной власти и принудительно-отчужденное подчинение власти близкой, непосредственной.

Еще раз повторим, что в истории нет абсолютной предопределенности. Политический режим авторитарно-деспотического типа, установившийся после перехода к форсированной индустриализации и форсированному

социалистическому строительству, не вытекает с полной неизбежностью ни из того варианта раннего социализма, ни из того типа индустриализации, которые осуществлялись в нашей стране. Однако определенные, если так можно выразиться, вероятностные зависимости здесь имеются.

В принципе социализм мог созидаться у нас как на путях форсированной индустриализации и коллективизации, так и в рамках сохранения нэпа и плавного кооперирования деревни. Но конкретно-исторические условия, отсталость страны и военная угроза делали выбор форсированной стратегии много более вероятным, чем принятие линии плавного развития. Абстрактно говоря, форсированную индустриализацию можно вести и с помощью демократического централизма, и на базе авторитарного, недемократического централизма. Однако в обстановке административных методов хозяйствования, стагнации жизненного уровня, «подхлестывания» коллективизации переход к авторитарному управлению, раз уж возобладала стратегия форсированного развития, оказывался гораздо более вероятным, чем сохранение демократического централизма в классическом виде. Наконец, само авторитарное управление теоретически может принимать регламентированную упорядоченную форму и форму самовластно-тираническую. Но в советском обществе 30-х годов с его культурой и традициями, с реальными политическими деятелями того времени, с фигурой Сталина во главе партии предотвращение деспотических форм авторитарности после перехода к авторитарному режиму вообще было почти невероятным.

В таком вероятностном понимании переход к форсированному варианту социалистического строительства, к форсированной индустриализации и сплошной коллективизации действительно связан с утверждением режима необъятной власти, долгую четверть века омрачавшего жизнь советских людей (в том числе и тех, кому его свинцовый гнет казался благом). Переход этот не создал авторитарно-деспотическую власть непосредственно. Но он создал обстановку, в которой И. В. Сталину и его окружению было легче одолеть противников необъятной власти и привлечь на свою сторону сочувствие политически неискушенного большинства активных приверженцев социализма.

3. Риск чрезмерных ошибок и злоупотреблений

Понимая относительную автономность политического развития и соглашаясь с тем, что политическая практика 30—40-х годов не вытекала из индустриализации и коллективизации с абсолютной неизбежностью, мы должны все-таки признать, что в реальной истории СССР эти процессы сплелись настолько тесно, что их нельзя полностью отделить друг от друга. Социально-экономические преобразования 30—40-х годов осуществлялись в рамках авторитарно-деспотических порядков. При этих порядках Советский Союз сокрушил гитлеровскую Германию. Народ творил историю, но, к несчастью, творил ее через посредство тех политических форм и с теми политическими руководителями, которые фактически действовали тогда в нашей стране. (А не с теми, которые, вообще говоря, могли бы действовать, повернись события иначе.)

Подобное положение означает, что политическому порядку и политическому руководству, управлявшему советским обществом в 30—40-е годы, принадлежит своя доля заслуг в достижениях эпохи. Этому выводу противится нравственное чувство, отягощенное сегодняшним нашим знанием о некомпетентности, ошибках, прямых преступлениях многих деятелей того времени. Но в честном устремлении понять прошлое этого вывода не избежать.

В обществе «грубого коммунизма», и в особенности в раннесоциалистическом обществе такого типа, что сложилось в нашей стране, политическая система партийно-государственного управления проникает во все поры социальной жизни, опосредует все формы трудовой, политической, культурной активности. Наверное, и у нас бывали события и процессы, где успеха удавалось добиться как бы независимо от политической системы, без ее помощи и поддержки. Однако в целом общество было построено так, что всякое серьезное действие, всякий большой сдвиг проходили через институты политической системы, осуществлялись с их ведома и по их указаниям. Быть может, иной, не тиранический режим привел бы страну к бо́льшим успехам сравнительно с теми, что были достигнуты в 30—40-е годы. Еще вероятнее, что без сталинского самовластия не было бы многих поражений и бесчисленных ненужных жертв, которыми сопровождалось наше разви-

тие. Но главное из того, что было достигнуто в 30—40-е годы, достигалось скорее в органическом единстве с политическим режимом, чем вопреки ему.

Наши достижения в то время были скромнее обещанных И. В. Сталиным. Преувеличивают их и упрощенные клише расхожей пропаганды, однажды вошедшие в политические документы и с тех пор некритически воспроизводимые в исторических, экономических, социологических публикациях. Тем не менее сами по себе это были серьезные достижения. Их не умалят ни бессмысленные попытки отрицать всякое прогрессивное значение революционных катаклизмов, ни лицемерная или просто глупая привычка изображать общественные катаклизмы в виде гладкого и победоносного движения, всегда «мудро» направляемого партией и всегда идущего «непрерывно» и «неуклонно» от триумфа к триумфу. Так или иначе, в годы, когда господствовала система необъятной власти, был сделан решающий шаг на пути превращения доиндустриальной экономики в индустриальную. Был совершен рывок к современной цивилизации. Была победа над фашизмом. Наивно и нечестно думать, что события такого масштаба и такой судьбоносной значимости не зависели от политической системы, действовавшей в то время. При всех своих тиранических пороках эта система составляла одно из реальных, фактически существовавших условий свершений 30—40-х годов. «Тут ни убавить, ни прибавить,— так это было на земле...»[1]

Однако столь же бессмысленно, бесчестно и — хуже того — безответственно ставить здесь точку. Взаимосвязь форсированного развития и авторитарно-деспотической системы имеет оборотную сторону. Вырастая из обстановки форсированной индустриализации и сплошной коллективизации, такая система естественно оказывалась ориентированной на эти процессы, приспособленной к ним. Хотя, повторим, никто не доказал, что форсированное развитие невозможно без самовластной диктатуры, утверждение необъятной власти на базе форсированного развития возможно лишь при условии, что подобная власть отвечает основным потребностям хозяйственного роста, в той или иной мере способствует ему. Именно такую роль играла политическая система, сложившаяся у нас в 30—40-е годы, и

---

[1] *Твардовский А. Т.* Стихотворения и поэмы. Л., 1986, с. 728.

именно поэтому успех народа в индустриализации и в войне есть также и ее успех.

Но всякий политический режим, осуществляющий социально-экономические преобразования, будучи в известном смысле порождением этих преобразований, одновременно оказывает на них, как и на всю общественную жизнь, мощное обратное воздействие. Вот это-то воздействие сталинского самовластия резко меняло к худшему весь ход развития нашей страны. Оно, правда, не останавливало, не «стопорило» индустриализационные процессы полностью. Можно даже согласиться с И. В. Сталиным, что необъятная власть всячески «подхлестывала» индустриализацию, стремясь повысить ее темп. Однако авторитарно-командный способ правления неизбежно искажал характер и социальное содержание индустриального развития. Ускоряя рост промышленности, образованности, военной силы социализма, политический режим в 30—40-е годы своим антидемократическим характером, авторитарно-самовластными методами, самим тираническим способом своего функционирования подталкивал страну к движению едва ли не по худшему из всех возможных путей подобного роста.

На этом пути форсированное развитие, всегда очень нелегкое, приобретало формы, сопряженные с совершенно непомерными тяготами и жертвами, притом жертвами, не вытекавшими непосредственно из нужд форсирования экономики, из потребностей накопления и сбережения ресурсов (как это было, например, с отмеченным выше снижением жизненного уровня, которое явилось понятным следствием «урезывания» фонда потребления для нужд промышленного строительства). Более того, индустриальный и образовательный прогресс в условиях необъятной власти нередко оборачивался политической, социальной и идеологической реакцией. Продвигаясь вперед в одних направлениях, советское общество заметно отступало в других. Если иметь в виду не только промышленность, образование, социальное обслуживание, а весь уклад общественной жизни, придется признать, что тенденция к застою и даже к попятному движению, к отходу от того, что было достигнуто после революции, обнаружилась задолго до 70-х годов. Начало этой тенденции совпадает с переходом от демократического централизма к деспотическому варианту авторитарной власти в 30-е годы.

В сущности, корни застоя оказываются заложенными в тех самых политических формах, с помощью которых наше общество пыталось достичь — и в некоторых отношениях реально достигло — ускорения своего развития.

В общих чертах нетрудно понять, почему форсированное развитие экономики социализма, направляемое самовластным политическим режимом, сразу же и независимо от намерений этого режима стало обращаться в смесь прогресса, преодоления отсталости, взлета народной энергии и народного энтузиазма с явлениями упадка, застоя, массового террора, разрушения нормальных основ социальной жизни. Форсированное социалистическое строительство и форсированная индустриализация означали небывалую попытку создать, и притом создать в лихорадочно стремительном темпе, общество с совершенно новым экономическим и социальным устройством. Общество, где преобладает индустриальное производство и где одновременно резко ограничено действие прежних, освоенных человечеством регуляторов такого производства — рынка и товарно-денежных отношений. Где взамен этого хозяйственная жизнь регулируется централизованным государственным планированием, повседневно направляется государственными органами и полностью контролируется ими. Где общественный труд подчинен единой, поддерживаемой государством дисциплине и где, в свою очередь, государство гарантирует гражданам определенную социальную защищенность — отсутствие безработицы, возможность и обязанность трудиться, получая более или менее равный минимум обязательных социально-культурных благ и приобретая другие блага в соответствии с результатами труда, заслугами перед обществом, общественным положением человека. Где государство, таким образом, выполняет невиданные в прошлом (по крайней мере, в новое время) функции и где оно поэтому приобретает принципиально новое устройство.

Построение подобного общества в нашей стране как раз вследствие его принципиальной новизны выливалось в цепь многообразных попыток осуществления различных подходов, проб. Достижения, успехи, счастливые находки неизбежно и естественно перемежались здесь с ошибками и неудачами. При этом, как почти всегда бывает в обществах, недавно переживших

великие революции, неизведанность предстоящего пути отнюдь не вызывала в массовом сознании стремления к осторожности и благоразумной постепенности. Наоборот, еще не остывшее дыхание революционной эпохи рождало и у руководителей, и у активной части масс ощущение оправданности, чуть ли не закономерности всеобщей ломки и всеобщих жертв в процессе создания нового, сказочного и счастливого мира. Сегодня мы воспринимаем попытки уподобить издержки развития пресловутым щепкам, летящим при рубке леса, как циничное стремление необъятной власти избежать ответственности за собственную жестокость или недомыслие. Похоже, что люди 30-х годов, особенно пока они не сталкивались с топором непосредственно, вполне искренне соглашались с возможностью объяснять этой поговоркой жизнь и смерть миллионов людей.

Подобное настроение способствовало невиданному подъему, буквально взрыву массового энтузиазма во многих слоях народа, укреплению героико-романтического отношения к жизни и к долгу человека в ней. Но оно же повышало опасность ошибок, перегибов, перехлестов в процессе социального творчества. Эту опасность дополнительно увеличивало много раз упоминавшееся нами административное строение социалистической экономики в рамках форсированного развития.

Повторение здесь не случайно, ибо, в конце концов, важнейшие явления и процессы жизни советского общества в 30—40-е годы на самом деле вытекали из резкого сокращения роли товарно-стоимостных отношений, из монопольного положения государства в экономике и фактического подчинения всех элементов народного хозяйства государственно-политическому управлению. В данной связи важно отметить, что отсутствие самостоятельности предприятий, помимо других последствий, о которых шла речь раньше, «выключало» один из самых сильных механизмов, ограничивающих масштабы и последствия ошибок политического руководства.

Там, где предприятия и другие объекты экономики самостоятельны, возможные последствия экономических ошибок центрального руководства сдерживаются тем обстоятельством, что независимо хозяйствующие предприятия просто не исполняют многие явно ошибочные решения, так сказать, инстинктивно отторгают их.

Конечно, в ходе социалистического строительства, осуществляемого при сохранении самостоятельности предприятий, приходится преодолевать все трудности планирования с учетом закономерностей рынка, все опасности стихийного сложения множества мелких ошибок отдельных предприятий. Кроме того, и это главное, здесь затрудненной становится неограниченная концентрация усилий на участках, которые политическое руководство считает приоритетными. Поэтому в истории мирового социализма бывали и, вероятно, еще будут обстоятельства, в которых внеэкономические форсированные формы хозяйствования на определенное время оказываются предпочтительнее собственно экономических. Напомним, что и в СССР объективное содержание внутрипартийной борьбы конца 20-х годов, независимо от субъективных представлений ее участников, в большой мере определялось поиском ответа на вопрос, находится ли страна в такой чрезвычайной ситуации, которая оправдывает переход к внеэкономическим методам форсированного развития, несмотря на связанные с ними невыгоды.

Не станем еще раз возвращаться к попыткам оценить сделанный тогда выбор. Мы уже говорили, что, если честную трезвость ставить впереди непосредственного чувства — пусть даже очень благородного,— приходится признать, что сегодня нет возможности дать такую оценку однозначно и определенно. Но есть вещи, о которых в связи с этим выбором можно говорить совершенно уверенно. Переход к форсированному варианту социалистического строительства, вне всяких сомнений, ослабляет способность экономики предотвращать реализацию ошибочных или вообще чрезмерно торопливых, скоропалительных действий политического центра. Общество с административно управляемой экономикой — это всегда общество, в котором сняты социально-экономические «предохранители» в отношении произвола и неоправданной торопливости.

В социалистическом обществе главным средством снизить риск чрезмерных ошибок (повторим, что он неизбежен на путях созидания нового строя) выступает демократия, возможность широкой критики и самокритики любого предложения, любого решения, любого деятеля, постоянный критический анализ того, что намечается и делается. Чем меньше на том или ином этапе социалистического строительства элементов

разнообразия и независимости в экономике, тем нужнее сохранять элементы разнообразия, социалистического плюрализма в политике. Опыт «военного коммунизма» свидетельствует об этом прямым образом. Ленинское руководство в то время обеспечило сохранение в партии многообразия взглядов, возможность их открытого высказывания, сопоставления, обсуждения. И такая обстановка в партии — одна из причин того, что в период «военного коммунизма» удалось избежать непоправимых ошибок и чрезмерной субъективности.

Опыт 30—40-х годов подтверждает тот же вывод, так сказать, «от противного». Замена демократического централизма авторитарной политической системой и притом авторитарной системой худшего, самовластно-деспотического типа, происшедшая вместе с переходом к форсированному развитию, уничтожила политические факторы, которые могли предотвращать неверную политику руководства. Ни экономические, ни политические порядки, утвердившиеся в 30—40-е годы, не благоприятствовали сдерживанию ошибок или злонамеренных действий тех, кто стоял тогда у власти.

В итоге то самое сосредоточение необъятной власти в политическом центре, которое облегчало концентрацию народных усилий на ключевых участках, одновременно резко увеличивало риск народной трагедии. К тому же, говоря ленинскими словами, тут «сыграли роковую роль» [1] и личностные свойства И. В. Сталина, его склонность к озлоблению, торопливость, грубость, нелояльность, капризность, увлечение администрированием [2]. Когда руководителем политического центра, обладающего необъятной властью, не ограниченной ни экономическими, ни политическими факторами, оказывается деятель с подобными свойствами, вероятность ошибок и авантюр превращается в их неизбежность.

Ибо всякий политический деятель время от времени приходит к ошибочным выводам, неверно оценивает ситуацию, причем с деятелем, склонным к торопливости и администрированию, это случается чаще, чем с кем-либо иным. Если ни экономические, ни политические институты не имеют возможности всенародно и гласно оспорить неверные выводы и оценки, опасность принятия неверных решений становится очень

---

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 357.

[2] См. там же, с. 356—357.

большой. Если же всевластный политический деятель отличается еще и грубостью, нелояльностью, капризностью, если он даже к лояльной критике в узком кругу относится с подозрением и немедленно карает критикующего, избежать неправильных решений, в том числе ведущих к необратимым последствиям, оказывается делом абсолютно невозможным. И никакая сила характера, никакая проницательность, никакие самые сильные деловые качества и самые удивительные способности привлекать человеческие сердца не меняют этого положения. Человек такого типа, как И. В. Сталин, обладавший такой необъятной властью и действовавший в рамках такой общественно-политической и административно-хозяйственной системы, как та, что была у нас в 30—40-е годы, был способен достигать многих, поистине исторических успехов и еще чаще отождествляться с успехами в сознании народа. Но вместе с тем его деятельность в этих условиях не могла не стать источником ужасающих и гибельных заблуждений, просчетов, злоупотреблений.

Впрочем, преувеличение роли индивидуальных свойств Сталина столь же ошибочно, как и их игнорирование. Для выводов на будущее такое преувеличение даже опаснее: оно способствует тому, что стремление предотвратить режим личной власти выливается не столько в радикальную реформу политической системы, сколько в иллюзорные попытки гарантировать выдвижение «хороших» руководителей в рамках прежней системы. Решающее значение в создании гарантий против самовластия имеет общее строение политического режима. Дурные качества И. В. Сталина, его возможная психопатия[1] оказали столь огромное влияние на судьбы страны и мира лишь потому, что он действовал в определенных общественно-политических условиях, при отсутствии демократических механизмов и демократической политической культуры.

---

[1] Подозрения такого рода питают рассказы о том, что академик В. М. Бехтерев еще в конце 20-х годов нашел у Сталина паранойю. В этой связи внучка Бехтерева, академик Н. П. Бехтерева, крупный специалист в области высшей нервной деятельности, замечает: «Сталин, безусловно, преступник. И относиться к нему надо как к преступнику. Паранойя, возможно, и была, я здесь не могу ни оспаривать диагноз своего деда, ни защищать, но паранойя как синдром никак не отменяет ответственности за поступки». (См.: Правда, 1989, 8 января).

Напомним, что в XX в. тиранические лидеры, во многом сходные по типу личности со Сталиным (и зачастую провозглашавшие его своим кумиром), оказались у власти в целом ряде обществ. Наивно думать, что практически одновременно власть вдруг захватили люди одинакового типа просто вследствие своих личностных свойств. Дело здесь все-таки в объективной исторической обстановке. Тем более что деспотические вожди добивались успеха не везде, но по преимуществу там, где у народов мал опыт демократии, а привычка к авторитарному управлению, наоборот, очень велика и где при этом возникала острая нужда в форсированном развитии или преодолении иных чрезвычайных трудностей [1].

Возникновение самовластия в нашей стране — результат не только того, что не был исполнен ленинский завет убрать И. В. Сталина с поста генерального секретаря. Еще существеннее, что не удалось довести до конца начатую В. И. Лениным «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм» [2], что не была осуществлена последовательная демократизация общества. В конечном счете по этим причинам Сталин стал тем, кем он стал, и его личностные особенности, его пороки начали влиять на весь ход нашего общественного развития.

---

[1] Особенности распространения режимов сталинистского типа показывают бесплодность односторонних позиций в спорах о значении внешних и внутренних предпосылок становления сталинизма. Элементы революционного экстремизма, стремление немедленно и насильственно, не считаясь с волей большинства, изменить человеческие отношения, недооценка роли традиций — все это, как мы уже отмечали, действительно присутствовало в социалистических движениях XIX—XX вв. и способствовало формированию сталинизма. Но подобные идеи оказались действенными не всюду, а только там, где имелась соответствующая экономическая, социальная, политическая, культурная почва. Сталинизм вырастал не из одних только национальных или одних только интернациональных факторов. Он результат именно сочетания, совместного действия внутренних и внешних обстоятельств.

[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 376.



IV

ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСПОДСТВА АВТОРИТАРНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 30-40-е ГОДЫ

1. Гибель миллионов: голод в неголодные годы

В ряду бедствий, порожденных в нашей стране господством политического самовластия, первое место, безусловно, занимает утверждение произвола и насилия в качестве обычного способа управления, решения не только чрезвычайных, но и текущих задач политического и социально-экономического развития. Невозможность публично возражать И. В. Сталину и вообще любому представителю центра, пока он поддерживался верховным руководством, приводила к тому, что всеобщее признание получали даже такие идеи, явная неверность которых тотчас стала бы понятной большинству сознательных сторонников социализма, сохранись в обществе и партии обстановка нормальной идейно-политической борьбы. Но раз подобной обстановки не было, самые вздорные несуразицы (не говоря уже о менее очевидных ошибках), многократно повторенные с высоких трибун и никем не оспоренные, начинали казаться истиной миллионам и десяткам миллионов людей.

Теперь, когда наша идейная жизнь постепенно принимает естественные для нее формы социалистического плюрализма, пронизанного критикой и дискуссией, когда души отпускает морок, охвативший в 30—40-е годы общественное сознание, трудно представить, как можно было верить противоречащим всякой логике нелепостям об обострении классовой борьбы по мере укрепления социализма, о соответствии массового раскулачивания и массовых высылок ленинскому плану добровольного кооперирования, о вредительстве, предательстве, шпионаже чуть ли не всего партийного, хозяйственного, военного руководства. Но ведь верили.

При этом не имеет слишком большого значения, чем порождались подобные утверждения: искренним

теоретическим просчетом сильного, но негибкого ума, комплексами больной психики, интригами окружения или лицемерным и циничным замыслом властолюбца, стремящегося любой ценой упрочить подчинение своей воле. Важнее, что в условиях необъятной личной власти, в отсутствии гласной политической критики самые чудовищные идеи с доверием принимались массовым сознанием партии и народа, что они немедленно и по большей части с рвением и усердием претворялись в практику.

Насилие, беззаконие, репрессии становились постоянными чертами политического руководства. В социалистическое строительство мирного, невоенного времени искусственно вносилась атмосфера необъявленной гражданской войны. В этой атмосфере насильственное, по сути, военное подавление и террор заменили множество более плодотворных форм борьбы и сотрудничества с классовыми антагонистами — кулаками, остатками нэпманов и тому подобными группами, еще существовавшими в первые годы после начала форсированного развития. Хуже того, под прикрытием идеи обострения классовой борьбы репрессии направлялись и против мнимого, несуществующего (и потому вездесущего) классового противника — вредителей, изменников, врагов народа, обращаясь, таким образом, в неотъемлемую часть управления обществом в целом, в том числе его трудящимся, социалистическим большинством.

Народная жизнь (и жизнь каждого человека в отдельности) как бы раздваивалась. Одну, светлую, ее сторону составляли мирный быт и мирный труд, обычные человеческие радости и горести, переплетенные с героизмом и естественными, понятными трудностями социалистического первопроходства и стремительного наверстывания отсталости. Другую, темную и страшную, наполняли беззакония, ненависть, насилие необъявленной гражданской войны, тем более жестокие, что война эта не была действительно необходимой, что в ней не было настоящего врага и никто толком не понимал, почему ее тяжкие удары обрушиваются на того или иного человека.

Сталинское самовластие резко повышало уровень насилия, регулярно используемого в управлении, и придавало ему характер перманентного, неограниченного и зачастую непредсказуемого произвола. Возникала

ситуация, в которой политические действия центральной власти то и дело оказывались источником невосполнимых человеческих потерь, сопоставимых разве что с теми, какие страна несет во времена войн и национальных катастроф. Не менее двадцати миллионов советских людей отдали жизнь за Родину в военное лихолетье. Но другие миллионы советских граждан погибли в мирные годы того периода, когда у руководства страной находился И. В. Сталин. Еще у миллионов судьбы были исковерканы тюрьмой, лагерями, высылками, несправедливым осуждением.

В отличие от военных эти жертвы не были необходимыми и оправданными ни в общеисторическом смысле, ни с точки зрения экономического развития. Для форсированной индустриализации и форсированной коллективизации (если считать, что без них нельзя было обойтись) нужно было сократить потребление и, может быть, ограничить политическое многообразие. Но их осуществление отнюдь не обязательно должно было сопровождаться смертельным голодом и массовыми репрессиями, затронувшими миллионы людей. Многомиллионные жертвы явились здесь прямым следствием неограниченного произвола, необъятной личной власти. Условия форсированного развития и военной угрозы косвенно способствовали утверждению тиранического режима. Но сами по себе ни нужды хозяйственного роста, ни подготовка к войне не требовали от народа жертв такого масштаба и такого характера, как те, что фактически были принесены в 30—40-е годы.

В войну и в революцию наши соотечественники гибли не зря, их жертвы, как правило, не были напрасными. Миллионам людей, погибших в предвоенные и послевоенные десятилетия, прошедших через муки незаконных репрессий, выпал, к несчастью, иной жребий. Независимо от того, как относились к своему положению жертвы и как понимали свои действия палачи, объективно и те и другие служили только дальнейшему укреплению режима необъятной личной власти.

Было бы легче думать иначе. Увы, история редко служит утешительницей слабых душ. Ее оптимизм выступает лишь в долговременной тенденции. Что же касается конкретных событий и явлений, из которых складывается общественное развитие, они бывают оправданными и осмысленными не чаще, чем ошибочными и губительными по своим последствиям. В общеисто-

рической перспективе единственно, что может придать смысл невосполнимым человеческим потерям 30—40-х годов,— это как раз осознание их бессмысленности, ненужности. Тогда они становятся историческим уроком, помогающим бороться против любых попыток возродить политический деспотизм. Чем шире и полнее распространится в обществе знание о бедствиях, приносимых тиранической и необъятной личной властью, тем основательнее будет надежда, что ничего подобного больше не повторится с нами.

Еще раз скажем, что наше сегодняшнее знание о потерях, нанесенных стране самовластием, далеко не полно и не во всем достоверно. Точное определение масштаба и механизма политического насилия, установление действительного хода и конкретных форм репрессий — дело будущего. Но о том, что с конца 20-х и до начала 50-х годов погибли и подверглись беззаконным репрессиям не тысячи и даже не десятки тысяч, но миллионы людей, равно как и о том, что подобные жертвы не вызывались никакой объективной необходимостью, можно с уверенностью говорить уже теперь, опираясь на доступные любому грамотному человеку официальные документы и публикации.

В суммарном виде тот факт, что человеческие потери 30—40-х годов исчислялись миллионами, достаточно определенно подтверждают простейшие данные государственной статистики народонаселения (и равным образом ее умолчания). Опубликованные к настоящему времени материалы свидетельствуют, что население СССР составляло в конце 1926 г. 147,0 млн человек, в начале 1929 г.— 153,4 млн, в конце 1930 г.— 160,5 млн человек. Они сообщают также, что к началу 1937 г. численность населения достигла 163,8 млн, а еще через 2 года, к началу 1939 г. (точнее, на день переписи 15 января 1939 г.),—170,6 млн [1]. Официальные сведения о численности населения СССР в 1931—1936 гг. после 60-х годов не публикуются, что, надо полагать, говорит о недостоверности приводившихся прежде данных.

Как видно, за шесть начальных лет осуществления форсированной индустриализации и сплошной коллективизации в рамках авторитарно-деспотического режи-

[1] См.: Население СССР. 1973, с. 7; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР (Сводный том), с. 13; *Сталин И. В.* Соч., т. 13, с. 336.

ма население страны выросло на 3 млн человек, увеличиваясь в среднем на полмиллиона в год. Перед этим, во второй половине 20-х годов, оно ежегодно возрастало примерно на 3 млн человек, после, во второй половине 30-х гг.,— на 3—3,5 млн.

Иными словами, если бы рост населения в 1931—1936 гг. происходил теми же темпами, какими он шел накануне этого периода и по его окончании[1], в СССР к началу 1937 г. должно было бы жить (учитывая отсутствие сколько-нибудь значительной эмиграции и иммиграции) никак не менее 175—180 млн человек (а не 163,8 млн, как оказалось, по данным официальной статистики, на самом деле). Таким образом, общие демографические потери в рассматриваемый период составили, считая округленно, по меньшей мере, 10—15 млн человек.

Разумеется, условные демографические потери нельзя отождествлять с реальными человеческими жертвами, о которых идет здесь речь. Последние — это те, кто ушел из жизни дополнительно к обычной для данного времени и данной страны норме смертей, так сказать, избыточная часть умерших. Демографические потери, помимо избыточной смертности, отражают также снижение рождаемости в тот или иной период. Вообще говоря, бывают ситуации, когда происходит резкое падение рождаемости, а смертность никак не меняется или даже сокращается. В этом случае могут быть демографические потери без всякой избыточной смертности, не связанные с реальными человеческими жертвами.

Однако в СССР с начала 30-х годов дело обстояло совершенно иначе. Чтобы без увеличения смертности прирост населения нашей страны за 6 лет составил всего 3 млн человек, рождаемость должна была бы скачком, буквально за год, снизиться почти в 2 раза, до показателей, которые стали типичными только через четверть века — в начале 60-х годов. В стране с подавляющим большинством сельского населения, при отсутствии традиций планирования рождений, подобный скачок просто немыслим. (Во всяком случае, пока нет чрезвычайных событий вроде мобилизации всего мужского населения в армию.) Таким образом, уже из

[1] В обоих случаях темпы роста населения сходны. В 1928 г. естественный прирост равнялся 21,0‰, в 1937 г.— 19,8, в 1938 г.— 20,0‰ (см.: Народное хозяйство СССР в 1967 г., с. 36).

самых общих соображений ясно, что немалая часть многомиллионных демографических потерь первой половины 30-х годов приходилась у нас на реальные человеческие жертвы сверх обычной смертности.

О том же говорят и непосредственные оценки показателей рождаемости и смертности в эти годы. В 1931—1936 гг., несмотря на несомненное падение рождаемости в СССР, все же появилось на свет не менее 27—29 млн детей (без падения рождаемости родилось бы что-нибудь около 35 млн детей) [1]. Если бы смерт-

---

[1] Опубликованы данные о том, что рождаемость составляла в 1928 г. 44,3‰, в 1930 г.— 41,2, в 1935 г.— 31,6, в 1937 г.— 38,7, в 1938 г.— 37,5‰ (см.: Народное хозяйство СССР в 1967 г., с. 36; Демографический энциклопедический словарь. М., 1985, с. 433). Из этих данных можно прямо получить примерное представление о числе родившихся в 1935 и в 1936 гг. Оно равняется приблизительно 5 млн в первом случае и более чем 6 млн — во втором. Косвенным путем удается оценить численность родившихся в 1931 и 1932 гг. Для этого примем во внимание, что в предыдущие два года родилось около 13 млн детей. С учетом «нормальной» детской смертности того времени до 1940 г. из них могло дожить не более 10—11 млн человек. Между тем в 1940/41 учебном году, когда посещение начальной школы практически стало у нас всеобщим и обязательным, в 1—4-х классах обучалось 21,4 млн детей 1929—1932 гг. рождения. Примерно 20 млн из них относится к числу родившихся на территориях, входивших в состав СССР до 1939 г. Следовательно, 9—10 млн из них приходится на родившихся в 1931—1932 гг. Опять-таки с учетом детской смертности это означает, что родилось в эти годы примерно 10—11 млн человек (см.: Народное образование, наука и культура в СССР, с. 78; Народное хозяйство СССР в 1967 г., с. 36). Остается неясным, сколько детей родилось в 1933 и 1934 гг. Похоже, что в эти годы рождаемость была самой низкой за весь период. Но даже если предположить, что она снизилась вдвое сравнительно с 1930 г. (что, как говорилось выше, почти невероятно), на эти годы придется самое малое 6—7 млн новорожденных. Всего, таким образом, получается за 1931—1936 гг. около 27—29 млн рождений.

Примерно те же результаты получаются при иной оценке. Исходя из данных переписи 1939 г., можно считать, что в это время на территориях, входивших в состав СССР до 17 сентября 1939 г., насчитывалось около 39 млн детей 1930—1938 гг. рождения (см.: Всесоюзная перепись населения 1959 г. СССР (Сводный том), с. 49). Из приводившихся выше данных видно, что в 1930, 1937, 1938 гг. родилось около 20 млн детей. С учетом «нормальной» смертности конца 20-х и конца 30-х годов до 1939 г. должно было дожить около 16 млн из них. Следовательно, 23 млн приходилось в 1939 г. на детей 1931—1936 гг. рождения. С поправкой на обычную для того времени детскую смертность это означает, что в указанные годы родилось не менее 28 млн детей.

ность в это время сохранялась на уровне конца 20-х и конца 30-х годов, за те же годы умерло бы не более 19—22 млн человек[1]. Это и есть нормальная, неизбыточная смертность данного периода. Но в таком случае прирост населения (который при отсутствии оттока за границу и притока в страну можно приравнять к разнице между числом родившихся и умерших) составил бы 7—8 млн человек или около того. Между тем фактически он лишь чуть превысил 3 млн (напомним, что население увеличилось тогда с 160,5 до 163,8 млн человек). Следовательно, реально в 1931—1936 гг. умерло не 19—22, а по крайней мере 24—26 млн человек и 4—5 млн смертей приходится на долю избыточной смертности.

Не станем настаивать на совершенной точности наших расчетов. Они имеют оценочный характер и могут несколько преувеличить или несколько преуменьшить число жертв. Преуменьшение, к несчастью, более вероятно, чем преувеличение, так как в сомнительных случаях мы всегда брали цифры, ведущие к минимальным значениям добавочной смертности. К тому же некоторые демографы полагают, что реальная численность населения во второй половине 30-х годов была ниже официальных цифр[2]. Однако в любом случае счет погибших и умерших сверх обычных пределов, нормальных для данного уровня развития, идет на миллионы. И это ведь по данным только за первую половину 30-х годов. Что касается последующих лет, у нас просто нет возможности произвести соответствующий расчет, хотя тот факт, что самовластье продолжало губить людей и дальше, скажем, в то время, которое обозначалось в народной памяти как тридцать седьмой год, не вызывает сомнений.

Главнейшие причины миллионных человеческих жертв 1931—1936 гг. достаточно понятны. Тяжкие последствия раскулачивания в деревне (затронувшего, как известно, немалую часть крестьянства) и массовых репрессий в городе соединились тогда с действием

---

[1] Смертность составляла в 1926 г. 20,3‰, в 1928 г.— 23,3, в 1937 г.— 18,9, в 1938 г.— 17,5‰. При населении в 161—164 млн человек эти показатели дают 3,2—3,7 млн смертей в год, или 19—22 млн смертей за 6 лет (см.: Народное хозяйство СССР в 1967 г., с. 36).

[2] *Тольц М.* Сколько же нас тогда было? — Огонек, 1987, № 51, с. 10—11.

смертного голода, который в 1932—1933 гг. обрушился (или, вернее, был обрушен) на сельское население Украины, Дона, Кубани, Поволжья, Южного Урала и Казахстана[1].

Сегодня мы не знаем точно, как соотносятся друг с другом потери от репрессий и голода. Р. Медведев, по сообщению В. Тендрякова, считает, что от голода погибло 3—4 млн человек[2]. В. Данилов говорит, что имеются и более страшные оценки: согласно таким предположениям, голод 1932—1933 гг. унес 6—7 млн жизней[3]. В общедоступной статистике единственным косвенным намеком на голодную смертность в начале 30-х годов могут, как кажется, служить сведения о сокращении численности казахов с 4 млн человек в 1926 г. до 3,1 млн в 1939 г.[4] Но смертность среди казахов, по-видимому, имела исключительный размах, гораздо больший, чем у других народов. В современном обществе абсолютное уменьшение в мирное время численности многомиллионного народа на четверть — явление все-таки неповторимое. По-видимому, эту катастрофу вызвало массовое уничтожение скота, происшедшее в казахских степях, как и в других районах страны, во время коллективизации. Поскольку скот играл в пропитании степняков несравнимо большую роль, чем у других народов, они и пострадали сильнее всех. Поэтому данные о казахах нельзя использовать для оценки общего числа голодных смертей.

Так что в настоящее время о катастрофических масштабах голода 1932—1933 гг. мы можем судить преимущественно по свидетельствам очевидцев, у которых хватило таланта, мужества и удачи рассказать об увиденном в публицистике и художественной литературе. Рассказы их во многих случаях пронзительно подробны, почти документальны. М. Симашко пишет об Украине тридцать второго и тридцать третьего годов: «Мы жили уже в Одессе, на улице Свердлова, 17... Осенью в городе появились первые голодающие. Они неслышно садились семьями вокруг теплых асфальто-

---

[1] *Данилов В.* Октябрь и аграрная политика партии.— Коммунист, 1987, № 16, с. 36.

[2] См.: *Тендряков В.* Рассказы.— Новый мир, 1988, № 3, с. 30.

[3] См.: *Данилов В.* Феномен первых пятилеток.— Горизонт, 1988, № 5, с. 35.

[4] См.: *Козлов В. И.* Национальности СССР (Этнодемографический обзор). М., 1975, с. 249.

вых котлов позади их законных хозяев — беспризорников — и молча смотрели в огонь. Глаза у них были одинаковые — у стариков, женщин, грудных детей. Никто не плакал... Сидели неподвижно, обреченно, пока не валились здесь же на новую асфальтовую мостовую. Их место занимали другие... С середины зимы голодающих стало прибавляться, а к весне уже будто вся Украина бросилась к Черному морю. Теперь уже шли не семьями, а толпами, с черными высохшими лицами, и детей с ними уже не было. Они лежали в подъездах, парадных, на лестницах, прямо на улицах, и глаза у них были открыты» [1].

Совсем на другом конце страны — в маленьком уральском городке — ту же картину голодной мужицкой смерти, быть может, еще более страшную в своей наготе, видит летом 1937 г. мальчик Володя, будущий писатель В. Тендряков: «У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми...

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди. Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

---

[1] *Симашко М.* Писание по Бондарю.— Литературная газета, 1988, 1 июня, с. 13.

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали» [1].

Рядом с этими и многими другими детскими впечатлениями [2] встают картины, оставшиеся в памяти художника, видевшего все глазами взрослого человека. Обобщенным свидетельством звучат строки В. Гроссмана «о голоде, о смерти деревенских знакомых, о сошедших с ума старухах», о том, как «тихий протяжный стон стоял над селом, живые скелетики, дети, ползали по полу, чуть слышно скулили; мужики с налитыми водой ногами бродили по дворам, обессиленные голодной одышкой. Женщины выискивали варево для еды — все было съедено, сварено — крапива, желуди, липовый лист, валявшиеся за хатами копыта, кости, рога, невыделанные овчинные шкуры... А ребята, приехавшие из города, ходили по дворам, мимо мертвых и полумертвых, открывали подвалы, копали ямы в сараях, тыкали железными палками в землю, искали, выколачивали кулацкое зерно» [3].

В общем хоть мы и не можем определить, какая точно доля из четырех-пяти миллионов избыточных смертей начала 30-х годов вызвана голодом, похоже, что в это время именно недоедание и голод, а не репрессии явились главными факторами повышенной смертности. Иначе трудно объяснить значительное ускорение роста населения во второй половине десятилетия, когда острое голодание прекратилось, тогда как репрессии продолжались и даже усилились повсюду в стране. Впрочем, чтобы понять, почему форсированное развитие СССР сопровождалось в 30-е годы таким числом загубленных жизней, важны не столько различия, сколько своего рода общность причин, приводивших к многомиллионным человеческим потерям. В этой связи надо сказать, что голод, охвативший в первой половине 30-х годов сельские местности наиболее хлебных областей страны, подобно репрессиям, имел не экономическое, а скорее организационно-управленческое, возможно, прямо политическое происхождение.

---

[1] *Тендряков В.* Рассказы.— Новый мир, 1988, № 3, с. 18—19.

[2] Один из наиболее подробных детских рассказов-воспоминаний этого рода содержится в романе М. Алексеева «Драчуны».

[3] См.: *Гроссман В.* Жизнь и судьба.— Октябрь, 1988, № 2, с. 66; № 3, с. 122—123.

Разумеется, в начальные годы сплошной коллективизации, в момент перестройки деревни, при тех палочных методах и скоростных темпах, которыми она проводилась, определенный спад сельскохозяйственного производства оказывался неизбежным по чисто экономическим причинам. В своем месте мы приводили цифры, характеризующие этот спад (см. табл. 5). Однако из тех же цифр, особенно если рассмотреть их подробнее, видно, что само по себе снижение производства ни в конце 20-х, ни в 30-е годы никак не могло вызвать голод, сопровождающийся массовыми смертями.

Следующие данные показывают погодное производство зерна в СССР в этот период (в млн т)[1]:

1928 г. — 73,7	1932 г. — 69,9	1936 г. — 55,8
1929 г. — 71,3	1933 г. — 68,4	1937 г. — 97,4
1930 г. — 83,5	1934 г. — 67,6	1938 г. — 73,6
1931 г. — 69,5	1935 г. — 75,0	1939 г. — 73,2

Как видно, голодные 1932 и 1933 гг. отнюдь не были особенно неурожайными. Экспорт хлеба, составивший за эти два года менее 3 млн т (против 10 млн за предшествующее двухлетие), также не мог принципиально изменить продовольственный баланс страны. Голод прекратился в 1934 г., хотя производство зерна продолжало снижаться; его не было и в 1936 г., когда урожай был на 15—20% ниже, чем в 1932—1933 гг. В душевом исчислении зерновое производство тех лет, на которые падает голодная катастрофа, равняется приблизительно 415—430 кг зерна на человека — примерно столько же приходилось на каждого жителя страны в 1938 и 1939 гг., когда никакого голода не было и в помине. Массовой голодной смерти деревня не знала даже в войну, хотя производилось в это время несравнимо меньше зерна, чем в начале 30-х годов (например, в 1944 г. было собрано 49,1 млн т зерна, в 1945 г.— 47,3 млн т)[2]. Предшествующий (по отношению к катастрофе 1932—1933 гг.) смертный голод, разразившийся в конце гражданской войны, возник тогда, когда производство зерна упало до 45,2 млн т в 1920 г. и 36,2 млн т в 1921 г., или до 330 кг и 270 кг в расчете

[1] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 208.
[2] См.: Великая Отечественная война. Энциклопедия, с. 813.

на душу населения[1]. Да и тогда, помимо прямого недостатка хлеба, сказалась транспортная разруха, затруднявшая маневр ресурсами.

В 1932—1933 гг. имелись, конечно, экономические предпосылки продовольственных трудностей. Существование карточек говорит об этом как нельзя более ясно. Но объективных экономических причин, делавших неизбежной смерть сотен тысяч и миллионов людей от голода, в то время не существовало. Гибельный голод первой пятилетки можно предположительно объяснить множеством организационных, управленческих, политических, даже личностных факторов — общей неразберихой, плохой организацией, чрезмерными государственными поставками, стремлением устрашить или «наказать» крестьянство, «подхлестнуть» его вступление в колхозы. Можно принять в расчет и фанатичный энтузиазм неопытной молодежи, поверившей словам о всеобщем социалистическом счастье трудящихся в недалеком — через одну-две пятилетки — будущем и потому готовой не обращать внимания на гибель этих самых трудящихся сегодня. Как говорили «городские ребята» из приведенных раньше строк В. Гроссмана, когда они в поисках зерна для госпоставок проходили мимо умерших: «Уперлось кулачье, жизни своей не жалеет»[2].

Одним только нельзя объяснить тогдашний голод: производственно-экономическими обстоятельствами. Голод 30-х годов есть порождение не столько социально-экономического, сколько политического развития (с той, правда, поправкой, что форсированное экономическое развитие увеличивало вероятность политического развития с авторитарно-тираническим уклоном). Эта катастрофа — результат и проявление системы управления, при которой возможен какой угодно произвол необъятной личной власти, какое угодно карьеристское «усердие» приближенных диктатора, любой фанатизм, но при которой невозможна никакая гласная критика ошибочных, неверных, просто несуразных директив и действий центра, никакая открытая политическая борьба против них.

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 208.
[2] *Гроссман В.* Жизнь и судьба.— Октябрь, 1988, № 3, с. 123.

2. Расширение политических репрессий: кара без вины

Нечего и говорить, что политическим режимом — и только им — были обусловлены массовые репрессии, составлявшие, если отвлечься от войны, второй (помимо голода) источник человеческих потерь в 30—40-е годы. Причем если в отношении голода еще можно, хоть и с неполной верой, допустить, что его смертный размах явился непредусмотренным следствием каких-то просчетов, что здесь не было изначального стремления к душегубству, то о репрессиях этого предположить нельзя. Репрессии всегда имеют целью смерть или лишение свободы множества людей. Их громадное расширение в 30—40-е годы вытекало из тиранической природы сталинского режима прямо и непосредственно. Без массовых репрессий режим такого типа просто не мог существовать сколько-нибудь длительное время.

Для поддержания всякой авторитарной политической системы, равно как и всякой системы административно-директивного хозяйствования, нужна, по меткому выражению одного из видных современных специалистов в области управления, своего рода «подсистема страха»[1]. Когда же приходится обеспечивать сохранность авторитарной системы с такой необъятной, неограниченной и, в сущности, ничем не обоснованной властью центра, какая сосредоточилась в руках у И. В. Сталина и его присных, «подсистема страха» должна действовать с поистине чудовищным размахом.

К несчастью нашего народа, так оно и происходило на протяжении почти четверти века — с начала 30-х годов до середины 50-х, когда после смерти И. В. Сталина и XX съезда партии «подсистема страха» как бы «вошла в берега» и свелась к минимуму, необходимому для обычной (не тиранической) системы административно-приказного типа.

Общее число людей, чьи судьбы были загублены или изломаны репрессиями в течение этой четверти века, как и число жертв голода, измеряется миллионами. Объективности ради (хоть слово «объективность» звучит здесь почти кощунственно) отметим, что потери от голода измеряются числом смертей, тогда как, оценивая итоги репрессий, мы можем пока говорить только

---

[1] См.: *Попов Г. Х.* С точки зрения экономиста.— Наука и жизнь, 1987, № 4, с. 62—63.

суммарно обо всех пострадавших — и погибших, и тех, кто, пройдя арестантские муки, в конце концов остался жить. Но если иметь в виду всех, на чью долю пришлись в 30—40-е годы «каторжные норы» [1] — тюрьмы, лагеря, ссылки,— их число скорее всего будет больше, чем число жертв голода.

Здесь нет смысла обсуждать все детали этой горестной статистики. Такое обсуждение станет основательным лишь тогда, когда удастся раскрыть тайну архивов, столь тщательно оберегаемую бюрократией. Ограничимся лишь примерами отдельных волн террора, в отношении которых по доступным ныне сведениям можно составить представление по крайней мере о порядке величин, характеризующих число жертв. И эти примеры достаточны, чтобы убедиться, что репрессии затрагивали многие миллионы, если не десятки миллионов людей.

К тому же они показывают еще одну отягощающую черту террора 30—40-х годов. Репрессии неограниченной, ничем и никем не сдерживаемой тиранической власти легко теряли связь с какими-либо действиями людей, на которых они обрушивались. Наказание не следовало за преступлением. По большей части оно не карало вину, но отмечало принадлежность человека к некоторой категории, которую политический центр считал нужным подвергнуть репрессиям,— то ли как потенциальных противников, то ли просто потому, что надо было поддерживать эффективность «подсистемы страха» и обеспечивать рабочей силой сектор принудительного труда в экономике форсированного развития. По отношению к каждой человеческой личности террор действовал стихийно, подобно голоду, захлестнувшему страну одновременно с репрессиями, или «моровому поветрию», губившему людей столетия назад. «Все воля Сталинова»,— вздыхает в романе В. Гроссмана один из ссыльных. «...И в словах его не было гнева, обиды — так говорят простые люди о могучей, не знающей колебаний судьбе» [2].

---

[1] Слова А. А. Ахматовой, у которой говорится о мучениках репрессий:

Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.

(См.: *Ахматова А.* Реквием.— Октябрь, 1987, № 3, с. 131.)

[2] *Гроссман В.* Жизнь и судьба.— Октябрь, 1988, № 2, с. 66.

Классический пример многомиллионного размаха карательных мер в условиях авторитарно-деспотического режима и одновременно их безличного, надындивидуального характера, абсолютной несвязанности с конкретными поступками конкретных людей дает уже первая волна, первый же подъем репрессий после установления деспотической власти — уничтожение кулачества как класса в начале 30-х годов. Теоретически уничтожение любого класса вовсе не предполагает уничтожение людей. Речь идет о преобразовании социально-экономических порядков, обеспечивающих воспроизводство его социального положения. Именно так и трактовался вопрос о ликвидации кулачества в стратегии социалистического строительства, до того как на рубеже 20—30-х годов совершился поворот к форсированному развитию в экономике и авторитарному деспотизму в политике.

Однако после перехода к сплошной и насильственной коллективизации положение изменилось. С этого времени уничтожение кулачества проводилось таким образом, что вместе с преобразованием социально-экономических условий и даже вместо, до такого преобразования стали осуществляться репрессивные меры против крестьян, отнесенных к числу кулаков. Сложный механизм постепенных социальных перемен был замещен раскулачиванием — системой многообразных хозяйственных ущемлений, запретов, конфискаций и жестоких административно-политических, даже уголовных преследований, лишения политических прав, ссылок, арестов. Последствия уголовного наказания, как и экономические ограничения, касались всех членов семей, считавшихся кулацкими, включая несовершеннолетних детей. Раскулачивание являлось, таким образом, не столько политикой социальных преобразований, сколько формой бесчеловечных репрессий в отношении тех групп населения деревни, которые казались потенциально опасными для авторитарного режима.

Тяжесть репрессий в этом случае усугублялась тем, что при их осуществлении механические (но обязательные!) задания и «разверстки» центра касательно общего процента хозяйств, подлежащих раскулачиванию, сочетались с произволом местных властей, на откуп которым было отдано право решать, кто именно должен считаться кулаком. Подобные решения нередко имели произвольный характер, немалую роль при их

принятии играли случайные моменты, сведение счетов, соседские отношения, личная приязнь или неприязнь. В итоге раскулачивание, как уже упоминалось, затронуло самые разные слои крестьянства — не только зажиточную верхушку деревни, но также часть середняков. Отсюда и громадное число раскулаченных.

Опубликованные данные свидетельствуют, что на первой стадии коллективизации, конец 1929 г.— первое полугодие 1930 г., было раскулачено свыше 320 тыс. семей. На второй стадии коллективизации — с осени 1930 г. до лета 1931 г.— репрессиям подверглись новые сотни тысяч семей, в том числе 265 тыс. были выселены в отдаленные районы страны (такая мера касалась не всех раскулачиваемых). Таким образом, только в 1929—1931 гг. было раскулачено почти 600 тыс. семей [1]. В тогдашней деревне зажиточные семьи обычно бывали многочисленнее остальных (по некоторым данным, семьи, попавшие в разряд кулацких, насчитывали в среднем 7—8 человек [2]), с учетом этого обстоятельства можно заключить, что число арестованных, сосланных, выселенных и иным образом пострадавших на протяжении первых лет коллективизации достигает 4—5 млн человек.

Но ведь раскулачивание не кончилось в 1931 г. В основных районах страны оно продолжалось самое малое еще год-два, а на окраинах и много дольше. Соответственно полные масштабы раскулачивания измеряются гораздо большими цифрами. Один из самых крупных наших специалистов по истории коллективизации — В. П. Данилов считает, что всего в процессе раскулачивания было ликвидировано 1100 тыс. хозяйств [3], число пострадавших в этом случае достигает 7—8 млн человек. У. Черчилль в своих мемуарах «вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных» [4].

---

[1] См.: *Курицын В. М.* 1937 год в истории Советского государства.— Советское государство и право, 1988, № 2, с. 114; *Шмелев Г. И.* «Не сметь командовать!» — Октябрь, 1988, № 2, с. 18.

[2] См.: *Шмелев Г. И.* «Не сметь командовать!» — Октябрь, 1988, № 2, с. 13.

[3] Коллективизация: как это было.— Правда, 1988, 16 сентября.

[4] *Тендряков В.* Рассказы.— Новый мир, 1988, № 3, с. 18.

Спору нет, раскулачивание в массе случаев не было совершенно тождественно многолетнему тюремному или лагерному заключению. В исправительно-трудовые лагеря — как в судебном, так и во внесудебном порядке (по решению районных «троек», состоявших из первого секретаря райкома партии, председателя райисполкома и начальника райотдела ГПУ) — попало около 10% раскулаченных. Это, впрочем, тоже десятки или сотни тысяч людей, а по оценке В. А. Тихонова, около 1 млн человек; да к тому же для некоторых из них, считавшихся активными противниками коллективизации, дело обернулось не лагерем, а бессудным расстрелом на месте [1]. Однако формально отличаясь, по существу судьбы большинства раскулаченных, обреченных на высылку в отдаленные места, во многом походили на долю заключенных. «Всего там было — холода и голода» [2].

Уже сама дорога в места поселения ставила миллионы людей в положение арестантов. «...Всех нас,— пишет И. Т. Твардовский, подростком переживший крестный путь раскулачивания,— погрузили в товарные вагоны, в которых были настланы доски в два яруса, как это делалось раньше для солдат. В каждом вагоне насчитывалось со стариками и детьми до полсотни человек. Очень неудобно было справлять естественные нужды: здесь же и женщины, и молодежь, и дети... Ехали мы семь суток... За это время кормили нас только два раза: в Казани и в Свердловске приносили в ведрах прямо в вагон суп и кашу. Люди как-то смирились, беседовали уже без слез... Подолгу поочередно всматриваясь в проплывающие за небольшим оконцем-люком поля, долины, леса, завидуя иной жизни и сожалея о своей нарушенной» [3].

И это еще не самое плохое, что бывало во время высылки. Мы уже несколько раз обращались к роману В. Гроссмана «Жизнь и судьба», ибо ощущение правды, абсолютной реальности того, о чем говорится на многих его страницах, как бы равняет эту книгу

---

[1] См.: *Курицын В. М.* 1937 год в истории Советского государства.— Советское государство и право, 1988, № 2, с. 113—114; *Тихонов В.* Чтобы народ прокормил себя.— Литературная газета, 1988, 3 августа, с. 10.

[2] *Твардовский А. Т.* Книга лирики. М., 1967, с. 124.

[3] *Твардовский И. Т.* Страницы пережитого.— Юность, 1988, № 3, с. 13.

с историческими источниками. Один из героев романа описывает дорогу спецпереселенцев, которым пришлось вынести много больше страданий и тягот, чем семье Твардовских... «Он рассказывал... о пятидесятидневной зимней дороге в теплушке с дырявой крышей, об умерших, ехавших в эшелоне долгие сутки вместе с живыми. Рассказывал, как спецпереселенцы шли пешком и женщины несли детей на руках. Прошла эту пешую дорогу больная мать... тащилась в жару, с потемневшим разумом. Он рассказал, как привели их в зимний лес, где ни землянки, ни шалаша, и как начали они там новую жизнь, разводя костры, устраивая постели из еловых веток, растапливая в котелках снег, как хоронили умерших...» [1]

В местах, куда их направили, спецпереселенцы имели, конечно, больше свободы, чем заключенные. И самое главное, они жили вместе с семьями. (Хотя тут есть и другая сторона: наравне со взрослыми страдали и дети, даже грудные младенцы.) Но труд раскулаченных, по крайней мере в первые годы после высылки, имел такой же принудительный и зачастую такой же бессмысленный характер, как и у заключенных. Выше уже говорилось, что и оплачивалась их работа примерно в такой же степени.

Немного в чем превосходили лагерные бараки — особенно в начальный период — и жилища спецпереселенцев. Тот же И. Т. Твардовский рассказывает, что десятки раскулаченных крестьянских семей со Смоленщины из того же эшелона, которым он прибыл на Урал, поселили в двух или трех больших, широких бараках. В бараках не было комнат и перегородок, были только нары. Как отмечает рассказчик, именно жилье угнетало больше всего. «Скученность семей на общих нарах, толкотня, грязь» [2]. В другом поселке, сообщает И. Т. Твардовский, раскулаченные жили не в бараке, а в срубленных наспех «бревенчатых хатах». Та хата, где разместилась перебравшаяся сюда семья автора, «была рассчитана на две семьи. Сейчас же в ней размещалось четыре... Перегородок в хате не было, и жильцы всегда были на виду друг у дружки. Но это и не считалось бедой, судьба обязывала мириться с тем, что есть. Хотя все одно к одному: сырые стены промерзали, покрыва-

---

[1] *Гроссман В.* Жизнь и судьба.— Октябрь 1988, № 2, с. 66.

[2] *Твардовский И. Т.* Страницы пережитого.— Юность, 1988, № 3, с. 13.

лись инеем, а когда топились печи, иней таял, с потолка начинало капать, стены сочились и обрастали слизистой плесенью, двери были без тамбуров, и при открывании врывался леденящий холод. К тому же люди были в угнетенном состоянии, на поселке свирепствовал сыпной тиф, умирали, не получая почти никакой медицинской помощи, каждый только и ждал, что вот-вот придет и его очередь» [1].

С годами полулагерное положение спецпереселенцев во многом переменилось. Привычные к труду семьи раскулаченных крестьян, а в их среде, как уже говорилось, было много работников из лучших, сумели в большинстве случаев приспособиться к новым условиям: одни из них вступили в местные колхозы или основали свои, обжились, построили дома, другие ушли в города, на заводы и фабрики. Жизнь тех, кто уцелел в водовороте первых лет раскулачивания, потекла обычным «нелагерным» образом (за исключением, правда, того обстоятельства, что «кулацкое происхождение», тщательно регистрируемое в документах, еще не одно десятилетие мешало их детям свободно выбирать занятия, добиваться успеха и общественного признания). Но ведь и у большинства заключенных даже при господстве деспотического режима лагерные сроки рано или поздно кончались, и они выходили из-за колючей проволоки если не прямо «на волю», то в ссылку, на спецпоселение и т. п.

Раскулачивание — первый по времени, но, к несчастью, не единственный пример громадного повышения уровня «репрессивности» в нашем обществе после утверждения в нем авторитарно-деспотического режима. Другой не менее ужасающий пример — кровавый террор середины 30-х годов, связанный в народной памяти с понятием «тридцать седьмой год». В этом случае удар наносился преимущественно по более образованным, политически и профессионально более развитым слоям города. Репрессиям в 1934—1938 гг. подвергались в первую очередь партийные, советские, комсомольские работники, хозяйственники, офицерский и дипломатический корпус, вообще старые члены партии (особенно с большим стажем, активные комсомольцы), научная и творческая интеллигенция. По-видимому, сталинская

[1] *Твардовский И. Т.* Страницы пережитого.— Юность. 1988, № 3, с. 16.

клика на этот раз стремилась терроризировать и уничтожить социальные группы, из которых, по ее подозрениям, могли выйти противники установившейся в стране тиранической власти.

Чудовищный размах репрессий 30-х годов наглядно характеризует ситуация в партии. Достаточно взглянуть на следующие сведения о числе членов и кандидатов партии (в млн человек, на 1 января соответствующего года) [1]:

1933 г. — 3,6	1936 г. — 2,1	1939 г. — 2,3
1934 г. — 2,7	1937 г. — 2,0	1940 г. — 3,4
1935 г. — 2,4	1938 г. — 1,9	1941 г. — 3,9

В 1933—1935 гг. в партии проходила чистка и обмен партийных документов. Прием новых членов и кандидатов в это время был полностью прекращен. Партия в своей подавляющей части состояла тогда из нестарых людей, так что почти все уменьшение ее состава в эти годы — около 1,5 млн человек — приходится на долю исключенных. Как известно, многие из них сразу же или через несколько лет стали жертвами незаконных арестов.

Чрезвычайно знаменательно также то, что численность ВКП(б) продолжала уменьшаться в 1936 и 1937 гг. Правда, сокращение шло уже с гораздо меньшей интенсивностью — ежегодно число членов и кандидатов партии уменьшалось приблизительно на 0,1 млн человек. Однако в это время кончилась чистка и был открыт (с ноября 1936 г.) прием в партию. Уменьшение численности отражает, следовательно, разницу между числом выбывших и числом принятых. В более нормальных условиях последних довоенных лет (1939—1941 гг.), когда накал репрессий в отношении партийных кадров несколько спал, численность ВКП(б) увеличивалась примерно на полмиллиона-миллион человек в год. Следовательно, отсутствие прироста и даже некоторое сокращение численности партии в 1936—1937 гг. означает, что из ее состава в это время выбыли (т. е. главным образом были арестованы) еще многие сотни тысяч, если не миллион с лишним человек (в дополнение к полутора миллионам выбывших в 1934—1936 гг.).

---

[1] См.: Партийная жизнь, 1973, № 14, с. 10.

Вместе с комсомольцами и представителями беспартийной интеллигенции (беспартийные рабочие и колхозники подвергались политическим репрессиям в середине 30-х годов несколько реже) общее число жертв кровавого террора и беззаконных арестов второй половины 30-х годов явно достигает нескольких миллионов человек. Д. А. Волкогонов, суммируя доступные ему документальные данные, приходит к выводу, что только в 1937—1939 гг. было репрессировано 3,5—4 млн человек[1]. Если учесть весь период и неполноту имевшихся у Д. А. Волкогонова сведений (он специально говорит об этом), надо признать, что число людей, захваченных террором второй половины 30-х годов, сопоставимо с числом жертв раскулачивания. При этом резко возросла жестокость, кровавый характер политических репрессий. Среди нескольких миллионов арестованных по политическим обвинениям в предвоенное пятилетие очень большая часть приходится на долю казненных[2].

Правда, по внешней видимости репрессии середины 30-х годов отличались от раскулачивания. Будучи столь же массовыми, они в формальном отношении как бы не были столь же безличными. В большинстве случаев аресты и казни формально ставились в связь с той или иной личной виновностью, выступая в виде

[1] См.: *Волкогонов Д.* Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина.— Октябрь, 1988, № 12, с. 129.

[2] О миллионах расстрелянных в 1935—1941 гг. говорил на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев (см.: Советская культура, 1988, 1 октября, с. 7). Некоторое уточнение этой цифры может быть сделано по предварительным итогам расследования, проведенного в одном из мест массовых расстрелов 1937—1941 гг.— урочище Куропаты под г. Минском. Изучение братских могил, осуществленное квалифицированным археологом З. Позняком, позволяет думать, что в Куропатах за эти годы было расстреляно от 100 тыс. человек — по минимальным до 300 тыс.— по максимальным оценкам. Расстрелянные были жителями Белоруссии и некоторых районов Прибалтики (см.: *Позняк З.* Куропаты. Народная трагедия, о которой должны знать все.— Московские новости, 1988, 9 октября, с. 16; *Шершов В.* «Место смерти — Куропаты...».— Даугава, 1988, № 9, с. 105, 108). Даже если допустить, что Куропаты были единственным местом массовых расстрелов в Белоруссии и Прибалтике (что, скорее всего, будет преуменьшением), то и в этом случае общее число казненных в 1937—1941 гг. составит, по грубому счету, 1—2% населения этого региона. Полагая, что интенсивность террора на других территориях была не ниже, чем в Белоруссии, и считая, что эта пропорция характерна для всей страны, можно заключить, что политический террор второй половины 30 — начала 40-х гг. стоил жизни 2—4 млн людей.

индивидуальной кары за индивидуальные или коллективные «преступления». Личная вина подкреплялась публичными «признаниями» ряда жертв террора, «признаниями» тем более убедительными в глазах рядовых современников, что они, современники, в прошлом знали признающихся как мужественных людей, не боявшихся царской каторги, геройски показавших себя в революции и гражданской войне. Однако сегодня, в полувековом отдалении, позволяющем здраво осмыслить ретроспективу и перспективу исторического развития, безличный характер подавляющей части репрессий 30-х годов видится с полной ясностью. Да в этом не оставляют сомнения и прямые документальные и мемуарные свидетельства при всей их нынешней (когда еще нет полного открытия архивов) немногочисленности.

Подобные свидетельства говорят, кстати, о том, что формальная процедура установления индивидуальной виновности применялась если и в большинстве случаев, то все же далеко не в отношении всех жертв террора середины 30-х годов. Как и в период раскулачивания, в это время в ходу были репрессии, осуществляемые по спискам, хотя и предоставлявшимся чему-то вроде суда, но не имевшим никакого отношения к выяснению личных действий репрессируемых. На XXII съезде партии (1961 г.) приводилась следующая записка «героя» тридцать седьмого года Н. И. Ежова:

«Тов. Сталину.

Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду Военной коллегии:

1. Список № 1 (общий).
2. Список № 2 (быв. военные работники).
3. Список № 3 (быв. работники НКВД).
4. Список № 4 (жены врагов народа).

Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов».

Под первой категорией осуждения имелся в виду расстрел.

Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым, и на каждом из них имеется резолюция:

«За. И. Сталин.
В. Молотов»[1].

---

[1] См.: XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1962, т. 3, с. 152.

О какой индивидуальной вине можно говорить в отношении женщин, уже официально обреченных на смертную казнь, но тем не менее предаваемых суду по обвинению в том, что они были женами (не соучастницами, не помощницами, нет, просто женами!) «врагов народа». В таком же положении находились массы репрессированных в качестве социально опасных элементов (СОЭ) или «членов семей изменников родины», так называемых ЧСИР («чесеиров» — сокращение, широко бытовавшее в лагерной и бюрократической практике 30—40-х годов).

И этот документ — не исключение. Б. А. Викторов, человек, возглавлявший в 50-е годы комиссию по расследованию дел репрессированных, недавно опубликовал сведения о целой серии так называемых альбомных дел. «Составлялись,— рассказывает он,— «альбомы» для Сталина. В альбоме, на отдельных листах, кратко излагались дела ста или даже двухсот человек. И под каждым — заготовленные, еще без подписи, три вышеназванные фамилии (речь идет об Ульрихе, Ежове, Вышинском.— *Л. Г., Э. К.*). Сталин просматривал альбом, отыскивал знакомых. И ставил либо «единицу» (расстрел), либо «двойку» (10 лет заключения). Сталинские «приговоры» не обсуждались. Оставшимися без «1» или «2» эта троица распоряжалась по своему усмотрению. Но под каждым приговором расписывались все трое...» [1] Всего обнаружено 383 списка репрессированных, так или иначе завизированных Сталиным. Только в списках, собственноручно подписанных им совместно с В. М. Молотовым, значится около 40 тыс. имен [2].

Впрочем, и у тех, кого расстреливали и отправляли в лагеря не по спискам и не как членов семей репрессированных, конкретных действий, дававших повод для репрессий, бывало обычно не больше, чем у тех, кто погибал, просто попав в перечисление имен. В обоих случаях репрессии середины 30-х годов осуществлялись

---

[1] Герои из 37-го.— Комсомольская правда, 1988, 21 августа.

[2] Указанные сведения приведены в показаниях доктора исторических наук В. Поликарпова и писателя А. Адамовича на судебном процессе, где рассматривался иск И. Шеховцова против А. Адамовича и газеты «Советская культура». Истец обвинял А. Адамовича и газету в оскорблении И. В. Сталина и в неправомерном употреблении слова «палач» в отношении бывшего следователя Хвата, ведшего дело академика Н. И. Вавилова. Суд признал иск И. Шеховцова необоснованным (см.: Советская культура, 1988, 1 октября, с. 7).

в основном исходя из общих установок, по разнарядкам, планам, из фанатичного или карьеристского усердия, но не в зависимости от индивидуальных «преступлений», как бы широко ни толковать этот термин.

Чтобы понять, что в большинстве репрессий середины 30-х годов, несмотря на то что в них использовались некоторые юридические (точнее, псевдоюридические) формулы, не было никакой связи между индивидуальными действиями того или иного человека и постигавшей его карой, нет нужды разбирать конкретные обстоятельства миллионов отдельных судеб. (Другое дело, что такой разбор нужен по иным, нравственно-человеческим и правовым соображениям.) Достаточно сказать, что разбирательство дел репрессируемых (в тех случаях, когда разбирательство вообще имело место) велось на основе положений, заведомо непригодных для установления истины.

Основу этих положений, мало чем отличавшихся от внесудебных наказаний, заложило постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов». В соответствии с постановлением, сроки следствия по делам данной категории ограничивались 10 днями, участие сторон (т. е. обвинителя и защитника) исключалось, приговоры не подлежали обжалованию, смертные приговоры приводились в исполнение немедленно [1]. Отнесение конкретного дела к этой категории целиком зависело от произвола следствия. Заметим попутно, что постановление от 1 декабря 1934 г. было «разработано» в течение нескольких часов, поскольку оно датировано тем же днем, когда было получено известие об убийстве С. М. Кирова, как будто все его статьи были загодя подготовлены и сформулированы. В 1937 г. положения постановления от 1 декабря 1934 г. были распространены на так называемые дела о вредительстве и диверсиях, что практически открыло возможность применять их в отношении любого человека [2]. Тем более что в 1935 г. была официально установлена уголовная ответственность (вплоть до смертной казни) в отношении детей начиная с 12 лет [3].

---

[1] См.: *Курицын В. М.* 1937 год в истории Советского государства.— Советское государство и право, 1988, № 2, с. 116—117.

[2] См. там же.

[3] См.: Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст на 1 июля 1950 г. М., 1950, с. 7, 172—173. В марте 1941 г. было

А в 1937 г. И. В. Сталин от имени ЦК ВКП(б) дал органам НКВД указание применять к арестованным «физические меры», т. е. разрешил бить и пытать обвиняемых. Два года спустя, в 1939 г., в новой телеграмме, направленной теперь уже не только в органы внутренних дел, но и в ЦК союзных республик, обкомы и крайкомы, Сталин потребовал обязательного применения подобных мер и впредь, «как совершенно правильный и целесообразный метод»[1]. При скоростном расследовании с применением пыток, отсутствии защиты и невозможности обжаловать приговор нетрудно обвинить во вредительстве кого угодно и доказать чью угодно вину.

Правда, определенная трудность все же возникла — репрессии достигли такого размаха, что самые скоростные темпы судебного фарса все-таки стали замедлять террор. Тогда по предложению Л. М. Кагановича были введены внесудебные репрессии, в том числе и с применением смертной казни. В. М. Молотов «усовершенствовал» эту процедуру предоставлением внесудебным органам (Особому совещанию, тройкам, двойкам) права осуждать людей по спискам[2].

По сообщению такого хорошо информированного человека, как Б. А. Викторов, в Особом совещании «за два часа... порой рассматривали до 800 дел. Прокуроры жаловались, что не успевают разбирать фамилии приговариваемых к смерти...»[3]. В подобных условиях легко было осуществлять террор, в такой же мере не считаясь ни с какими конкретными действиями конкретных людей, как это было при раскулачивании.

То, что на практике репрессии именно так и осуществлялись, с достаточной очевидностью говорят приводившиеся чуть ранее цифры, показывающие, что в середине 30-х годов пострадала почти половина партии и была уничтожена или арестована значительная часть состава руководящих партийных и советских органов — членов Центрального Комитета партии, членов ЦИК

специально разъяснено, что стремление Верховного суда СССР привлечь двенадцатилетних детей к судебной ответственности лишь при наличии умысла является неправильным. Детей судить следует в любом случае «совершения преступления независимо от умысла» (там же, с. 173—174).

[1] См.: Власть и закон.— Правда, 1988, 7 октября.

[2] См.: XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1962, т. 2, с. 216, 402—403.

[3] Герои из 37-го.— Комсомольская правда, 1988, 21 августа.

СССР, народных комиссаров, их заместителей и т. п. Оставаясь в здравом уме и не испытывая непосредственной угрозы репрессий или давления массовой истерии, невозможно поверить, что политически наиболее активная половина многомиллионной партии, в том числе и та ее часть, которая с энтузиазмом приняла курс форсированного развития и боролась за него, оказалась целиком состоящей из предателей, двурушников, наймитов иностранных разведок. Собственно, сам лишенный всякой логики, всякого правдоподобия характер обвинений, использовавшихся в ходе репрессий,— связь с разведками чуть ли не всех государств мира, в том числе мелких и вымышленных,— вскрывает безличность, надындивидуальность террора 30-х годов едва ли не убедительнее, чем все прочие доказательства.

К этим общим соображениям в 1988 г. добавились и чисто юридические доказательства. Высшие органы судебной власти Советского Союза и специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению репрессий тщательно расследовали обстоятельства и материалы дел и пришли к выводу, что судебные процессы в отношении таких репрессированных в 30-е годы видных деятелей партии, как Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. И. Рыков и многие другие, являются фальшивыми от начала до конца. Жертвы этих процессов полностью реабилитированы [1]. Но если сознательно сфальсифицированы обвинения против тех, кто считался идейными вдохновителями и организаторами заговоров, ясно, что и в остальных случаях руководители репрессий не думали ни о каких реальных «преступлениях».

Если отвлечься от судеб сотен людей, лично известных Сталину и его приближенным, в отношении которых, возможно, действовали какие-то индивидуальные подозрения, злобные чувства, пристрастия, в целом террор 1934—1938 гг., обрушенный на миллионы, бил по группам и категориям, а не по людям, совершившим какие-то определенные действия. Думается, впрочем, что такие искушенные политики, как И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, и многие другие деятели того времени вполне понимали эту сторону развернутых ими репрессий.

[1] См. подробнее: Истина против клеветы.— Правда, 1988, 19 августа.

Что до признаний большинства репрессированных в тех невероятных преступлениях, которые вменялись им в вину, а также показаний, в которых они свидетельствовали против других людей, их природа стала известна советской общественности уже в 50-е годы после широкой реабилитации жертв сталинского террора и их возвращения из-за колючей проволоки ГУЛАГа. Избиения заключенных, физические и нравственные пытки, угрозы подвергнуть репрессиям близких, равно как и сформированная деспотическим режимом некритическая вера в любые официальные утверждения, рождаемая подобной верой всеобщая подозрительность, готовность принимать за правду самые чудовищные обвинения,— вот что создавало возможность массовых оговоров и самооговоров. Никаких конкретных действий такие оговоры и признания не доказывают ни в малейшей мере.

В событиях, связанных с террором 30-х годов, не до конца понятным остается не масса ложных признаний — средний человек не всегда может выдержать давление государственной машины,— но сравнительная редкость случаев действительной «виновности» репрессируемых, с точки зрения деспотической власти, немногочисленность людей, пытавшихся активно бороться с ней. Несомненно, недовольство сталинским режимом стало распространяться в 30-е годы даже среди части тех партийных деятелей, которые за несколько лет до того были сторонниками сталинской политики. По некоторым сведениям, в 1934 г. до 300 делегатов XVII съезда партии (из 1225 делегатов съезда с решающим голосом) проголосовали против избрания И. В. Сталина в Центральный Комитет. Старые члены партии вспоминают, что на съезде ходили разговоры о целесообразности заменить его на посту генерального секретаря С. М. Кировым [1].

Однако в партии нашлось тогда немного людей, подобных М. Н. Рютину [2] и его товарищам, которые

[1] См.: *Микоян А. И.* В первый раз без Ленина.— Огонек, 1987, № 50, с. 6; *Шаумян Л.* Культ личности.— Философская энциклопедия, т. 3, с. 114—116; *Глотов В.* Билет до Ленинграда. Большевик Зинаида Немцова как она есть.— Огонек, 1988, № 27, с. 6.

[2] М. Н. Рютин вступил в партию в 1914 г., был активным участником гражданской войны, затем возглавлял партийные организации Иркутской губернии, Дагестана, Красной Пресни, был редактором «Красной звезды» и членом Президиума ВСНХ СССР, избирался делегатом X, XII—XVI партийных съездов. За попытку обратиться к членам партии с протестом против при-

оказались способными прямо взглянуть на действительность и признать, что с помощью обмана и клеветы, «с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин... отсек и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола...»[1]. А признав, сделать необходимый и мужественный вывод: попытаться начать борьбу с деспотическим режимом, несмотря на всю мощь этого режима и весь смертельный риск подобной борьбы.

Мы многого не знаем. Очень может быть, М. Н. Рютин и его соратники были не столь одиноки в своем стремлении бороться со сталинской диктатурой, как это кажется нам сегодня. Небольшие антисталинские группы, видимо, возникали на протяжении всех лет господства сталинского режима. Недавно, например, стало известно, что подобная группа, так называемая коммунистическая партия молодежи (КПМ), объединявшая 50—60 молодых людей, существовала в 1947—1949 гг. в Воронеже. Появились данные и о некоторых других молодежных объединениях антисталинской направленности (правда, еще более малочисленных)[2]. Кроме того, всегда были отдельные люди, отказавшиеся идти на сделки с совестью, даже если это грозило им гибелью. В материалах упоминавшейся комиссии 50-х годов по делам репрессированных встречаются имена 74 военных прокуроров, не давших санкции и поплатившихся за это свободой, а то и жизнью[3].

обретавшего опасный характер сталинского самовластия он был обвинен в создании контрреволюционного «Союза марксистов-ленинцев» и осужден во внесудебном порядке на тюремное заключение, а в 1937 г. по тем же обвинениям осужден вторично, на этот раз — к расстрелу. В 1988 г. все эти обвинения были признаны надуманными, что послужило основанием для полной реабилитации Рютина в судебном и партийном порядке (см.: Правда, 1988, 5 августа; Литературная газета, 1988, 29 июня).

[1] *Рютин М.* «Прочитав, передай другому!» — Юность, № 11, с. 22.

[2] См.: *Яковлева Е.* Борьба и победа.— Комсомольская правда, 1988, 31 августа; *Жигулин А.* Черные камни. Автобиографическая повесть.— Знамя, 1988, № 7, с. 10—75; № 8, с. 48—119.

[3] См.: Герои из 37-го.— Комсомольская правда, 1988, 21 августа.

Но при всех условиях трудно думать, что число людей, сознательно ставших на путь борьбы с необъятной властью Сталина (или хотя бы помышлявших о такой борьбе), превышало десятки или сотни. «Таких людей,— говорит Б. А. Викторов,— было не очень много. Но они были» [1]. Если бы дело обстояло иначе, отзвуки этой борьбы, несмотря на все сокрытия и усилия пропаганды, сохранились бы в общественном сознании хотя бы в виде слухов, легенд, семейных преданий. (Подобно тому как в народной памяти остались смутные представления о других замалчиваемых, но массовых явлениях сталинского времени, например о голоде 1932—1933 гг., о борьбе с бандеровцами в послевоенные годы.)

Непосредственно решающую роль тут сыграла сила тоталитарного аппарата, которым в 30—40-е годы были заменены многие звенья Советской власти. Борьбу с таким аппаратом, как показывает опыт диктатур XX в., здоровые силы общества могут вести не всегда, но лишь при определенных социальных и политических условиях. В 30-е годы таких условий, по-видимому, не было. Ни растущий «вширь» рабочий класс, временно ставший, как уже отмечалось, значительно менее пролетарским по своему составу, чем прежде, ни только еще складывающаяся новая интеллигенция, ни подавленное и разоренное палочной коллективизацией крестьянство не могли в то время явиться социальной опорой такой борьбы, дать для нее массовую базу. В конечном счете это главное.

Немалое значение имели в данной связи и некоторые особенности политической культуры демократического централизма, какой она стала после смерти В. И. Ленина. В этой культуре явно недоставало уважения к правам меньшинства, практически не признавалась законность, нормальность инакомыслия в партии (несмотря на то что В. И. Ленин, настаивая в 1921 г. на организационном единстве партии, специально подчеркивал важность создания условий для открытого выражения и публикации различных теоретических взглядов) [2]. Беспощадно-механическое требование отказа от своих убеждений и публичного покаяния, широко

[1] Герои из 37-го.— Комсомольская правда, 1988, 21 августа.
[2] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 43, с. 102, 105, 110, 112, 115.

применявшееся во внутрипартийной борьбе 20-х годов, идеализация безоговорочного, слепого подчинения директивам высших звеньев партаппарата делали крайне трудным для многих партийных активистов открытое выступление против любых решений, принятых — хотя бы формально — по воле большинства. Между тем И. В. Сталин и его помощники отличались большим искусством по части создания механического большинства (или его видимости).

Трудно также отрешиться от мысли, что идущая от «военного коммунизма» переоценка роли насилия в политической борьбе и вытекающее отсюда равнодушие к жестокости (столь ярко проявившееся в ходе коллективизации) ослабляли ощущение моральной обоснованности, оправданности многих политических действий, которые приходилось осуществлять партийному активу. Тем самым размывался нравственный стержень, бывший в годы революции и гражданской войны опорой большевистского мужества. Очень возможно, что в немалой степени в силу того, что они лишились этого нравственного стержня, люди, ранее бесстрашно смотревшие в глаза любым опасностям, теперь не находили в себе решимости повторять действия М. Н. Рютина[1].

Наши размышления о причинах относительно слабого сопротивления сталинизму со стороны политически активных групп в партии носят, конечно, предварительный и больше предположительный характер. Для

---

[1] Е. А. Амбарцумов пишет об «эрозии моральных устоев», «непреходящих человеческих ценностей» не только у палачей 30-х годов, но и у некоторых из их жертв. «Они сами раскрутили... костедробильную адскую машину, которая перемолола их самих... Близкий друг Пятакова, меньшевик эммигрант Валентинов (Вольский), встретил его в Париже в 1928 г., вскоре после капитуляции оппозиционеров, и упрекнул в нехватке морального мужества. В ответ Пятаков сослался на отсутствие, по его словам, у подлинного большевика всяких ограничителей — моральных, политических и даже физических. «Подлинный большевик,— добавил он,— растворяет свою личность в партийной коллективности» и поэтому может отрешиться «от любого своего личного мнения и убеждения». Вот сколь убийствен и самоубийствен моральный нигилизм, который выдавали за революционность!» (см.: *Амбарцумов Е. А.* Ядовитый туман рассеивается.— Московские новости, 1988, № 25, с. 10). Страшной, но, к несчастью, правдивой характеристикой настроений этого рода звучат слова Э. Багрицкого о духе века: «Но если он скажет: «Солги»,— солги. Но если он скажет: «Убей»,— убей» (из стихотворения ТВС, 1929 г.).

окончательных суждений нужны специальные изыскания, исторические и социально-психологические. Однако судя по общему знанию об эпохе, достаточно надежному уже теперь, эти изыскания вряд ли поколеблют уверенность в основном, что важно для понимания природы репрессий 30-х годов. Среди нескольких миллионов людей, которых смяла в это время волна террора, те, кого репрессировали вследствие каких-либо конкретных действий, направленных против власти Сталина, были исключением, а не правилом.

Наверное, никогда не удастся совершенно точно установить, какие мысли и какие страсти боролись в темных закоулках сталинского сознания, в душах его присных, раскручивавших тяжкий маховик репрессий. Но объективно, независимо от личных намерений организаторов, репрессии 30-х годов, подобно раскулачиванию, представляли собой терроризирование определенных социальных категорий, направленное на устрашение народа, в особенности на устрашение и прямое уничтожение среды, в которой сохранилась хоть какая-то память о досталинских политических правах и где скорее всего могла бы начаться кристаллизация антитиранических сил [1].

В общем, террор середины 30-х годов не отличался от раскулачивания ни масштабом, ни безличным, надындивидуальным характером. Псевдосудебные формы, в которых он осуществлялся, приводили лишь к дальнейшему ужесточению страданий, выпадавших на долю его жертв. «Подсистема страха» прогрессировала, так сказать, повышала свою производительность. Для подавляющего большинства репрессированных в 30-е годы (и дальше на протяжении всего периода, когда у власти стоял И. В. Сталин) применение судебных процедур означало, что они подвергались не прямой высылке на спецпоселение (как было с основной массой раскулаченных), но аресту и следствию, в ходе которого очень многие должны были пройти через муки пыток и избиений.

Одной из самых распространенных была пытка бессонницей. Подследственного целые ночи держали на

[1] О. Лацис полагает, что формирование таких сил, не будь террора, могло бы произойти уже в 30-е годы (см.: *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6, с. 168—172). Нам все же представляется, что общественная почва для широкой борьбы со сталинизмом не могла созреть так быстро.

допросах (причем следователи могли сменять друг друга), а днем ему не давали спать тюремные надзиратели. «И так сутки за сутками»,— вспоминает о своем заключении профессор Я. Рапопорт, арестованный по провокационному делу врачей-убийц в 1952 г.— в самом конце сталинского правления [1]. Однако пытка лишением сна широко применялась и в 30—40-е годы.

Тех, кто выдерживал бессонницу и не соглашался подписать самооговор или оговорить других, начинали бить. Генерал А. В. Горбатов (как и многие, безвинно оказавшийся в тюрьме в разгар репрессий 30-х годов, но в отличие от многих выдержавший истязания и не признавший себя виновным) говорит о них с достоинством сильного и честного человека. Но страшная суть пыток видна и в его сдержанном рассказе. «Допросов с пристрастием было пять с промежутком по двое-трое суток; были случаи, когда я возвращался в камеру с посторонней помощью. Затем дней двадцать мне дали отдышаться. Но вскоре меня стали опять вызывать на допросы, и их было тоже пять... Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского (следователь, ведший дело А. В. Горбатова.— *Л. Г., Э. К.*): «Подпишешь, подпишешь!» Выдержал я эту муку и во время второго круга допросов. Но когда началась третья серия допросов, как захотелось мне скорее умереть!» [2]

С середины 1937 г. избиения людей, обвиняемых в политических преступлениях, приобрели массовый характер. Е. Гинзбург рассказывает о том, что она услышала в первую же ночь, после того как в июле 1937 г. была привезена в Бутырскую тюрьму: «Началось все сразу без всякой подготовки, без какой-либо постепенности, не один, а множество криков и стонов истязаемых людей ворвались сразу в открытые окна камеры... Над волной воплей плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Слов разобрать было нельзя, только изредка какофонию ужаса прорезывало короткое, как удар бича, «мать! мать! мать!», третьим слоем этой симфонии были стуки бросаемых стульев, удары

[1] *Рапопорт Я.* Воспоминания о «деле врачей».— Дружба народов, 1988, № 4, с. 232.

[2] *Горбатов А. В.* Годы и войны.— Новый мир, 1964, № 4, с. 120.

кулаками по столам и еще что-то неуловимое, леденящее кровь» [1].

С тем, что пишет Е. Гинзбург, почти буквально совпадают воспоминания комсомольского работника из Донбасса Д. Прокущенко, рассказывающего о положении в провинциальной тюрьме: «Допросы обычно проводились глубокой ночью. Двери кабинетов следствия специально раскрывались настежь, чтобы каждому арестованному были хорошо видны разнообразные «методы» следствия. Тут фабриковались «подпольные антисоветские центры террористов и вредителей», шла своеобразная «борьба за план» по разоблачению «врагов народа». Учреждение напоминало вражеский застенок. Сплошной мат, средневековые методы допроса. От невыносимо физической боли коммунисты и комсомольцы кричали, теряли сознание» [2].

Похоже, что некоторым репрессированным пришлось испытать пытки пострашнее «обыкновенных» избиений. Та же Е. Гинзбург утверждает, что она видела в тюрьме женщин, на изуродованных пальцах которых синели раздавленные какими-то приспособлениями ногти. Немецкие коммунисты, в начале 30-х годов «познакомившиеся» с фашистскими застенками, затем эмигрировавшие в СССР и в 1937—1938 гг. оказавшиеся в сталинских тюрьмах, уверяли ее, что они увидели здесь те же орудия пыток, что и в гитлеровской Германии [3].

В провинции, куда не доходили новинки «пыточной техники», дело обстояло проще и в конечном счете даже страшнее.

«Помню,— пишет А. Адамович,— как заплакал старый человек, рабочий стеклозавода... когда стал рассказывать, что следователи выкручивали ему «самое больное у мужчины место: «Подпиши! Подписывай!» [4]

После 1937—1938 гг. волна пыточного безумия пошла на убыль. Но в тех или иных размерах пытки продолжали практиковаться и позже. В относящихся к 1952 г. воспоминаниях Я. Рапопорта речь идет о той же жестокости и тех же мучениях, что и в рассказах о

---

[1] *Гинзбург Е.* Крутой маршрут. Хроника времен культа личности.— Юность, 1988, № 9, с. 63.

[2] Жил человек...— Комсомольская правда, 1988, 20 августа.

[3] См.: *Гинзбург Е.* Крутой маршрут.— Юность, 1988, № 9, с. 62—63.

[4] См.: *Адамович А.* Оглянись окрест! — Огонек, 1988, № 39, с. 29.

1937—1938 гг. Лаконичность Я. Рапопорта только подчеркивает ужас происходящего. Во время одного из допросов, пишет он, «из соседнего кабинета» до него донеслись «крики истязаемого и дикая ругань тюремщика. Вопли несчастного временами переходили в какое-то хрюкание обессиленного муками человека» [1].

По мукам советских людей, имевших несчастье попасть в лапы гестаповских палачей, мы знаем, до какой жестокости и какой низости может дойти репрессивный аппарат современного тоталитарного режима. Будем помнить, что другим советским людям выпало испытать зверство репрессивного аппарата в камерах ежовских и бериевских извергов.

Помимо мучений следствия использование юридических форм в репрессиях 30-х и последующих годов означало, что большинство арестованных отправлялось либо на смерть, либо в лагеря и тюрьмы. Ссылки, спецпоселения и тому подобные виды «полулагерного» существования, на которые обрекалась основная масса репрессированных в пору раскулачивания (около 90%), доставались лишь меньшей части тех, кого поглотил поток репрессий в более поздние времена.

Конечно, и лагерные судьбы неодинаковы. Одинаковая доля выпадала разве что расстрелянным, кто вытаскивал в лотерее террора судьбу, сразу же «перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла» [2]. В остальных случаях жизнь складывалась по-разному. Одни попадали в такие «каторжные норы», которые быстро делали человека «лагерною пылью, как некто некогда изрек» [3], прямо убивали его или превращали в полуживого «доходягу», все равно не способного «вытянуть», «дожить» долгий срок заключения. О лагерных золотых приисках на Колыме, например, В. Шаламов, прошедший через них, пишет: «Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои...» [4] И далее об одном из своих героев, в котором легко узна-

---

[1] *Рапопорт Я.* Воспоминания о «деле врачей».— Дружба народов, 1988, № 4, с. 236.

[2] Варлам Шаламов: проза, стихи.— Новый мир, 1988, № 6, с. 107.

[3] *Твардовский А. Т.* По праву памяти.— Новый мир, 1987, № 3, с. 198.

[4] Варлам Шаламов: проза, стихи.— Новый мир, 1988, № 6, с. 113.

ется автор, Шаламов рассказывает: «За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и закостенели, как казалось Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку и иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были так легко залечены. Они никогда не были залечены» [1]. В последние годы сталинского режима использование лагерей для фактического убийства заключенных приобрело упорядоченный, как бы легализованный характер. Например, в 1950 году в лагерном деле бывшего главного конструктора автозавода им. Сталина Б. М. Фиттермана было записано: «Использовать только на тяжелых подземных работах, медицинской помощи не оказывать» [2]. Тут уж фактически размывается грань между карательной системой сталинизма и гитлеровскими лагерями уничтожения.

В других случаях лагерь давал возможность выжить сравнительно многим. Особенно таким, как Иван Денисович Шухов, один день из жизни которого открыл мир ГУЛАГа глазам послесталинских поколений. Тем, кому повезло попасть в хорошую бригаду, кто готов был работать, сохранять живую душу, надеяться на лучшее. Третьим лагерная судьба улыбалась еще больше — им доставалась несколько более легкая работа, они могли получать посылки от близких (при обычном лагерном недоедании посылки зачастую решали жизнь и смерть «зэка»); кое-кто оказывался в специальных тюремных институтах и конструкторских бюро («шарашках»), где условия физического быта вообще были сравнительно сносными.

Но всегда это были лагерь, тюрьма, несвобода, слом судьбы. И десятилетний срок, один из очень распространенных среди репрессированных в 30-е годы, означал, «от звонка до звонка три тысячи шестьсот пятьдесят три дня» несвободы. «Из-за високосных годов,— подсчитал Иван Денисович Шухов,— три дня лишних

---

[1] Варлам Шаламов: проза, стихи.— Новый мир, 1988, № 6, с. 133.

[2] *Щербакова И.* Один из ста, из пятисот, из тысячи...— Московские новости, 1988, № 44, с. 16.

набавлялось...»[1] Любой лагерь, говорит писатель, пробывший в нем семнадцать лет, является отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех[2]. Так что незаконные репрессии середины 30-х годов ломали, корежили человеческие судьбы и тогда, когда означали немедленную гибель, и тогда, когда обрекали миллионы мужчин, женщин, а то и детей на годы лагерной полужизни.

Террор 1934—1938 гг. показателен для характеристики губительных последствий деспотического политического режима еще и потому, что он задал своего рода образец действий на весь дальнейший период существования этого режима. Не мероприятия типа раскулачивания, но именно репрессии, «оформленные» как уголовные наказания за мнимые, несуществующие преступления или проступки, несоразмерные наказаниям, стали с тех пор главным методом функционирования «подсистемы страха» в рамках общей системы сталинской власти.

У нас нет сведений, позволяющих оценить масштабы репрессий с конца 30-х до начала 50-х годов хотя бы в том же ориентировочном приближении, как это можно сделать в отношении раскулачивания и террора середины 30-х годов. Но что массовые и, в сущности, безличные репрессии, ломающие жизни миллионов, продолжались, что они превратились в неотъемлемый элемент поддержания деспотического режима, не подлежит сомнению. Достаточно упомянуть о многомиллионной массе наших солдат, оказавшихся во время войны в плену. В определенном смысле судьба 4 млн из них, погибших в фашистской неволе, оказалась легче, чем у 2 млн вернувшихся на Родину. Ибо значительной части последних (в том числе и тем, кто бежал из плена и участвовал в боях) пришлось после немецких лагерей «познакомиться» с лагерями сталинскими и бериевскими[3].

---

[1] См.: *Солженицын А. И.* Один день Ивана Денисовича.— Новый мир, 1962, № 11, с. 74.

[2] См.: Варлам Шаламов: проза, стихи.— Новый мир, 1988, № 6, с. 106.

[3] См.: *Тягунов Б.* Никто не забыт?..— Знамя, 1988, № 10, с. 227.

Вспомним также о повторных арестах в 40-е годы людей, осужденных в предыдущем десятилетии и отбывших свои сроки. О потоках рабочих и крестьян, получивших немыслимые сроки в 40—50-е годы за ничтожные проступки, которые вообще не заслуживали наказания тюрьмой или лагерем. Репрессивная деятельность деспотического режима не прекращалась. «Молох жевал...» [1]

К тому же меры, сходные с раскулачиванием, т. е. наказания без всякой, даже формальной, попытки определить индивидуальную «вину», уйдя с первого места в ряду репрессивных методов, не вовсе исчезли из жизни общества. По сути дела, к этому ряду мер следует отнести и те ужасные беззакония, которые напоминают практику древних и средневековых деспотий, объявлявших целые народы виновными и подвергавших их коллективному наказанию.

В военные годы такая практика коснулась в нашей стране балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар, немцев, чеченцев и некоторых других этнических групп. Все эти народы были насильственно выселены из родных мест и на долгие годы превращены в ссыльнопоселенцев, лишенных важных гражданских прав и свободы передвижения.

Муки и лишения, перенесенные людьми, принадлежавшими к «наказанным» народам, поразительно напоминают то, что пришлось пережить крестьянам, пострадавшим в годы коллективизации. Неудивительно, что рассказ известного калмыцкого поэта Д. Кугультинова о высылке калмыков (1943 г.) почти буквально совпадает с цитированными ранее повествованиями о судьбах раскулаченных. Сам Д. Кугультинов, как и тысячи других молодых калмыков, был отправлен в ссылку прямо с фронта, где он честно выполнял свой долг. О судьбах стариков, женщин, детей, высланных из родных домов, в то время как их отцы и братья находились в армии, он говорит со слов своей тетки. «...Погрузили их на машины, повезли в Сальск. Там загнали в товарные вагоны и заперли. И пятнадцать дней везли в Сибирь. Вы представляете, конец декабря, сибирский мороз, а у нас ведь край теплый, Предкавказье. Множество умерло в вагонах... Увезли в тайгу. Степных людей увезли,

---

[1] Варлам Шаламов: проза, стихи.— Новый мир, 1988, № 6, с. 113.

которые никогда не видели леса. Велели им лес пилить, а они не умеют. И столько их там погибло — не знали ведь, куда будет падать подпиленное дерево. Холодные, голодные, разутые...»[1]

Перед войной в составе сосланных народов насчитывалось примерно 2,5 млн человек (1,4 млн немцев, свыше 1 млн остальных)[2]. И это жертвы только самых известных репрессий против народов, а были и другие. Из Крыма выселяли не только татар, но и большие группы греков, болгар, армян[3]. Отнюдь не по своей воле еще до войны очутились в Средней Азии и сотни тысяч корейцев. (При переписи населения в 1959 г. только в Узбекистане и Казахстане обнаружилось свыше 200 тыс. корейцев[4].)

Для понимания провокационно-террористической сути репрессий на этнической основе важно, что они продолжались и после войны, несмотря на то что в это время исчезли все предлоги, первоначально выдвигавшиеся в их оправдание. В 1949 г. из многих районов Черноморского побережья насильственно выселяли греков[5]. По-видимому, существовали планы депортации в Сибирь евреев после намеченного на 1953 г. провокационного процесса оклеветанных врачей[6]. Только смерть И. В. Сталина избавила нас от нового пароксизма национально-расистских преследований, который на этот раз мог коснуться еще миллионов ни в чем не повинных людей. (В то время численность еврейского населения СССР превышала 2 млн человек.)

Трагедия многомиллионных людских потерь, вызванных в 30—40-е годы репрессиями и искусственным голодом, усугубляется их бессмысленностью, бесполезностью, прямым вредом для социально-экономического развития страны и укрепления ее обороноспособности. В сравнении с очевидной безнравственностью уничто-

---

[1] *Кугультинов Д.* «От правды я не отрекался». Из истории современности.— Огонек, 1988, № 35, с. 24.

[2] См.: *Козлов В. И.* Национальности СССР, с. 249—250.

[3] См.: *Сичка И.* Крымская история.— Комсомольская правда, 1988, 21 мая. *Басов А.* Крым: прошлое и настоящее.— Аргументы и факты, 1988, № 33, с. 7.

[4] См.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР (Сводный том), с. 206.

[5] См.: *Искандер Ф.* История молельного дерева.— Знамя, 1988, № 9, с. 23—24.

[6] См.: *Рапопорт Я.* Воспоминания о «деле врачей».— Дружба народов, 1988, № 4, с. 225.

жения или разрушения судеб громадного числа соотечественников собственным правительством, с решительным несоответствием подобных действий идеалам социализма и гуманистическим принципам вообще размышления об оправданности или неоправданности миллионных человеческих жертв могут показаться ложной, если не циничной, игрой ума. Но это не так. О бесполезности людских потерь надо говорить снова и снова, потому что в массовом сознании немалых слоев народа, в том числе и в среде специалистов управления, до сих пор живы сложившиеся в 30—40-е годы предрассудки относительно исторической оправданности жертв, которые понесло общество в то время.

Тем важнее указать, что массовые репрессии, проводившиеся в предвоенное и послевоенное десятилетия, помимо того что они представляли собой беззаконное злодеяние, были злодеянием совершенно ненужным ни для создания современной промышленности, ни для победы в войне. Наоборот, в свете последующих событий очевидно, что в отличие от экономических тягот, где возможна дискуссия, бремя репрессий только мешало экономическому, социальному, военному укреплению нашей страны.

Обратимся к тем же примерам массовых репрессий, о которых шла речь, когда мы определяли число их жертв. Вот коллективизация. Если даже принять, что ее проведение с использованием методов принуждения было необходимостью в условиях начала 30-х годов, все-таки понятно, что и в этом случае не было никакой нужды разорять сотни тысяч наиболее эффективных хозяйств, обрекать одни миллионы крестьян на ссылку, другие — на голодную смерть. Сопротивление коллективизации со стороны кулачества и некоторых других слоев сельского населения можно было подавить (предполагая, что его следовало насильственно подавлять, а не преодолевать иными способами) при несравнимо меньших жертвах. И советский и зарубежный опыт свидетельствует, что, для того чтобы ускорить кооперирование (повторим, что мы не обсуждаем здесь вопрос о целесообразности такого ускорения), достаточно экономического давления, лишь изредка, отнюдь не в массе случаев сочетающегося с политическими репрессиями. Размах же репрессий 30-х годов был явно выше того уровня, который был необходим для насильственного, внеэкономического ускорения коллективизации. Между

тем негативные экономические и социальные последствия этих репрессий — в первую очередь подрыв чувства хозяина у массы крестьян и изгнание из деревни многих лучших работников — ощущаются в нашем обществе до сих пор.

Еще нагляднее вред, нанесенный стране волной репрессий против партии и интеллигенции в середине и конце 30-х годов. Надо, правда, признать, что в советском обществе этого времени существовала объективная необходимость в постепенной смене политических, хозяйственных, военных кадров. Усложнение общественной жизни, индустриализация, изменение характера армии требовали, чтобы многих не слишком культурных и профессионально неподготовленных работников, пришедших к руководству главным образом вследствие политических заслуг или участия в революции и гражданской войне, заменили молодые образованные специалисты современного типа. Но массовые репрессии отнюдь не решали эту проблему или, вернее, решали ее таким образом, что итог оказывался много хуже исходного положения. Лекарство здесь было горше болезни.

Впрочем, И. В. Сталин и его окружение, развертывая репрессии, вряд ли руководствовались стремлением заменить менее подготовленные кадры более квалифицированными и образованными. Иррациональный и рассчитанный на разжигание дурной подозрительности характер официального мотива репрессий — всеобщий шпионаж и вредительство,— равно как и фактические итоги репрессивных мер, говорит о другом. Повторим здесь сказанное выше в другой связи: и объективно по своим последствиям, и, надо думать, субъективно по замыслу репрессии против партии и интеллигенции преследовали только одну цель — максимально быстро заменить кадры, привыкшие к деятельности в условиях демократического централизма 20-х годов, кадрами, полностью соответствующими режиму самовластия, готовыми без колебаний подчиниться необъятной власти центра, истово и усердно служить ей. Сверх этой цели сказывались разве что личные страсти и личная злоба.

Кстати, жестокость, завистливость, подозрительность И. В. Сталина и тех, кто окружал его, были отнюдь не малозначащим фактором террора 30-х годов. Чего стоит один только документ, оглашенный на XXII съезде КПСС. Этот документ — обращенная к Сталину записка

видного военачальника тех лет И. Э. Якира, приговоренного к расстрелу. В записке, отправленной накануне казни, Якир писал: «Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей... Я честен каждым своим словом, я умру со словами любви к Вам, к партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма». Допустим, что И. В. Сталин, прочтя записку И. Э. Якира, не поверил ее автору. И все же какой злобной и нечуткой душой надо обладать, чтобы, как это сделал И. В. Сталин, написать на предсмертной мольбе человека, с которым был связан долгие годы: «Подлец и проститутка». Рядом льстивое добавление К. Е. Ворошилова: «Совершенно точное определение». Под этим добавлением поставил свою подпись и В. М. Молотов, а Л. М. Каганович приписал: «Предателю, сволочи и... (далее следует хулиганское, нецензурное выражение) одна кара — смертная казнь» [1]. Такой вот политический словарь и такие чувства обнаружили вожди нашей страны в 1937 г. Недаром В. И. Ленин в своих последних письмах счел нужным специально помянуть сталинскую склонность к озлоблению, которое «вообще играет в политике самую худшую роль» [2].

Как бы то ни было, фактическим результатом репрессий стала именно и только замена кадров, так сказать, не вполне привычных безоговорочно принимать абсолютную власть вождя и авторитарно-деспотическую систему управления, кадрами, не знавшими никакой другой системы, воспринимавшими самовластие как естественный и единственно возможный порядок. Неудивительно, что в аппарате власти резко повысилась роль выходцев из деревни, не имевших даже того опыта городской культуры и городской политической жизни, который был у политических кадров в 20-е годы и в начале 30-х годов. Драматическая диалектика раскрестьянивания деревни и окрестьянивания города выступала здесь с особой силой.

Что же до профессиональных качеств, они, по крайней мере в первое время, у новых работников были ниже, чем у прежних, хотя бы из-за отсутствия опыта. К тому же в ходе массовых репрессий на поверхность

---

[1] XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет, т. 2, с. 403.

[2] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 357.

зачастую всплывали люди, лишенные всяких моральных устоев, беспринципные карьеристы, нередко предатели и провокаторы, прямо повинные в гибели своих предшественников.

В. И. Вернадский, великий ученый и человек чрезвычайно глубокого ума, по своему положению имевший возможность наблюдать верхи советского общества, записывал в дневнике 1941 г.: «Крупные неудачи нашей власти — результат ослабления ее культурности... Он (культурный уровень коммунистов.— *Л. Г., Э. К.*) сильно понизился в последние годы — в тюрьмах, ссылке, и казнены лучшие люди партии, делавшие революцию, и лучшие люди страны». И дальше идет запись о сделанной, по мнению В. И. Вернадского, «из мести или страха» основной ошибке Сталина — уничтожении «цвета людей своей партии». Понесенные при этом потери «невознаградимы, т. к. реальные условия жизни вызывают колоссальный приток всех воров, которые продолжают лезть в партию, уровень которой в среде, в которой мне приходится вращаться, ярко ниже беспартийных»[1]. В конечном счете репрессии 30-х годов вели к тому, что степень послушания в государственном, хозяйственном, военном аппарате возрастала, тогда как профессиональные качества его работников и общая способность аппарата решать объективные задачи, встававшие перед страной, на определенное время снижались.

Необычайно показательны в данной связи результаты изменения состава военных кадров в 1936—1938 гг. По подсчетам А. И. Тодорского, в это время были расстреляны, замучены, отправлены в тюрьмы и лагеря почти все военачальники, составлявшие высшее командование Красной Армии[2]:

из 5 маршалов	3
из 2 армейских комиссаров 1-го ранга	2
из 4 командармов 1-го ранга	2
из 12 командармов 2-го ранга	12
из 2 флагманов флота 1-го ранга	2
из 15 армейских комиссаров 2-го ранга	15

---

[1] *Вернадский В. И.* «Коренные изменения неизбежны...» Из дневников 1941 года.— Литературная газета, 1988, 16 марта, с. 13.

[2] Письмо «исторического оптимиста» (Письмо Э. Генри И. Г. Эренбургу).— Дружба народов, 1988, № 3, с. 233—234. (Э. Генри — псевдоним видного советского дипломата и журналиста С. Н. Ростовского.)

из 67 комкоров	60
из 28 корпусных комиссаров	25
из 199 комдивов	136
из 397 комбригов	221
из 36 бригадных комиссаров	34.

Из 108 членов Военного совета СССР, объединявшего наиболее авторитетную часть генералитета наших вооруженных сил, уцелело к концу 1938 г. 10 человек.

Репрессии затронули не только самые верхние эшелоны армии, но практически весь ее офицерский корпус. Только в 1936—1938 гг. они лишили Красную Армию примерно 40 тыс. командиров, в том числе примерно половины командиров полков. А ведь репрессии не прекратились полностью и после 1938 г. Аресты и казни происходили и в 1939 и в 1940 гг., и в предвоенные месяцы 1941 г., и в первые месяцы войны. В итоге к лету 1941 г. около 75% командиров полков и дивизий в нашей армии занимали свои должности менее года. Общее число офицеров с высшим военным образованием в Вооруженных Силах СССР снизилось в 1936—1940 гг. в 2 раза [1]. Падение кадрового потенциала Красной Армии в итоге массовых репрессий явилось одной из главных причин наших поражений в 1941—1942 гг.

Положение в армии, к несчастью, не было исключительным. О военных репрессиях мы говорим специально только потому, что в общедоступных материалах о них имеется чуть больше сведений, а также из-за того, что война самым очевидным образом показала реальные итоги репрессий. Вообще же репрессии во всех отраслях управления имели примерно одинаковый масштаб и повсюду давали примерно одинаковые результаты, везде сопровождались гибелью лучших, наиболее опытных кадров. В 1940 г. на Макеевском металлургическом заводе осталось 2 дипломированных инженера и 31 техник, на громадном Магнитогорском комбинате — 8 инженеров и 66 техников. Все остальные дипломированные специалисты были арестованы, и их заменили практиками. Сходное положение складывалось и на

---

[1] См.: Великая Отечественная война Советского Союза. 1941—1945 гг. Краткая история. М., 1965, с. 39—40; Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Энциклопедия, с. 174; *Волкогонов Д.* Накануне войны...— Правда, 1988, 20 июня.

многих других крупнейших предприятиях[1]. Своего рода обобщающим показателем масштаба истребления ведущих кадров могут служить следующие цифры. В 1934 г. на XVII съезде ВКП(б) присутствовало 1966 делегатов (с решающим и совещательным голосом). Они представляли практически всю управленческую верхушку советского общества. В 1936—1938 гг. 1108 человек из них было уничтожено. Тогда же погибло 98 человек из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных съездом[2].

Никакой сознательный враг социализма в СССР, никакой действительный предатель не смог бы принести больше бедствий советскому народу, большего ущерба нашей подготовке к войне, всему нашему экономическому и культурному развитию, чем это сделали, развязав массовые репрессии, те, кто в 30-е годы стоял у власти в партии и государстве[3].

Кстати, кровавые чистки не предотвратили и появления пятой колонны, на что, по-видимому, искренне рассчитывал И. В. Сталин. Несмотря на репрессии, во время войны нашлись десятки, если не сотни тысяч полицаев, карателей, провокаторов, вольно или невольно оказавшихся на стороне врага. Иначе, собственно, и не могло быть, ибо сама идейная основа массовых безличных репрессий — убеждение, что лучше наказать десять невинных, чем «упустить» одного виновного,— не только беззаконна и нравственно порочна, но еще и неэффективна, поскольку как раз многие реальные враги нового строя в ситуации произвола и нарушения законности обычно легче, чем его сторонники, избегали преследований. К тому же сам характер репрессий, бессмысленных и жестоких, способствовал усилению на-

---

[1] См.: *Данилов В.* Феномен первых пятилеток.— Горизонт, 1988, № 5, с. 36.

[2] См.: *Шаумян Л.* Культ личности.— Философская энциклопедия, т. 3, с. 116.

[3] Подобно тому как вещи, лежащие на самом видном месте, зачастую оказываются незамеченными, при переоценке привычных взглядов на прошлое от нашего внимания ускользают некоторые очевидные факты. Многомиллионные казни, аресты, ссылки 30—40-х годов означают, помимо всего прочего, что Сталин подверг различным репрессиям больше коммунистов, чем это сделали в своих странах фашистские диктаторы Гитлер, Муссолини, Франко, Салазар, вместе взятые. Это ужасающее в своей простоте заключение сформулировал недавно заместитель генерального директора ТАСС А. Красиков (Огонек, 1988, № 29, с. 2).

строений озлобленности, ненависти к Советской власти, множил ряды ее потенциальных противников.

Огромный вред советскому обществу принесли и репрессии в отношении народов. Можно еще понять суровую необходимость переселения и рассредоточения больших групп немцев в критическое время борьбы с фашизмом. Но трудно найти рациональное оправдание как выселению целых народов в 1944 г., когда исход войны был уже предрешен, так и сохранению «ссылки» высланных народов в течение целого послевоенного десятилетия, а в некоторых случаях и дольше. Напомним, помимо всего прочего, что в течение этого времени многие народы, воевавшие против нас (включая немцев), создали социалистические государства, стали друзьями и союзниками нашей страны. Ничего, кроме бессмысленного увеличения человеческих страданий, возбуждения националистических инстинктов и роста напряженности межнациональных отношений (последствия которого ощущаются до сих пор), подобная политика не давала.

3. Извращение демократической сущности социализма и ограничение власти трудящихся

Преждевременная смерть и сломанные жизни миллионов людей — это, конечно, самые страшные итоги самовластия. В прямом, непосредственном сопоставлении все остальное кажется второстепенным. Но в длительном течении народной жизни постепенно проясняется тягостный, подчас необратимый смысл также и других последствий режима необъятной личной власти — социальных, культурных, идейно-нравственных, ибо политические извращения, сопровождавшие форсированную индустриализацию, неизбежно искажали и уродовали всю систему складывавшихся тогда общественных отношений. Сочетание административного хозяйства с авторитарно-деспотическим политическим режимом «деформировало социализм в 30-е годы» [1], придавало ему облик, во многом отличный от того социалистического идеала, с которым коммунисты и коммунистически настроенные рабочие, все сознательные трудящиеся

---

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 86.

совершали революцию и начинали социалистическое строительство.

Главное, в обстановке самовластия слабела и деформировалась демократическая сущность социализма. Между тем социализм в его научном и гуманистическом понимании так же немыслим без демократии, как и без обобществления средств производства. Исходная идея социалистического преобразования в том и состоит, что демократия приобретает всеобъемлющий характер и распространяется на все сферы общественной жизни.

Обобществление при этом нужно не только для того, чтобы устранить анархию производства и сделать возможным планомерное регулирование экономики. Объективно говоря, такого, предусматривающего одни лишь хозяйственные цели объединения производительных сил можно, пожалуй, достичь в пределах государственного капитализма или союза сверхмонополий. Социалистическое обобществление, как оно мыслилось К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, тем и отличается от государственно-капиталистического, что наряду с предпосылками плановой экономики это обобществление должно создать условия, в которых рабочие, все трудящиеся превращаются в сохозяев своего труда и получают возможность принимать реальное участие в управлении экономикой, производством.

В этом смысле в научном социализме как бы само собой разумелось, что обобществление в ходе социалистической революции станет решающим средством демократизации экономики. Одновременно считалось, что социалистическое обобществление, подрывая мощь частных собственников и власть денежного богатства, позволит преодолеть ограниченность буржуазной демократии в политике, превратить социально-политические, правовые, государственные отношения в область подлинного народовластия. Недаром революционные марксисты называли себя социал-демократами до тех пор, пока это понятие не было замарано позором согласия с кровавой бойней империалистической войны.

Разумеется, из признания того, что всесторонняя демократизация составляет обязательное условие реализации социалистического идеала, никак не следует, что в исторических и культурных обстоятельствах, существовавших в 20—30-е годы, демократизация могла развертываться с равномерной прямолинейностью механического процесса. Известная неравномерность демокра-

тизации, относительно более быстрое утверждение демократических начал в одних сферах общественной жизни и на одних этапах социалистического строительства, относительно более медленное в других областях и в иные периоды составляли очевидную историческую неизбежность. Да и ход политической борьбы, ее сиюминутные требования, наконец, прямые ошибки политических деятелей сказывались здесь с достаточной силой.

Именно учитывая противоречия и неравномерности политического развития, В. И. Ленин вскоре после революции пришел к пониманию того, что Советы, «будучи по своей программе органами управления *через трудящихся*», первоначально оказались (и в российских условиях не могли не оказаться) «органами управления *для трудящихся* через передовой слой пролетариата, но не через трудящиеся массы» [1]. Однако в ленинской концепции социалистического строительства предполагалось, что положение будет меняться по мере совершенствования советского общества и что такое изменение составляет неотъемлемую часть любой стратегии созидания социализма.

Чтение послеоктябрьских, послереволюционных декретов и других документов революции, особенно теперь, в свете опыта длительного социалистического строительства, убеждает, что первые представления о конкретных путях перехода от управления «для трудящихся» к управлению «через трудящихся» отличались известным налетом наивности, в них переоценивалось значение прямой демократии и недооценивались ее традиционные представительные формы, разделение властей и т. п. Но принципиальное убеждение в необходимости движения к реальной демократии вытекает из этих документов, из работ В. И. Ленина, намечающих путь к социализму после взятия власти, с полной и абсолютной ясностью.

По-видимому, уже тогда не все вожди большевизма верили в возможность и целесообразность перехода от управления «для трудящихся» к управлению «через трудящихся» с той же силой, что и В. И. Ленин. Например, И. В. Сталин с первых лет Советской власти представлял себе политическое управление по преимуществу как управление аппаратное. «...Страной,—

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 38, с. 170.

говорил он в 1920 г.,— управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезды Советов при советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами» [1].

Похоже при этом, что И. В. Сталин (в отличие от В. И. Ленина) считал подобное положение нормальным, естественным. По крайней мере, вывод, который он делает отсюда, состоит не в том, что следует обеспечить движение к участию масс во власти (на что надеялся В. И. Ленин), а в том, что надо «вырастить» из отдельных рабочих и крестьян «достаточное количество кадров инструкторов по управлению страной». При наличии кадров, продолжает он, можно «иметь опытных агентов не только в центре, не только в тех местах, где обсуждаются и решаются вопросы, но и в тех местах, где решения проводятся в жизнь» [2]. По мнению И. В. Сталина, это и будет означать, что «рабочий класс действительно овладел государством» [3].

С подобным, в сущности антидемократическим, пониманием государственности вполне согласуется сформулированный в те же годы сталинский подход к определению характера Коммунистической партии и ее роли в советском обществе. В соответствии с его представлениями (во всяком случае, какими они были в начале 20-х годов), партия — это вовсе не авангард рабочего класса и всего общества, не массовая и демократическая организация, слитая с жизнью трудящихся, открытая и доступная для них. Как записал в июле 1921 г. И. В. Сталин в наброске плана брошюры «О политической стратегии и тактике русских коммунистов», партия составляет «своего рода орден *меченосцев* внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность» [4].

Впрочем, в первое послеоктябрьское десятилетие и особенно в годы расцвета новой экономической политики такие взгляды вряд ли разделяли многие руководители партии. Большинство сознательных коммунистов,

---

[1] *Сталин И. В.* Соч., т. 4, с. 366.
[2] Там же, с. 367.
[3] Там же.
[4] Там же, т. 5, с. 71.

входивших в состав «старой партийной гвардии», явно не связывало социалистический идеал ни с укреплением власти партийно-государственного аппарата, ни с превращением партии в подобие закрытого рыцарского ордена. Может, и сам Сталин в то время отошел от аппаратно-орденских убеждений, выраженных в его высказываниях, относящихся к эпохе «военного коммунизма» или начальным месяцам нэпа. Да и в политической практике начала и середины 20-х годов, при всех ее превратностях и зигзагах, попытки наращивать элементы демократии — иногда более, иногда менее успешные — занимали достаточно видное место.

Установление режима необъятной личной власти, сопровождавшее поворот к форсированию индустриализации и коллективизации, коренным образом преобразило ситуацию. Вопрос о переходе от управления «для трудящихся» к управлению «через трудящихся» фактически потерял смысл. Попытки начать процесс демократизации — пусть непоследовательные и противоречивые — были полностью пресечены. По сути дела, началось попятное движение: с конца 20-х годов пошло резкое свертывание даже тех элементов демократии, которые за предшествующие годы, казалось бы, прочно вросли в общественный быт.

Этому утверждению как будто противоречит принятие Конституции 1936 г., в которой провозглашалась отмена ряда политических ограничений, существовавших в стране со времен революции и гражданской войны. Многостепенные и неравные выборы заменялись в новой Конституции прямым, равным и тайным голосованием. Все граждане СССР, независимо от социального происхождения и положения, получали полные политические права, в том числе право избирать и быть избранным. В действительности, однако, введение этих конституционных норм имело номинальный, во многом иллюзорный характер. Вместе с декларированием прав происходило падение реальной политической активности и политической самодеятельности масс. Формальная демократизация выборов оборачивалась в жизни фактическим уничтожением самой возможности выбора. Выборы лишились малейшего элемента непредсказуемости, в них исчезло соревнование, борьба лидеров и идей. На деле произошла замена выборов от начала и до конца контролируемой процедурой всегда горячего и всегда единодушного одобрения утвержденных

сверху единственных кандидатов и единственной политической линии.

Как отмечалось выше, тогда же из политической жизни ушли свободные дискуссии, обсуждение альтернатив, гласный критический анализ действий центрального руководства. Тот факт, что сразу после принятия Конституции 1936 г. на партию и народ обрушились кровавые беззакония тридцать седьмого года, что одновременно с введением этой Конституции произошло уничтожение большинства пользовавшихся правом неприкосновенности членов верховных партийных и советских органов, свидетельствует о формальном характере провозглашенных в ней политических прав с такой же ясностью, с какой прекращение публичной критики политического центра на съездах партии, начиная с XVI, говорит о замене демократического централизма авторитарным, недемократическим регулированием партийной жизни. «Провозглашение демократических принципов на словах и авторитарность на деле, трибунные заклинания о народовластии, но волюнтаризм и субъективизм на практике, говорильня о демократических институтах и реальное попрание норм социалистического образа жизни, дефицит критики и гласности»[1] — все это, наряду с прямым, физическим подавлением инакомыслия, укоренилось в нашей жизни именно в 30-е годы.

Как видно, принятие Конституции 1936 г., несмотря на ряд провозглашенных в ней демократических принципов, не изменило общую направленность внутриполитического развития в 30—40-е годы. Господство деспотизма неизбежно, даже вне зависимости от воли и намерений отдельных лиц, вело страну к убыванию демократизма во всех сферах общественной жизни, хотя и людская воля сыграла тут немалую роль. В 30-е и, пожалуй, еще больше в послевоенные 40-е годы И. В. Сталин, казалось, вернулся к своим химерическим представлениям 1920—1921 гг. об обществе, управляемом агентами всесильного исполнительного аппарата, напоминающего собой тевтонский рыцарский орден. С невольным страхом думаешь об аналогии между этими представлениями и воображенными гением Ф. М. Достоевского «бесовскими» утопиями шигалевщины, кото-

---

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 37.

рые начинаются мечтаниями о «безграничной свободе» и кончаются идеей «безграничного деспотизма» [1].

По счастью, начала демократизма, внесенные в народную среду великой российской революцией и великой российской культурой нового времени, при всей недостаточности этих начал, оказались все же непреодолимым препятствием на путях полной реализации тоталитарно-аппаратной политической системы. Хотя это и звучит парадоксом, благую службу сослужила здесь и российская расхлябанность, отсутствие строгого и неукоснительного порядка (подобно тому, как худые средства сообщения, по словам В. И. Ленина, помогли Советской власти отразить нашествие интервентов в годы гражданской войны [2]). Известно, какие ужасающие результаты дало соединение тоталитаризма с деловой эффективностью в фашистской Германии. Как бы то ни было, партия в нашей стране все-таки не превратилась ни в средневековый орден, ни в аппаратное образование, в котором задавлены абсолютно все элементы самостоятельной социальной активности.

В исторической перспективе еще важнее, что у немалой части народа сохранялись некоторые появившиеся после революции (и отсутствовавшие ранее) понятия, без которых невозможно развитие никакой демократической политической культуры. Миллионы людей, молодых в первую очередь, естественным образом, подчас не давая себе отчета, продолжали держаться убеждения, что выборность должна быть источником власти, что каждый человек имеет право на свое мнение, что меньшинство должно подчиняться большинству и т. п. И хотя практика не соответствовала этим убеждениям, в общественном сознании именно они оставались выражением идеала, нормы.

Тем не менее если понижение уровня демократизма в советском обществе 30—40-х годов и не дошло до логического конца, если оно не уничтожило полностью зачатки самодеятельности, то общая тенденция такого

---

[1] «Выходя из безграничной свободы,— говорит герой Достоевского,— я заключаю безграничным деспотизмом». Ибо равенство достигается лишь тогда, когда «все рабы и в рабстве равны». Деспотизм есть естественное условие такого равенства, и потому «без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства» (см.: *Достоевский Ф. М.* Бесы.— Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1974, т. 10, с. 311, 322).

[2] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 41, с. 48.

понижения выявилась за это время совершенно определенно. Со временем эта тенденция привела к упрочению антидемократических порядков и привычек, придала им бетонную жесткость, сделала борьбу с ними необычайно трудной. В этом смысле последовательный антидемократизм сталинистской политической системы сказывался не только в 30—40-е годы, но и позже, когда ее окаменелая прочность оказалась одним из главных препятствий на путях обновления и перестройки.

Но это позже. А непосредственно в 30-е годы сочетание форсированных индустриальных преобразований в экономике с установлением антидемократических, авторитарных порядков в политике привело к тому, что реальное социалистическое строительство приобрело характер, во многих отношениях отличный от ленинской концепции социализма. Вместо единого гармонического роста обобществления и демократии с конца 20-х годов развернулись два переплетающихся, но по сути глубоко противоречивых разнонаправленных процесса. С одной стороны, резко ускорился рост государственной и колхозной собственности. Эти формы собственности практически охватили всю экономику. С другой — под влиянием деспотического политического режима началось резкое сокращение уровня демократизма, вместо возрастания в обществе произошло уменьшение реального народовластия.

В этой связи стоит вспомнить «известное ленинское определение социалистического государства как уже государства не «в собственном смысле слова» (т. 31, с. 180) или даже как «полугосударства», постепенно перерастающего в общественное самоуправление. К сожалению, после смерти В. И. Ленина в теории, да и на практике возобладал подход к государству как раз в «полном», т. е. старом, смысле этого понятия. Государственное регулирование было распространено на непомерно широкую сферу общественной деятельности. Стремление охватить детальным централизованным планированием и контролем все уголки жизни буквально спеленало общество, стало серьезным тормозом для инициативы людей, общественных организаций и коллективов» [1].

---

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 36—37.

Глубокая противоречивость социальных и политических процессов в условиях авторитарно-деспотического режима делала противоречивыми и общие результаты социалистического строительства в 30—40-е годы. Осуществленные в то время преобразования привели к созданию материально-технической базы социализма, его индустриальной основы. Возникли и оформились (хотя и в очень грубых, неразвитых формах) важные элементы социалистических общественных отношений: планирование народнохозяйственной деятельности на всех уровнях экономики — от общества в целом до отдельного предприятия, распределение по труду и из общественных фондов, общедоступность первостепенных социально-культурных благ.

Вместе с тем некоторые не менее существенные и необходимые элементы социалистических отношений не получили тогда должного развития. Господство антидемократических порядков сделало невозможным складывание подлинно социалистических отношений собственности, отношений, в которых работники реально, на деле выступают в качестве сохозяев производства. Полувековой опыт убеждает нас, что без демократии невозможно становление зрелых форм социализма. Но отсюда следует и обратный вывод. Тот факт, что в 30—40-е годы у нас стало меньше демократии, с неизбежностью означает, что в определенных сферах общественной жизни в то время стало меньше органического, свободного социализма. Социализм в 30—40-е годы рос скорее вширь, чем вглубь.

Форсированный экономический рост в рамках усиления антидемократических тенденций создавал глубоко противоречивую ситуацию, в которой ускорялось развитие многих элементов социалистической собственности и других составляющих системы социалистических отношений, но при этом шло развитие наименее эффективного варианта общественных отношений из всех возможных при социализме. Итогом быстрого расширения государственной и колхозной собственности без одновременного упрочения демократии оказалась казарменная, авторитарная деформация социализма [1].

---

[1] См. подробнее: *Ракитская Г. Я., Ракитский Б. В.* Размышления о перестройке как социальной революции.— ЭКО, 1988, № 5, с. 3—28; *Плимак Е.* Политическое завещание В. И. Ленина. Истоки, сущность, выполнение, с. 124—131.

Противоречивый характер перемен в отношениях собственности яснее всего проявился в том, как изменилось социальное положение трудящихся, их роль в общественной организации производства и реальное участие в управлении им. В 30-е годы на протяжении 5—10 лет десятки миллионов людей перешли от труда на основе частной собственности к труду в обобществленном хозяйстве — на новых заводах и фабриках, в колхозах, совхозах, учреждениях науки и культуры. И это не просто фраза, не пустая формальность. Переменилась действительная, живая жизнь народа. В ней исчезла фигура богача, нэпмана, частника, который живет несравнимо лучше подавляющего большинства работников, потому что он хозяин лавки, а то и предприятия, потому что у него много денег, что он собственник. Ушла в прошлое бесконечная долговая зависимость деревенской бедноты, столь распространенная в доколхозной деревне. Забылась безработица, а у большинства — вся психология, в соответствии с которой человек, семья единолично строят свою жизнь и единолично отвечают за последствия своих действий.

Напротив, стремительно ускорился рост коллективистского строя жизни и коллективистского сознания, массового убеждения в том, что общество в той или иной форме может и обязано обеспечить всем своим членам работу, образование, медицинскую помощь, минимум материальных благ. Сформировалась уверенность, что производство не должно принадлежать никакому частному лицу, что оно всегда подчинено государству и его органам, что руководители при всем их местном могуществе в конечном счете являются представителями государства, которое при необходимости может их поправить, наказать, сменить. С точки зрения уничтожения частной собственности и частнособственнического отношения к средствам производства господство в экономике государственной и колхозной собственности — даже в недемократических формах — ставило рабочих, служащих, колхозников в новое социальное положение, включало их в коллективистскую, социалистическую по своему типу организацию общественного труда.

К сожалению, отсутствие демократии ограничивало, если так можно выразиться, качество, глубину обобществления. Работники становились частью формально общенародного трудового коллектива, но не становились его действительными хозяевами. Наоборот, реальной

деятельности в качестве хозяев и связанного с ней реального хозяйского ощущения, реального чувства ответственности у десятков миллионов людей в 30—40-е годы стало меньше, чем было в 20-е.

В Советской России 20-х годов крестьяне, составлявшие основную массу населения, не будучи социалистическими коллективистами, были в своем большинстве хозяевами и ощущали себя таковыми. Что касается рабочих, их хозяйское положение на предприятиях, где они трудились, проявлялось, конечно, не в таких простых и прямолинейных формах, как у крестьян-единоличников. Но так или иначе, очевидный коллективизм человеческих отношений на заводах и фабриках сочетался в 20-е годы с гораздо более заметной, чем впоследствии, самодеятельной ролью партийных, профсоюзных, комсомольских, других общественных организаций, большей свободой слова, выражения независимого мнения, критики и т. п.

Конечно, и тогда производственная демократия вряд ли достигала уровня, превращающего всех работников социалистических предприятий в их действительных сохозяев. Иначе, собственно, не нужно было бы ставить задачу перехода от управления «для трудящихся» к управлению «через трудящихся». Но ведь в то время никто и не рассматривал существующее положение как полностью отвечающее идеалам социализма. Считалось, что в дальнейшем, когда социализм будет построен, рост демократии и участия в управлении сделает всех работников действительными хозяевами производства.

В антидемократической атмосфере 30—40-х годов эти надежды не оправдались. Грубая и насильственно ускоренная коллективизация, подменившая несравнимо более тонкие и сложные механизмы ленинского кооперативного плана, резко оборвала единоличную хозяйскую деятельность десятков миллионов крестьян и кустарей, не заменив ее сколько-нибудь развернутым участием их в управлении колхозами и артелями. Подавляющее большинство рядовых колхозников — бывших самостоятельных хозяев — попали в положение, при котором любое мало-мальски важное решение относительно их труда стало приниматься не ими самими, а колхозным или районным руководством, а то и еще более далекими инстанциями. Мало того, сугубо личные, житейские дела — от простейшей поездки в соседний город и получения материалов для строительства или ремонта

дома до определения судьбы детей, скажем, их поступления в ремесленное училище или техникум — оказывались в колхозах 30—40-х годов зависящими от председателя, членов правления, районного начальства. Будучи формально хозяевами артели, колхозники практически потеряли элементарную свободу выйти из колхоза.

Колхозы 30—40-х годов создали определенные предпосылки коллективизма в том смысле, что они устранили единоличную раздробленность крестьянской части советского народа. Но они же превратили коллективный труд десятков миллионов крестьян в некое подобие общественного «крепостничества» [1], где работник действует почти исключительно в качестве исполнителя чужих распоряжений, никак не участвуя в управленческой деятельности и даже не имея возможности свободно переменить род занятий или место жительства.

На государственных предприятиях противоречивый и формальный характер обобществления без демократии выступал в 30—40-е годы не столь явственно, как в колхозах. Однако в конечном счете отсутствие политической демократии порождало и на базе государственной собственности принципиально те же противоречия, что в рамках собственности, называвшейся кооперативно-колхозной. Подъем индустриальной экономики в городе — рост промышленности, транспорта, строительства, науки, вовлечение в их орбиту громадных масс населения — означал не менее масштабное, чем в деревне, расширение сферы коллективного труда. Но это расширение, как и в деревне, не сопровождалось сколько-нибудь заметным увеличением реального соучастия работников в управлении. Работники государственных предприятий, хоть они и не попали в такую открытую зависимость, в какой оказались колхозники, в своем большинстве отнюдь не стали хозяевами созданных их трудом заводов и фабрик.

Даже формально права трудовых коллективов в 30-е годы во всяком случае не расширились сравнительно с предшествующим десятилетием. На деле же, в практике повседневной жизни способность трудящихся и их организаций занимать независимую позицию, отстаивать свои интересы, оспаривать решения выше-

---

[1] Этот термин употребил, выступая на XIX Всесоюзной партийной конференции, первый секретарь Волгоградского обкома КПСС В. И. Калашников (см.: Правда, 1988, 30 июня).

стоящих органов существенно уменьшилась. Причем уменьшилась в решающей мере вследствие господства самовластного политического режима. Именно этот режим довел тяготение к централизации, вообще присущее административной экономике, до пределов, в которых всякая попытка самостоятельного действия, всякое возражение начальству оборачивалось смертельным риском, вероятностью в буквальном смысле поплатиться головой. Политический террор оградил большие области человеческой активности стеной страха, приучил массы людей не вмешиваться в определенные сферы управления, даже в мыслях не пытаться проявить здесь свою самостоятельность. Распоряжение государственной собственностью, участие в управлении ею, принятие самостоятельных решений стали в условиях политического деспотизма одной из таких скованных страхом сфер общественной жизни.

Террор ослаблял участие трудящихся не только косвенным образом, внушая им страх и сковывая инициативу. Напомним, что лишение свободы огромного числа граждан привело к столь значительному расширению численности заключенных, что на базе их несвободного, принудительного труда возник особый сектор «лагерной экономики». Как записывал в своем дневнике В. И. Вернадский, карательные органы «это — нарост, гангрена, разъедающая партию,— но без нее не может она в реальной жизни обойтись. (Не может, добавим мы от себя, обойтись в реальной политической жизни, где господствует деспотический режим.— *Л. Г., Э. К.*). В результате — миллионы заключенных-рабов, в том числе, наряду с преступным элементом,— и цвет нации, и цвет партии»[1]. Понятно, что в отношении трудящихся, превращенных в «заключенных-рабов»,— а в огромной мере это были не преступники, но именно трудящиеся, подвергнутые беззаконным репрессиям,— ни о каком хозяйском положении говорить не приходится.

В конечном счете отношения собственности в условиях социализма, деформированного антидемократическим политическим режимом, складывались таким образом, что подавляющее большинство рядовых тружеников — рабочих, колхозников, интеллигентов — было отстранено от реального распоряжения средствами

---

[1] *Вернадский В. И.* «Коренные изменения неизбежны...» Из дневников 1941 года.— Литературная газета, 1988, 16 марта, с. 13.

производства. Разница между социальными группами рядовых тружеников заключалась лишь в том, что одни из них — рабочие и рядовые служащие,— не распоряжаясь средствами производства, могли, по крайней мере, распоряжаться собой, своей рабочей силой, тогда как другие распоряжались собой лишь частично (колхозники), а третьи («заключенные-рабы») вообще были лишены всякой личной свободы. Похоже, что пресловутое сталинское замечание о людях, являющихся винтиками громадного общественного механизма, отразило реальные отношения собственности в 30—40-е годы, точнее, песенных строк о советском человеке, который «проходит, как хозяин, необъятной Родины своей». Разве что считать ключевым в этих строках не слово «хозяин», а слово «проходит».

4. Усиление бюрократии

Сокращение демократии, лишая рядовых рабочих, колхозников, интеллигентов управленческих, властно-распорядительных функций, одновременно создавало условия, в которых быстро и очень существенно возрастала власть хозяйственно-политических руководителей, призванных распоряжаться производством от имени и по поручению политического центра общества. Собственно, усиление власти узкого слоя тех, кого И. В. Сталин в приведенных выше замечаниях 1920 г. называл кадрами аппарата «по управлению страной» и его «агентами», есть оборотная сторона ослабления хозяйского положения основной массы трудящихся в обстановке не подкрепленного демократией расширения государственной и колхозной собственности.

Было бы глубоким заблуждением полагать, как это делают иные приверженцы наивно-упрощенных истолкований нашего прошлого, что концентрация огромной власти в руках руководителей политических и хозяйственных органов, происшедшая после перехода к форсированному развитию, ставила их в положение, равнозначное положению крупных частных собственников. Власть эта практически во всех ключевых точках достаточно жестко ограничивалась и контролировалась сверху, была безоговорочно подчинена вышестоящим инстанциям. Она не наследовалась и вообще не передавалась произвольно третьим лицам. Носители власти

не были вольны даже в своих собственных перемещениях. Мало того, систематические репрессии и деспотический стиль верховного управления превращали обладание властью в дело далеко не безопасное и очень нелегкое. Недаром столь многие руководители 30—40-х годов ушли из жизни, не дожив до обычного возраста смерти своих современников.

Руководящие кадры советского общества даже при снижении уровня демократизма в нем оставались распорядителями, управителями государственной и колхозной собственности, ответственными перед более высокими хозяйственно-политическими органами и действовавшими по их указаниям. Однако в отношении рядовых работников распорядительные полномочия и власть руководителей (пока они сохраняли доверие политического центра) стали после недемократического огосударствления экономики гораздо большими, чем они были в первые 10—15 лет советского строя.

Кстати, подавляющее большинство хозяйственных и политических руководителей, осуществлявших форсированное развитие, отчетливо сознавали свое положение распорядителей коллективной собственности, почти полновластных по отношению к нижестоящим, но полностью подчиненных более высоким уровням управленческой иерархии. Почитание дисциплины и единоначалия, убеждение в необходимости выполнять планы и директивы центра «любой ценой» суть закономерные социально-психологические проявления и показатели этого сознания. У одних руководителей, особенно у тех, кто душевно сформировался раньше, чем утвердились недемократические порядки авторитарной политической системы, отношение к себе как к простым распорядителям государственной собственности дополнялось искренним бытовым демократизмом, скромностью и непритязательностью личных потребностей. У других это отношение, наоборот, рождало неуемное стремление получить привилегии и дополнительные блага для себя и своих близких. К сожалению, последних со временем становилось все больше. Иначе, наверное, и не могло быть, ибо положение, в котором человек может распоряжаться судьбами нижестоящих и одновременно вынужден безоговорочно следовать приказам сверху, никак не способствует сохранению бытовых добродетелей. Но как бы ни проявлялось положение руководителей на личностно-бытовом уровне, в общественной и хозяй-

ственной жизни происходило существенное увеличение их властно-распорядительных функций, неизбежно ущемлявшее участие в управлении остальных трудящихся. Так что, если руководители и не стали в 30—40-е годы собственниками заводов, фабрик, колхозов, появившееся в то время обозначение их словцом «хозяин» возникло, как мы уже писали, не на пустом месте.

Характеризуя ситуацию на языке социально-экономических понятий, надо сказать, что деформированное обобществление (или, точнее, огосударствление) экономики без демократизации политики создало социальную базу усиления бюрократических элементов в советском обществе. Определенная опасность бюрократизма всегда сопутствует развитию государственной собственности, и В. И. Ленин подчеркивал ее с первых же лет Советской власти. Однако пока в обществе сохраняется и развивается демократия, пока вместе с органами государственного управления функционируют многообразные формы самоуправления и народной самодеятельности, имеется полная возможность нейтрализовать бюрократическую опасность.

Бюрократизм в обстановке развернутой социалистической демократии в худшем случае остается одной из тенденций общественной жизни, тенденцией, с которой здоровые силы общества вполне могут вести успешную борьбу. Когда же демократия слабеет, исчезают главные средства сопротивления бюрократии и тенденция к всеобщей бюрократизации становится преобладающей. Угроза кары сверху остается единственным, что можно противопоставить чрезмерному усилению бюрократии в недемократической политической системе. В этом, кстати, еще одна причина постоянного сохранения репрессий в арсенале средств управления 30—40-х годов.

Нетрудно, однако, понять, что репрессии по природе вещей способны ограничить бюрократию только в ее попытках уклониться от исполнения директив верховной власти. Да и здесь, как свидетельствуют уроки истории, ограничение имеет скорее временный, чем долговременный, характер. Что же касается отношений с нижестоящими, систематическое применение репрессий в конечном счете лишь увеличивает всесилие руководителей, начальников, чиновников. В отдельных случаях репрессии могут явиться наказанием бюрократических злоупотреблений, направленных против основной массы трудящихся, и вызывать их явное одобрение (хотя и

такие репрессии, если они незаконны, не имеют оправдания). Но гораздо чаще репрессии прямо оказываются средством подчинения именно трудящихся власти руководителей.

В целом недемократическое огосударствление экономики ставит носителей хозяйственно-политической власти в такое положение, которое придает им некоторые черты устойчивой, постоянно воспроизводящейся группы, занимающей специфическое положение в общественной организации труда и отличающейся от других общественных групп механизмом своего пополнения, размерами вознаграждения, формами его получения и т. п.[1] Высшие слои руководителей образовали кадры так называемых номенклатурных работников, в большинстве своем занимавших высокие управленческие посты на протяжении всей жизни (вернее, всей жизни после того, как они вошли в номенклатуру). Их материальное положение обеспечивалось помимо более высоких и в общем заслуженных заработков полускрытыми привилегиями: доступом к специальным распределителям, возможностью получать дополнительные услуги социально-культурного характера, иметь улучшенные условия отдыха и т. п. В конце сталинского правления некоторые категории ответственных номенклатурных работников стали получать неконтролируемые добавления к официально установленной заработной плате — «пакеты» и «конверты» — ежемесячные денежные суммы, выделявшиеся им верховными партийно-государственными руководителями сверх обычного жалованья.

Разумеется, руководящие кадры, даже когда их деятельность перестала контролироваться снизу и в ней усилились элементы бюрократизма, отнюдь не стали бесполезной, паразитической прослойкой. В раннесоциалистической системе с преобладанием нетоварной административной экономики и авторитарного управления выделение носителей хозяйственно-политической

---

[1] Разумеется, бюрократизация советского общества в 30—40-е годы не сводится к превращению бюрократов в особый слой. Мы согласны с глубоким соображением, высказанным в статье Л. Гудкова, Ю. Левады, А. Левинсона, Л. Седова, относительно того, что наша бюрократия прежде всего общественный институт или социальный механизм (см.: Коммунист, 1988, № 12, с. 79). Мы, однако, думаем, что при использовании понятий «механизм» и «слой» в ее характеристике соединение уместнее противопоставления. Бюрократия — это общественный механизм, верхушечные элементы которого образуют своего рода общественный слой.

власти в особую группу оказывалось абсолютной необходимостью. Без наделения руководящих кадров огромными властными полномочиями нормальный ход воспроизводства и все нормальное течение общественной жизни в подобной системе было бы просто невозможным. Работа руководителей всех уровней составила важнейшее условие успешного осуществления социальных, экономических и культурных преобразований 30—40-х годов, одну из решающих предпосылок победы в войне. Тем более что в массе случаев выполняли свои обязанности хозяйственные, политические, военные руководители того времени не щадя сил, а то и жизни, поистине с беззаветным героизмом [1].

Правда, их деятельность обеспечивала не только достижения и победы, но и проведение реакционных, антинародных мероприятий этого периода вроде беззаконных репрессий или бессмысленных хозяйственных, научных, идеологических кампаний. Однако в огромном большинстве руководящие кадры — директора заводов, председатели колхозов, секретари райкомов, даже руководители отраслей и областей — не выступали инициаторами таких мер. В отношении насильственной коллективизации, репрессий, подавления демократических инициатив заблуждения и ответственность сотен тысяч руководителей, за исключением разве что тех нескольких десятков, кто входил в самые верхние эшелоны власти, не отличаются качественно от заблуждений и ответственности миллионов их рядовых современников, совершавших подвиги и одновременно творивших зло с искренней уверенностью в правоте всех своих деяний.

Что же касается привилегий и дополнительных благ, получаемых в моменты народных тягот, то они, конечно, оказывали деморализующее влияние как на получателей этих благ, так и на общество в целом. Но, во-первых, многие руководители пользовались своими привилегиями достаточно умеренно. А во-вторых, при всех условиях абсолютный объем дополнительных благ, предоставлявшихся руководителям в 30—40-е годы, не отличался чересчур большой величиной, и потому их потребление мало что меняло в жизненном стандарте основной части народа. К тому же численность руководящих кадров, выполнявших распорядительно-властные

[1] Образ именно такого хозяйственного руководителя «сталинской эпохи» выпукло выписан в романе А. А. Бека «Новое назначение».

хозяйственные и политические функции, была в то время достаточно ограниченной. Перед войной на долю руководителей всех рангов — от заводского мастера и бригадира до наркома и секретаря ЦК партии — приходилось около 2% занятого населения[1]. Руководители, о которых идет здесь речь, т. е. люди, имевшие значительную хозяйственно-политическую власть, составляли только часть (по-видимому, меньшую) этой категории.

Словом, сама по себе концентрация власти в руках руководящих кадров не представляла собой чего-либо выходящего за рамки обычных порядков форсированной индустриализации, проходящей в условиях авторитарной политической системы. Подобная концентрация необходима в этой системе, и ее надо признавать (или не признавать) оправданной, позитивной ровно в той мере, в какой следует (или не следует) считать прогрессивной, отвечающей обстоятельствам эпохи, всю стратегию форсированного строительства социализма без демократии. По своему значению непосредственно в 30—40-е годы усиление властных функций руководства стоит в одном ряду с ослаблением хозяйского положения основной массы трудящихся и общим ростом элементов социального отчуждения в советском обществе.

К несчастью, в длительной исторической перспективе концентрация хозяйственно-политической власти имела, так сказать, чрезвычайные отрицательные последствия, по своей значимости выходящие из общего ряда. Суть дела здесь в том, что не сдерживаемое демократией усиление власти руководителей положило начало формированию особой социальной группы, объективно заинтересованной в неопределенно долгом сохранении породивших ее порядков. В сосредоточении власти у относительно немногих руководителей первоначально выражалась объективная потребность управления в условиях административной экономики, соединенной с авторитарной политической надстройкой. Но возникшая из естественной необходимости власть быстро стала для ее обладателей ценностью. И сама по себе, и потому, что она превратилась в источник дополнительных благ для них и их близких. У руководителей как особой группы появились — независимо от того, осознавали они это или нет,— специфические групповые

---

[1] См.: *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического развития, с. 189—190.

интересы. Соответственно властное положение руководящих кадров перестало быть просто следствием сложившихся порядков, но оказалось одним из факторов их поддержания и консервации.

Пока преобладание административно-директивного хозяйствования и авторитарного политического управления воспринималось большинством общества как нечто естественное, главные групповые интересы руководящих кадров совпадали, буквально сливались с тем, что считалось высшими интересами государства. Но когда возникла новая ситуация, когда началось движение к обновлению социализма и страна ощутила необходимость коренных экономических реформ и глубокой демократизации, тогда групповые интересы управленческого аппарата выявились достаточно определенно. Сопротивление многих его звеньев практическим действиям по реализации перестройки свидетельствует об этом с совершенной очевидностью.

Бесспорно, реальная деятельность наших руководящих кадров определяется отнюдь не только их интересами в качестве людей, выполняющих властно-распорядительные функции в административно-командной системе. Руководители в своих действиях исходят не только из групповых, но и из общенародных, общегосударственных интересов. Кроме того, социальная структура современного общества имеет сложное строение, и все его члены, руководители в том числе, одновременно принадлежат ко многим социальным группам. Работники управленческого аппарата являются также интеллигентами, стремящимися к духовной свободе, потребителями, заинтересованными в улучшении снабжения, входят в семьи, другие члены которых занимают совсем иное положение. Наконец, руководители — живые люди, обладающие свободным сознанием, имеющие разум, честь и совесть, испытывающие чувство ответственности, стремящиеся к добру и общественному благу. Групповые интересы лишь один и вовсе не обязательно главный мотив деятельности руководящих кадров. Наоборот, развитие страны в последние годы показывает, что в советском обществе имеется достаточное число руководителей, принимающих перестройку, готовых самоотверженно отстаивать и активно проводить ее.

Однако в реальной политике нельзя полностью сбрасывать со счетов и тот факт, что среди многообразных жизненных обстоятельств, определяющих поведение

людей, существуют групповые интересы бюрократии. В этом смысле установление недемократических порядков и огосударствление общественных отношений в 30—40-е годы, резко усилившее роль бюрократии в обществе, создавало одну из главных сил будущего сопротивления будущей перестройке.

5. Раздвоение массового сознания, массового поведения, культуры

Впрочем, политическая система 30—40-х годов и обусловленные ею извращения социалистического обобществления способствовали развитию процессов, последствия которых в наши дни сдерживают активное участие в перестройке гораздо более широких слоев народа, чем одни только властно-бюрократические группы. Ибо система эта, помимо всего прочего, неизбежно и болезненно сказывалась на массовом сознании и массовом поведении советских людей, на всей культуре советского народа.

Суть дела здесь в социально-политических антиномиях, неустранимых противоречиях, присущих тому варианту деформированного социалистического строительства, где формальное обобществление не подкрепляется ростом демократии.

Недемократический политический режим не давал формальному обобществлению, т. е. концентрации средств производства в руках государства и колхозов, перерасти в то, что В. И. Ленин называл обобществлением *«на деле»*[1]. Чтобы добиться последнего, в советском обществе, каким оно пришло к концу 20-х годов, надо было обеспечить условия, во-первых, развивающие участие рабочего класса в управлении при сохранении его коллективизма и, во-вторых, создающие новые формы коллективного труда крестьянства при сохранении (в преобразованном виде) его хозяйского положения в производстве. Фактически же попытка строить социализм без демократии привела к тому, что достигнутыми оказались лишь некоторые из этих условий. Коллективный характер рабочего труда сохранился, и распространенность его выросла в громадной мере. Но роль рабочих в управлении не усилилась, а ослабла. Кресть-

---

[1] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 36, с. 171, 293—294.

янский труд приобрел коллективную форму, но хозяйское положение большинства крестьян не сохранилось и не преобразилось в кооперативно-хозяйское; оно попросту исчезло.

Соответственно социалистическое обобществление 30—40-х годов осталось незавершенным. Процесс остановился на этатистской стадии, когда частнособственническая раздробленность экономики уже преодолена, производство подчинено единому государственному управлению, но основная масса работников еще не участвует в этом управлении, так что сохраняется и усиливается их «социальное отчуждение», «отчуждение человека труда от общественной собственности и управления» [1]. Элементы подлинного социалистического обобществления переплетаются здесь с элементами простого, механического огосударствления.

Общественное сознание и массовое поведение в подобной ситуации закономерно приобретало непоследовательный, в известном смысле раздвоенный характер. Вообще говоря, раздвоение социальной активности и сознания определенных общественных групп или их совокупностей встречается в истории не так уж редко. Напомним в данной связи ленинское представление о двух душах крестьянина — труженика и собственника. Специфика ситуации 30—40-х годов — а во многом и последующих десятилетий — в том, что противоречивость социалистических по исходной направленности экономических преобразований, осуществляемых в рамках антидемократического и в этом отношении несоциалистического политического режима, делала непоследовательность сознания и поведения типичной едва ли не для всех общественных групп, придавала ей, так сказать, всенародную распространенность.

Подавляющее большинство советских людей видело, как их трудом и при их участии свершается преодоление отсталости, создается мощная плановая экономика, образующая материальную базу социализма, гарантирующая военную силу страны и ее способность противостоять внешнему врагу. Как возникают новые социальные отношения, не знающие эксплуатации и безработицы. Как учение перестает быть привилегией меньшинства. Как культура, образование, творческий

---

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 37.

труд, общественное продвижение, власть становятся доступными для выходцев из любых слоев общества. И одновременно люди 30—40-х годов каждодневно сталкивались с собственным бесправием, с проявлениями своей полной зависимости от органов власти и хозяйственной администрации. Зависимость эта не всегда отчетливо осознавалась. Вероятно, даже такое осознание встречалось тогда лишь в редких случаях — террор и рождаемый им привычный страх оказывались, к несчастью, очень эффективным средством уничтожения критического духа социалистической политической культуры. Но ощущение несвободы — пусть неосознанное — так или иначе возникало в человеческой душе и жило там рядом (и в противоречии) с ощущением энтузиазма, гордости, удовлетворения жизнью.

Вспомним тот упоминавшийся выше факт, что в 30-е годы почти одновременно массовую популярность получили сталинские высказывания о человеке-«винтике» и сотни песен, стихов, книг, фильмов, утверждавших, что советский человек — «хозяин» своей необъятной Родины. Кажется поразительным, но люди того времени, во всяком случае огромная часть их, не видели здесь противоречия: и слова о винтике, и строки о хозяине выражали их мироощущение. Думается, что искреннее доверие человека-«винтика» к лозунгам, песням, стихам, где о нем говорится как о хозяине страны, есть закономерное отражение и проявление в обыденном массовом сознании раздвоенности реального положения трудящихся. Столь же отчетливо выступала эта раздвоенность и в массовом поведении. Классический пример здесь — отношение к труду и трудовая деятельность.

30-е годы — время возникновения и взлета стахановского движения. Не станем спорить, в трудовых рекордах и трудовом соревновании первых пятилеток (и тем более пятилеток послевоенных) можно найти элементы формализма, фальши, искусственного завышения показателей. Иной раз результаты труда многих работников, подчас целых коллективов, приписывались немногим героям. Вводилась, например, более совершенная, чем прежде, организация работы, при которой устанавливалось рациональное разделение труда между теми, кто подготавливает производство конечной продукции (скажем, подготавливает забой в шахте), и теми, кто затем производит данную продукцию (добывает

уголь). Общее же возрастание производительности соотносилось не со всеми, кто обеспечивал ее повышение, а только с теми, кто непосредственно выпускал конечную продукцию.

Один из первых стахановцев в сельском хозяйстве, Константин Борин, рассказывает, что основой его успеха фактически было создание бригады из 15 человек, обеспечивавшей бесперебойную двухсменную работу комбайна. Это было бесспорное достижение и бесспорное новаторство: объединенные в бригаду — «агрегат Борина» — 15 работников убирали много больше хлеба, чем могли бы убрать порознь. Несомненна здесь и личная заслуга К. Борина. Однако в официальных прославлениях речь шла только о нем одном. И эту несправедливость ощущали все: помощники Борина, его товарищи, он сам [1].

Но подобные ухищрения, если они и были, определяли отнюдь не все и даже не главное в стахановском движении. Это движение отражало реальные перемены в сфере общественного производства, реальное стремление лучшей части работников к активному труду, к творческому состязанию и успеху, их желание в полной мере использовать производственные возможности, созданные социалистической индустриализацией и технической реконструкцией народного хозяйства. Сотни, тысячи и миллионы рабочих, колхозников, специалистов искренне хотели овладеть новой техникой, достичь вершин профессионального мастерства, добиться наибольшей эффективности своей работы. И делали все, чтобы достичь цели. Подъем производительности, развившийся в стахановском движении, отражает не просто рост квалификации и технической оснащенности труда. В нем проявилось также изменение отношения к труду, и в этом смысле стахановское движение есть результат и показатель именно социалистической стороны индустриальных преобразований 30-х годов, отражение социалистических перемен в положении трудящихся. «Все тогда было,— пишет в своих воспоминаниях К. Борин,— и дутые достижения, и назначенные маяки, но большинство стахановцев работало честно. Очень уж хотелось побыстрее построить новую, светлую жизнь» [2].

---

[1] См.: *Борин К.* Время собирать урожай.— Московские новости, 1988, № 12, с. 16.

[2] Там же.

Однако стахановское движение, при всей своей значимости, характеризует тип трудовой деятельности и тип отношения к труду, свойственный отнюдь не всем работникам 30—40-х годов (и нашего времени тоже). Напомним, что производительность труда даже в реконструированных отраслях тяжелой, машиностроительной, оборонной промышленности СССР была тогда (как и теперь) существенно ниже, чем в США и странах Западной Европы, хотя техническая оснащенность этих отраслей не слишком отличалась от западной. Конечно, нашу более низкую производительность при сопоставимом уровне технического развития обусловливают многие причины. Здесь сказываются и общесистемные слабости административно-командной экономики, и худшая выучка работников, и то обстоятельство, что сопоставимая техническая вооруженность не значит все-таки, что речь идет о буквальном равенстве. Но при всем том столь большая разница в производительности, в особенности там, где нет такой уж заметной разницы в уровне средств производства, была бы невозможна, если бы большинство работников всегда трудилось с энтузиазмом и усердием героев стахановского движения. О. Р. Лацис отмечает тот факт, что руководитель индустрии СССР Г. К. Орджоникидзе во многих своих выступлениях упрекал директоров новых заводов в том, что реальная работа на них длится не более 5 часов в смену. «Некоторые оправдывались: у меня не пять, у меня шесть часов работают. Что работают всю смену, не утверждал никто, излишек рабочих на заводах был общепризнанным фактом» [1].

Еще убедительнее об этом говорит более низкое качество многих видов нашей продукции, вне всякого сомнения, связанное с некачественной работой тех, кто ее делал. Самая острота проблемы качества свидетельствует, что рядом с трудом стахановского, творческого типа существовал в широких масштабах труд, так сказать, отчужденного типа: нерадивый, недобросовестный, равнодушный, к тому же плохо оплачиваемый и неизбежно низкокачественный.

Сегодня вряд ли можно определить точное количественное соотношение этих двух видов труда в 30—40-е годы. Тем более что моменты добросовестной и недобросовестной работы в большинстве случаев переме-

---

[1] *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6, с. 167.

жались и переплетались в труде одних и тех же людей. В комсомольской среде того времени отказ выйти на ночной субботник считался позором, прогул в дневную смену — делом обычным, не стоящим серьезного внимания[1]. По всей видимости, уровень добросовестности, в отличие от уровня квалификации, в первые годы социалистических преобразований был выше, чем в последующие. Должно было пройти определенное время, чтобы во всей полноте выявился формальный характер обобществления без демократии, чтобы работники ощутили (если не осознали) ограниченность своего хозяйского положения и участия в управлении производством. Тем не менее ясно, что отчужденное отношение к труду и в 30-е годы имело массовое распространение.

Об этом, кстати, говорят характерные для тех лет попытки поднять дисциплину и улучшить качество труда с помощью суровых наказаний. В своем месте мы уже говорили о введении тюремного заключения за прогулы и опоздания на работу. Мы никак не хотим оправдывать подобные меры. Помимо безнравственности и социальной несправедливости использование уголовного преследования для поддержания трудовой дисциплины в современном производстве совершенно неэффективно. Оно лишь усиливает отчуждение и усугубляет недобросовестность работников, одновременно сковывая боязнью суда всякое их стремление к инициативе. В конечном счете превращение тюрьмы в элемент повседневной практики трудовых отношений оказалось одной из тех бессмысленных жестокостей, которыми авторитарно-деспотический режим то и дело нарушал нормальное течение экономической и социальной жизни.

Но меры эти с чрезвычайной выразительностью показывают, что наличие недисциплинированности и недобросовестного отношения к труду воспринималось современниками как очевидный, бесспорный факт, оказывающий существенное влияние на все функционирование народного хозяйства. И если в стахановском движении выявляется социалистический потенциал перестройки 30-х годов, то длительное и повсеместное сохранение отчужденного труда, более того, привычная обыденность его противоестественного сосуществова-

[1] См.: *Лацис О.* Перелом.— Знамя, 1988, № 6, с. 165.

ния с трудом стахановского типа есть верный признак того, что в рамках режима, не дающего перейти от формального обобществления к обобществлению «на деле», этот потенциал мог реализоваться только частично, в исковерканном и искаженном виде.

Отсутствие демократии рождало уродливую двойственность массового поведения не только в труде. Противоположность между созидательным, социалистическим началом, присущим экономическому порыву первых пятилеток, и растущей антидемократичностью политических порядков еще ощутимее сказывалась в сфере общественной деятельности, вообще там, где человеческие действия связаны с исполнением гражданского долга.

Преобразования 30—40-х годов давали огромному большинству народа ощущение причастности к великим переменам в судьбах общества. Пусть эта причастность не всегда и не всеми сознавалась с полной теоретической ясностью. Пусть в сознании разных людей на первый план выходили различные стороны преобразований: у одних — понимание их общемировой, интернациональной направленности к воплощению всечеловеческой мечты о социальной гармонии, у других — патриотическая гордость их значимостью в борьбе за преодоление отсталости и усиление державной мощи страны, у третьих — сочетание того и другого. Так или иначе, поворотные события времени рождали и развивали в массовом сознании чувство участия в небывалом, великом деле, создавали условия, в которых основная масса советских людей воспринимала себя в качестве первопроходцев, от которых в решающей мере зависит будущее человечества и страны.

Высокие слова всегда таят в себе опасность схематизации. Постараемся помнить, что ощущение социалистического первородства никак не исчерпывали мыслей, чувствований, действий советских людей. Повседневные отношения и повседневные заботы (в том числе не только добрые и благородные) занимали в их сознании не меньше места, чем душевные движения, обусловленные их вовлеченностью в исторические действия всенародного и всемирного масштаба. Но важно, что судьбоносные общественные сдвиги действительно воздействовали на массовое сознание и составляли, таким образом, один из новых, длительно действующих факторов общественного поведения.

Думается, что рост героического начала в жизни советского народа образует закономерное следствие появления этого фактора. Уже предвоенные 30-е годы показали множество примеров мужества и самоотверженности советских людей в борьбе с естественными трудностями и внешним врагом. Покорение Арктики, невиданные воздушные перелеты, первые военные столкновения выявили сотни и тысячи истинных героев. Но, конечно, подлинные масштабы повышения, если так можно выразиться, народной способности к подвигу раскрыла великая война с фашизмом. Хотя порой кажется, что слова о всенародном героизме затерлись от частого употребления, но правда от этого не меняется. Героизм Великой Отечественной войны носил действительно всеобщий, всенародный характер.

Было бы ошибкой считать, что всенародная доблесть военного времени явилась следствием только и исключительно тех социальных, идейных, культурных сдвигов, которые произошли за годы Советской власти. Бесспорно, огромную роль здесь сыграли подъем общепатриотического чувства, традиционная российская готовность храбро, самоотверженно, беззаветно отстаивать Отечество против любого внешнего врага. И все-таки, отдавая должное традиционному патриотизму и традиционной воинской доблести, нельзя не видеть, что мужество и героизм советского народа в Великой Отечественной войне превосходят все, что бывало в нашей истории прежде.

Как и в отношении индустриализации, очень наглядно в данной связи сопоставление с массовым сознанием и массовым поведением народа в первой мировой войне. Тогда страна воевала с тем же противником, что и в 1941—1945 гг. Воевало предшествующее поколение, а частично и те люди, которые потом участвовали в Великой Отечественной войне. Так что национальные патриотические традиции сказывались в первом случае ничуть не меньше, чем во втором. Притом тяжесть столкновения с кайзеровской Германией, ведшей войну на два фронта и державшей главные силы на Западе, была несравнимо меньше того, что пришлось выдержать нашей армии и нашему народу в борьбе с Германией гитлеровской, основная мощь которой все четыре года была направлена против нас. И все же Великая Отечественная война закончилась полной победой советского народа.

Разумеется, и в первой мировой войне солдаты и офицеры русской армии показали немалое мужество. Но его все же не сравнить с всенародным героизмом 1941—1945 гг., который проявляло подавляющее большинство советских людей — мужчины и женщины, солдаты и офицеры, рабочие и крестьяне. В сопоставлении Великой Отечественной войны с первой мировой выступают не только реальные оборонные преимущества форсированной индустриализации (сравнительно с индустриализацией обычного капиталистического типа, какая развертывалась в России начала XX в.). Столь же отчетливо выявляется тут сила советского патриотизма, т. е. подъем народной активности в борьбе с внешним врагом, достигаемый на основе соединения тысячелетней патриотической традиции с мироощущением, появившимся в итоге социальных и культурных преобразований Советской власти (сравнительно с активностью, возникающей на основе обычного национально-государственного патриотизма).

Короче, рост народной доблести в преодолении внешних угроз и препятствий, мешающих стране, обществу, коллективу, образует такое же закономерное следствие коллективистской, творческой стороны преобразований 30-х годов, их размаха и заключенного в них потенциала прогресса, как и стахановское движение. К несчастью, господство самовластного политического режима оборачивалось тем, что массовое исполнение общественных обязанностей и общественного долга, как и массовое отношение к труду, раздваивалось, наполнялось антиномиями, неразрешимыми противоречиями.

Неограниченный произвол и требование беспрекословного подчинения препятствовали развитию чувства ответственности, инициативы, самостоятельности, способствовали росту низких нравов, интриг, двуличия в сфере общественной деятельности. Беспрерывные и непредсказуемые репрессии лишали людей гражданского мужества, делали страх постоянным, привычным (и потому почти незамечаемым) фоном человеческого самочувствия. Небывалая в прошлом массовая неустрашимость в борьбе с очевидным, ясным внешним врагом сочеталась со столь же массовым распространением робости (если не прямой трусости) при отстаивании своего мнения, своей независимой позиции, при необходимости противостоять дурному приказу, распоряже-

нию, установке сверху. В поэтическом образе, рисующем «тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою»[1], символически отразилась гражданская раздвоенность едва ли не целых поколений и целых общественных групп.

Годы террора и самовластья сделали обычным положение, при котором отказ от всякой самостоятельности в политической сфере, слепое подчинение любым директивам (подчас совершенно безумным), перестраховка, боязнь ответственности стали столь же массовыми чертами нашего повседневного общественного поведения, как и военное мужество или самоотверженность в борьбе с естественными стихиями. Более того, постоянное присутствие страха в обществе, подчиненном господству необъятной личной власти, равно как и уродующее моральную атмосферу идейно-пропагандистское давление подобной власти, способствовали прямому росту политической подлости и политической безнравственности. Доносы, клевета, политические оскорбления и заушательства вошли в обиход общественной жизни, обратились в часть быта.

Почти во всех беззаконных репрессиях, затронувших в 30—40-е годы миллионы людей, использовались заявления и сообщения знакомых, сослуживцев, соседей, иной раз друзей и родственников пострадавших. Вот что говорит о 30-х годах старая большевичка Д. А. Лазуркина, испытавшая судьбу многих соратников Ленина — сначала царские тюрьмы, потом революция и борьба за социализм, затем сталинские лагеря: «Господствовал не свойственный нам, ленинцам, страх. Клеветали друг на друга, не верили, клеветали даже на себя. Создавали списки для ареста безвинных людей»[2].

Правда, часть оговоров была получена в тюрьмах с помощью избиений, физических и моральных пыток (о которых говорилось выше), т. е. в условиях, когда этическая оценка подписания заведомо ложных бумаг становится затруднительной («Нас били, чтобы мы клеветали»,— отмечает та же Д. А. Лазуркина[3]). Но ведь были и миллионы людей, писавших доносы без физического принуждения, уступая, так сказать, обществен-

---

[1] *Бродский И.* На смерть Жукова.— Нева, 1988, № 3, с. 106.

[2] XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет, т. 3, с. 120.

[3] Там же.

ному давлению, а то и вполне добровольно. Среди этих последних одни были искренне убеждены в том, что делают благое дело (вот уж где недомыслие, простота хуже воровства), другие же вообще забывали о совести и просто стремились использовать донос в корыстных целях.

Однако в обоих случаях речь идет о сотнях тысяч и миллионах наших сограждан и соотечественников. В Киеве, например, в 1937—1938 гг. «были поданы политически компрометирующие заявления почти на половину членов городской парторганизации, причем большинство заявлений оказалось явно неправильным и даже провокационным» [1]. И ведь подобные заявления «подавались» не в одном лишь Киеве и не только в 1937—1938 гг. Причем доносы зачастую писали вовсе не одни разложившиеся мерзавцы, но люди, каждый из которых в иных обстоятельствах мог оказаться (и нередко оказывался) хорошим семьянином, храбрым воином, добросовестным работником.

Конечно, сообщение властям о заведомо готовящемся преступлении есть долг гражданина, хотя в нравственном развитии человечества осуждение недоносительства никогда не было совершенно однозначным. А уж в тайном политическом обвинении всегда остается привкус безнравственного наушничества. Но даже принимая неизбежность использования в той или иной мере тайных видов информирования власти о настроениях и намерениях граждан, надо признать, что обстановка, в которой донос как форма исполнения гражданского долга оценивается так же высоко, как воинская или трудовая доблесть, и явно выше, чем самостоятельность, принципиальность, товарищеская верность, обычная честность,— такая обстановка есть свидетельство нездорового раздвоения массового сознания и массового поведения. Когда же прославление доносительства достигает уровня, на котором вся мощь пропаганды направляется на то, чтобы выставить в качестве идеала несчастного мальчика, который доносит на своих близких, тогда раздвоение становится источником болезненных явлений, грозящих в конце концов устоям общественной нравственности.

Обусловленная господством деспотической власти распространенность двойного сознания и двойного поведения в труде и общественной жизни имела тем

---

[1] КПСС в резолюциях..., т. 5, с. 308.

более опасные последствия, что она дополнялась и усугублялась раздвоением многих сфер культуры в их высших, идеологизированных, институционализированных формах. Сразу же оговоримся, что несомненная двойственность нашей культуры в 30—40-е годы (отчасти и впоследствии) представляет собой многосложный итог совместного воздействия ряда очень различных процессов. Сегодня, на нынешнем уровне наших знаний, мы не решились бы даже сказать, что политический режим был здесь (в отличие от массового трудового и политического поведения) главной причиной раздвоения.

Очень вероятно, что не меньшую (если не большую) роль в раздвоении культуры сыграла сама стремительность цивилизационных перемен в 30—40-е годы. К участию в культурной жизни, к повседневному потреблению ее плодов в течение одного-двух десятилетий приобщились десятки миллионов людей, которые в это время обрели грамотность и получили образование. Культура мгновенно, скачком выросла «вширь», и это, естественно, замедлило ее движение «вглубь». Многомиллионная масса новых потребителей современной культуры не могла сразу же освоить все ее вершины. Движение к ним должно было иметь постепенный характер; большинству народа как бы предстояло заново пройти путь культурного развития, уже пройденный интеллигенцией, так называемыми образованными классами, на протяжении многих предшествующих десятилетий.

Например, в области литературы, искусства вообще основной части народа надо было сначала овладеть тем, что создала классика, и лишь затем переходить к вырастающим из нее достижениям XX в. Эти последние молодому культурному сознанию нередко казались (зачастую и сейчас кажутся) бессмысленными модернистскими вывертами, тогда как для лучших мастеров художественной культуры и ее наиболее зрелых потребителей они были естественным и органическим продолжением всемирного культурного развития. Определенное сосуществование и переплетение разных уровней культуры становилось в этих условиях не только неизбежным, но и необходимым, функционально полезным с точки зрения общественного прогресса [1].

[1] См. подробнее: *Поспелов Г. Г.* Еще о периодизации советского искусства.— В кн.: Советское искусствознание, 76. Вып. 2. М., 1977, с. 31—44.

Понятно, что подобную двухслойность культуры 30—40-х годов нельзя прямо относить к последствиям антидемократических политических порядков. Но с такими порядками непосредственно связаны некоторые другие раздвоения «высокой» культуры, напоминающие общую раздвоенность повседневной жизнедеятельности, о которой шла речь раньше. Как и все современники, профессиональные деятели культуры — от рядовых учителей, библиотекарей, музейных сотрудников до крупных ученых, художников, идеологов — сознавали грандиозные масштабы и историческую значимость многих событий, участниками которых они стали в 30—40-е годы. Скорее всего, они сознавали величие совершающегося даже яснее, чем остальные, ибо по природе своих занятий обладали большими знаниями, большим кругозором, большей способностью к рефлексии, более острой эмоциональной реакцией. Одновременно и по тем же причинам они сильнее всех ощущали (а иные из них и сознавали) противоречивые последствия господства политического деспотизма, противоестественность его соединения с социализмом.

Сверх того при отсутствии демократии деятельность по созданию и распространению духовных ценностей подвергалась беспощадному организационно-политическому давлению. Все ее формы и все ее стадии становились предметом неусыпного контроля, детального регулирования, постоянного вмешательства со стороны политических и идеологических организаций. С особой силой прямой политический нажим сказывался в таких сферах культуры, как обществоведение, искусство, воспитание. Возмутительно хамский тон и грубость «ждановских» постановлений 40-х годов, касавшихся литературы, музыки, философии, не означают, к несчастью, что эти постановления были исключениями. Они — просто крайнее, своего рода чрезвычайное проявление общих, типичных форм управления культурной в обществе, где авторитарно-деспотический режим составляет политическую надстройку административной экономики.

В подобных условиях истинный и всесторонний анализ общественной жизни, до конца искреннее отражение ее в искусстве, правдивая пропаганда и правдивое воспитание оказывались невозможными. В итоге параллельно с «нормальным» сосуществованием разных пластов культуры, отражавшим неодинаковый культурный

опыт разных слоев народа, развивалось болезненное раздвоение самой культуротворческой деятельности. Развивалось с такой же неизбежностью, с какой возникало раздвоение массового труда, быта, исполнения гражданского долга. Анализом и прославлением того, что было в обществе истинно социалистического и гуманистического, просвещением масс, приучением их к цивилизации советская культура отражала действительность, служила правде, прогрессу, движению к материальному и духовному совершенству. Замалчиванием противоречий, приукрашиванием и упрощением реальных процессов, прямой ложью, в которой сознательно или бессознательно творимое зло объявлялось добром, просчет — мудростью, преступление — добродетелью, она искажала действительность, способствовала самоослеплению народа, его разложению, превращению разрыва между словом и делом в постоянную черту общественной жизни.

В определенном смысле созданная господством самовластья раздвоенность культурного творчества имела более пагубные последствия, нежели другие формы двойственной социальной активности. Осознанное отношение к действительности и повышенное образование по природе вещей присущи культуротворческой деятельности и связанным с нею работникам. Возможности искренней двойственности здесь поэтому сравнительно невелики. В отличие от массовых видов труда в материальном производстве или исполнения всеобщих гражданских обязанностей в научной работе, искусстве, воспитании двойной характер деятельности, если он имеет место, хотя бы смутно, временами сознается человеком. Соответственно, двойственность культуры очень часто выступает не в виде несознаваемой, объективной противоречивости поведения, но как прямое лицемерие, неискренность, обман или в лучшем случае самообман.

Причем, чем талантливее деятель культуры, тем чаще и яснее ощущает он неизбежные в рамках недемократического режима элементы лицемерия в своей деятельности. Лишь неглубокий ученый, бесталанный художник, слабый учитель способны искренне игнорировать действительность, «невстраивающуюся» в официальные схемы, с легким сердцем действовать по даваемым извне указаниям, менять свои представления, вкусы, пристрастия в строгом соответствии с текущими

политическими установками. Между прочим, по этой причине (хотя и не только по ней одной) десятилетия принижения демократии стали в обществоведении, искусстве, образовании временем относительного ослабления всего, что отличается талантом, «лица не общим выражением», и относительного усиления серости, стандарта, неоригинальности.

Внедрение элементов двоедушия на всех уровнях человеческой деятельности — от повседневных рутинных поступков, совершаемых почти автоматически, до обдуманных и сознательно выполняемых действий в области теоретического познания, художественного творчества, принятия политических решений — составляет почти такое же страшное следствие подрыва социалистической демократии, как и кровавые репрессии. Все яснее становится, что двойное сознание и двойное поведение миллионов людей, в том числе людей, призванных быть учителями и руководителями народа, неизбежно и неуклонно растлевает общество. Даже те, чья двойственность имела первоначально, так сказать, наивный, неосознанный характер, кто искренне не замечал своей непоследовательности и ощущал себя целостным и прямодушным, со временем стали в той или иной мере жертвами душевной коррозии. В последующих поколениях эта бессознательная нравственная червоточина нередко приводит к проявлениям открытого аморализма и бездуховности.

Что же касается раздвоения высокой культуры и общественной мысли в 30—40-е годы (да и впоследствии), его результаты оказывались еще более губительными. Прежде всего страдало нравственное здоровье творцов культуры. Притом страдало особенно сильно, ибо им почти невозможно было не сознавать присутствия двойственности, если не прямой лжи, в требованиях, которые власть предъявляла к творческой деятельности. Художники и идеологи (по крайней мере наиболее глубокие и талантливые среди них) должны были либо отказаться от нормального контакта с народом, либо сознательно согласиться с неполным, не до конца искренним отношением к действительности, когда в лучшем случае глубоко, последовательно, честно осваиваются и анализируются одни стороны действительности, но замалчиваются, игнорируются другие, в худшем же случае обнаруживается низкое угодничество и лживое искажение действительности в целом.

А дальше, так или иначе отразившись в произведениях науки, искусства, идеологии, раздвоение культуры и ее мастеров становилось дополнительным источником развития двойных стандартов у массы потребителей этих произведений — читателей, зрителей, слушателей, учеников.

Оценивая широкое распространение двойного поведения в труде, общественной жизни, культуре, важно подчеркнуть, что негативное воздействие подобной двойственности не ограничивается сферой индивидуальной нравственности. Очень велико также социально-политическое значение данного обстоятельства. Сознательное или бессознательное двоедушие порождалось социально-политическим состоянием общества, глубоким разладом между индустриально-экономическим прогрессом страны, питавшим энтузиазм, социалистическую устремленность, патриотизм народа, и удушающим господством самовластья в сфере политики. Но вырастая из определенных экономических, социальных, политических противоречий, двойное сознание (или, быть может, подсознание) начинало оказывать заметное обратное влияние. Оно превращалось в самостоятельную силу упрочения антидемократических порядков, придавало им особую живучесть и устойчивость.

Здесь нужно принять в расчет, что в политике двойственное сознание и двойственное поведение, то, что на политическом языке называется расхождением между словом и делом, образует очень эффективный механизм сдерживания демократии. Конечно, прямое ограничение или уничтожение демократических институтов, замена демократически избираемых органов управления всесилием иерархически построенного административного аппарата, открытая ликвидация гласности, идеологическая дискредитация плюрализма в социалистической политике, наконец, политические репрессии и порождаемая ими боязнь свободной критики и широкой политической инициативы — все это дает еще более мощные средства для понижения уровня демократизма в обществе. В конкретном историческом развитии нашей страны именно эти средства сыграли главную роль в первоначальном толчке при переходе от демократического централизма, преобладавшего в партии и Советах до второй половины 20-х годов, к авторитарно-деспотическому режиму последующих десятилетий. В сущности, они сохраняли решающее значение вплоть до кон-

ца того периода, когда у руководства страной стоял И. В. Сталин.

Однако наибольшую прочность подмена социалистической демократии авторитарным деспотизмом получает тогда, когда вместе со средствами прямого устранения демократических механизмов (или даже вместо них) используются методы двойного политического поведения. Можно, например, открыто установить вместо власти Совета власть ревкома, как это приходилось делать во многих районах страны в годы «военного коммунизма». А можно провозгласить Советы верховной властью, но если одновременно стихийно или сознательно устанавливается порядок, при котором любое мало-мальски серьезное решение директивно предопределяется соответствующим партийным комитетом, положение окажется примерно таким же, как и при прямой власти ревкома.

Можно — и это бывает необходимым в чрезвычайных обстоятельствах — прямо назначать политических руководителей, скажем, вводить должности парторгов ЦК, начальников политотделов МТС, комиссаров и т. п. Но можно сохранять по существу ту же систему, провозглашая свободу выборов партийных руководителей «снизу доверху» при том условии, что вводится всеобщее правило — пусть и неписаное — выдвигать из состава партийного комитета одну рекомендованную вышестоящей инстанцией кандидатуру на каждый руководящий пост и затем избирать ее открытым голосованием.

Можно прямо применять систему внесудебных уголовных наказаний, подобную тем, что назначались особым совещанием при ОГПУ, НКВД, МВД, чрезвычайными тройками и другими аналогичными органами, хотя в отличие от ревкомов или назначенных парторгов для широкого развития подобной системы трудно найти оправдание в каких бы то ни было обстоятельствах. Но можно фактически сохранить систему внесудебных, внезаконных кар, даже записав в закон запрет любого наказания иначе как по решению независимого суда. Для этого достаточно, чтобы в повседневной практике существовало «телефонное» право, в соответствии с которым представители политических органов имеют фактическую власть и возможность оказывать давление на суд, требовать от судей определенных приговоров или отказа от них.

И так далее и тому подобное. Можно привести десятки примеров, свидетельствующих, что нарушения демократии в нашем обществе обусловливаются (и обусловливались в прошлом) не только наличием недемократических нормативных актов или инструкций, но также и распространением двойных стандартов политического поведения. В таком поведении принимаются и признаются, причем обычно вполне искренне, многие демократические принципы и одновременно столь же искренне считается возможным и даже полезным использование различных способов их фактического несоблюдения.

Искренность, привычность непоследовательности — тут основное. Пока двойственность собственного поведения сознается основной массой людей, участвующих в политике, это поведение остается просто лицемерием; оно не образует независимый фактор поддержания недемократических порядков, но составляет лишь прикрытие, маскировку других, реальных факторов и сил — насильственного принуждения, корыстных интересов и т. п. Достаточно преодолеть давление последних, скажем, ослабить репрессивный аппарат, обеспечить соблюдение демократических процедур, изменить условия жизни и деятельности отдельных социальных групп, приводящие их интересы в противоречие с интересами большинства, и политическое лицемерие потеряет всякое значение.

Когда же двойное поведение входит «в культуру, в быт, в привычки», перестает замечаться людьми, теряет чрезвычайность и становится обычной, само собой разумеющейся нормой, тогда оно оказывается чем-то гораздо более существенным, нежели простое лицемерие. Сделавшись частью автоматического, неосознаваемого поведения, расхождение слова и дела обретает страшную силу привычности, обыденности, традиции. И в этом случае двойной стандарт в политической жизни получает своего рода самостоятельную устойчивость.

Подобная устойчивость означает, что раздвоение массовой деятельности в политике, ставшее привычкой, как бы проходящее мимо сознания, может долгое время существовать и своим существованием ограничивать, искажать демократию даже после того, как исчезают другие, более острые факторы, препятствующие росту демократизма. По пушкинскому слову, в частной жизни

человека привычка есть «замена счастию». В политике она иной раз выступает «заменой» устрашения и репрессий.

Политическое значение раздвоенности массового сознания и массового поведения в повседневной жизни, равно как и неполной искренности в культуре, в том и состоит, что на этом фоне и в этой обстановке ускорялось привыкание к двойному стандарту в политике. Коль скоро вся жизнедеятельность приобрела двойственный характер, расхождение политического слова и дела легче и быстрее, чем в иных обстоятельствах, проходило путь от вызывающего возмущение лицемерия к повседневной привычке, которой следуют, не колеблясь и не раздумывая.

Именно поэтому в эпоху, когда советский народ, осуществляя благое дело социально-экономического развития и готовясь к правому бою с фашизмом, одновременно принял политический режим безграничного самовластья, двойное сознание и двойное поведение стали привычными для миллионов людей. Едва ли не у большинства определенные формы двоедушия и двоемыслия быстро приобрели автоматический, почти, а то и совершенно искренний характер. Соответственно недемократические порядки обретали устойчивость, достичь которую было бы невозможно, если бы они поддерживались только социальными и политико-административными факторами, первоначально обеспечившими установление подобных порядков.

После смерти И. В. Сталина прекратились массовые репрессии, столь характерные для 30—40-х годов. В 60—70-е годы выросли образованность и благосостояние, исчезли многие другие социальные условия, воздействие которых в прошлом привело к торжеству административной системы в экономике и авторитарного режима в политике. И если все же демократические сдвиги 50—60-х годов, равно как и попытки экономических реформ в 60—70-е годы, остались незавершенными, то в немалой мере объясняется это именно силой привычки к двоедушию и двоемыслию. Здесь важная причина того, что непоследовательность и половинчатость действий политического руководства не встречали возражений или вообще оставались незамеченными. Что развитие негативных тенденций и кризисных явлений не подвергалось полному и объективному анализу. Что правильные решения, законно принятые

и широко провозглашенные, осуществлялись не полностью, при сохранении многих форм общественной жизни, несовместимых с этими решениями, фактически сводящими их на нет.

Как во многих других случаях, и теперь, в конце наших размышлений о последствиях сталинизма, остережемся упрощений. Тем более что прямолинейное выведение всех сегодняшних наших недугов только из обстоятельств 30—40-х годов несет в себе безнравственный оттенок перекладывания на других собственных ошибок и слабостей. В конце концов главную ответственность за события той или иной эпохи должны нести поколения, которые жили в ней, а не их предшественники. В данной связи важно принять в расчет, что незавершенность начавшегося было в 50—60-е годы перехода от раннего, авторитарно-директивного и монопольно-централизованного социализма к социализму развитому, хозрасчетному, соревновательному, демократическому обусловлена в первую очередь не состоянием сознания, но соотношением социальных сил, сопротивлением групп, получающих в рамках административно-директивной системы определенные привилегии и потому заинтересованных в сохранении отживших порядков.

Кроме того, сила привычки к двойному поведению многократно выросла под воздействием новых условий, проявившихся уже после завершения рассматриваемого здесь периода, в 50—70-е годы. Фальшь официальной пропаганды, расхождение слова и дела в некоторых сферах общественной жизни достигли в это время еще больших масштабов, чем это было в 30—40-е годы. Прекратились массовые репрессии, уменьшился страх беззаконного наказания, и в этом смысле сократился разрыв между нормами закона и политической практикой. Но вырос размах дифференциации основной части населения по уровню материального положения, и, что еще важнее, дифференциация стала видимой, открытой, оскорбляющей народное чувство справедливости. Более того, широко распространились спекуляция, коррупция и другие корыстные преступления, в целом ряде мест произошло сращивание звеньев партийного и государственного аппарата с преступными элементами. В итоге сознаваемый и ощущаемый разрыв между нормами нравственности и повседневной социально-бытовой реальностью стал больше, чем когда-либо за годы

Советской власти. Подобные «новые» условия способствовали двойному поведению столь же непосредственно, как и условия самовластья 30—40-х годов. Да и «старые» условия формировали двоедушие в 50—70-е годы едва ли не эффективнее, нежели прежде. Здесь сказывалась сама продолжительность влияния этих условий. Одна и та же ситуация после 30—40 лет существования действует сильнее, чем после 10—20.

Последнее обстоятельство стало, в частности, сказываться и в партии. Л. А. Оников, который, как уже упоминалось, специально анализировал последствия извращения ленинских принципов партийного строительства, отмечает, что в партии за долгие годы «застоя, особенно в его последние годы, демократическая ценность выборности практически снизилась до нуля, превратилась в пустейшую формальность» [1]. Дело дошло до того, что, к примеру, на конференциях таких ведущих организаций КПСС, как Московская городская и Московская областная, все члены и кандидаты в члены комитетов и члены ревизионных комиссий — а это многие десятки людей — избирались единогласно. Понятно, что ничего, кроме ощущения «нормальности» фальши, такое единогласие не давало. В том же направлении действовало сочетание быстрого роста рядов партии (с 8 млн в начале 60-х годов до 19 млн в середине 80-х) и сохранение закрытости, засекреченности от коммунистов работы районных и более высокого уровня комитетов. Подобное положение усиливало раздвоенность массового сознания, вело к тому, что миллионы людей, постоянно слыша, что партия образует союз единомышленников, одновременно «под партией стали понимать райкомы, горкомы, обкомы... А то и еще у́же — бюро во главе с «первым» и штатный аппарат комитета» [2].

Разумеется, надо иметь в виду, что в это же время появилось большее, чем прежде, количество людей, последовательно отстаивающих свои убеждения. Достаточно упомянуть имя академика А. Д. Сахарова, чтобы убедиться, что политическая честность и гражданское мужество не вовсе исчезли в нашем обществе. Известно также, что мартовско-апрельский поворот 1985 г. стал возможен в том числе и потому, что у ряда партийных

---

[1] Восстанавливая ленинскую концепцию партии.— Правда, 1989, 2 января.
[2] Там же.

руководителей и видных ученых этому повороту, по словам М. С. Горбачева, «предшествовал определенный период аналитических размышлений, нравственных оценок» [1]. В целом тем не менее преодолеть двоедушие в 50—70-е годы и даже в начале 80-х годов смогла лишь сравнительно небольшая часть народа.

В общем, застой внес свой — и немалый — вклад в развитие двойного сознания. Быть может, двоедушие и двоемыслие потеряло в последние десятилетия изрядную долю своей прежней наивной искренности. Но оно стало еще более распространенным и более глубоким, нежели раньше.

Все это так. Но все это не меняет того факта, что первоначально ситуация, формирующая привычную и в некоторых отношениях почти всеобщую двойственность сознания и поведения, возникла вследствие утверждения в обществе, устремленном к социализму, антидемократического политического режима, противоречащего социальной и этической природе гуманного социалистического идеала. В подобной антиномии исток болезненного процесса, здесь та разрушенная, отклонившаяся от нормы «клеточка» общественных отношений, ненормальность которой спровоцировала и ускорила рост злокачественной опухоли двоедушия.

Без понимания этой связи невозможно преодоление массовости и автоматизма двойного поведения. Ибо в преодолении двойственности помимо демократизации общественно-политических условий (что, конечно, абсолютно необходимо) требуется еще и собственный «труд души» каждого человека, стремящегося быть гражданином. Один из самых чистых и нравственных творцов российской культуры, А. П. Чехов, вспоминал, как он «по капле» выдавливал из себя раба. Сегодня большинству из нас надо по капле выдавливать из себя рабскую привычку к двойному слову, двойственному чувству, непоследовательным, противоречивым действиям. И надежды на успех в этом саморазвитии тем больше, чем яснее сознаются исторические корни двоемыслия. Иначе неосознанное давление традиции, обыденности, обычности может оказаться слишком мощным и привычка к двойному стандарту еще долго не отпустит наши души.

---

[1] Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки.— Правда, 1989, 8 января.



V

ОТ СТАЛИНИСТСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ К ПЕРЕСТРОЙКЕ И ОБНОВЛЕНИЮ СОЦИАЛИЗМА

1. Конец форсированной индустриализации и необходимость перестройки порядков, сложившихся в 30—40-е годы
2. Ограниченность сдвигов в 50—70-е годы. Смена вариантов вместо изменения системы
3. Цена половинчатости: накопление хозяйственных и социально-экономических противоречий
4. Неиспользованный потенциал социального развития и потребность обновления
5. Перспектива преодоления сталинистского наследия в условиях перестройки

1. Конец форсированной индустриализации и необходимость перестройки порядков, сложившихся в 30—40-е годы

Не станем завершать наши размышления о событиях 30—40-х годов классическим заключением, претендующим на обобщенную оценку всего многообразия противоречивых процессов и преобразований, составивших содержание этой эпохи. Такая оценка вряд ли возможна сегодня, тем более на основе одних только общеизвестных и общедоступных материалов, анализом которых ограничена настоящая работа. Мы надеемся, что новое прочтение подобных материалов полезно, что оно является шагом на пути к более глубокому пониманию того, что тогда случилось с нами. Но оно все же недостаточно для полного, всестороннего постижения этого великого, страшного и во многом очень загадочного периода нашей истории. Новое прочтение известных материалов должно быть дополнено новыми данными из закрытых архивов, засекреченной прежде статистики, неопубликованных обследований и воспоминаний, и лишь тогда попытка суммарного обобщения приобретает действительно научный смысл.

В современных же условиях фундаментальные обобщения, пожалуй, невозможны, а поспешные не нужны. Сегодня, в момент перестройки и обновления нашей жизни, неизбежным оказывается отказ от некоторых привычных и дорогих многим из нас представлений о прошлом, о том, что мы считали своей славой и гордостью. Отказ этот необходим, без него не будет здорового социального и нравственного развития общества. Однако переосмысление традиционных исторических представлений, ценностей, символов никогда не бывает легким, безболезненным делом. Более того, чтобы это

болезненное переосмысление оздоровило общественное сознание, чтобы его итогом явилось не циничное отрицание всякого добра и величия в прошедших эпохах, но именно выявление подлинного добра, отделение его от зла, лжи, ошибок, рядящихся в одежды добра, для всего этого очень важно самостоятельное участие каждого из нас в подобном переосмыслении.

Слом старых представлений не пойдет на пользу, если новые представления будут по-прежнему навязываться народу, внушаться ему в форме безапелляционных суждений, выступающих в виде бесспорных и окончательных истин. В эпохи, подобные нашей, историкам, стремящимся уйти от мифов и легенд, увидеть прошедшее и показать его таким, каким оно было в действительности, совсем не обязательно однозначно формулировать обобщающие заключения. Иной раз лучше оставить изложение как бы открытым, чтобы читатель мог сам оценивать представленные на его суд факты, суждения, частные обобщения и сам делать итоговые выводы. Именно такой подход кажется нам наиболее подходящим в данной работе.

Соответственно вместо обычного заключения, содержащего суммарно обобщающую оценку эпохи, мы хотим посвятить последнюю главу этой книги некоторым соображениям, касающимся того, как соотносятся процессы, протекавшие в 30—40-е годы, с тем, что происходило в советском обществе впоследствии, и с тем, что происходит сейчас, три-четыре десятилетия спустя.

И раз уж мы не беремся достичь «последней истины» в основной части нашей работы, говоря о природе сталинского времени и его соотношении с предшествующим периодом, наивно полагать, что в беглых и во многом гипотетических заключительных заметках можно исчерпывающим образом выявить связь этого времени с тем, что случилось потом, и с тем, что происходит теперь. Однако подумать о месте 30—40-х годов в перспективе последующего общественного развития все-таки стоит. Ибо именно стремление понять, как воздействует эта эпоха на нашу жизнь, что в ее наследии можно безоговорочно или с оговорками принять, а что следует с раскаянием и ужасом отринуть, есть, наверное, самое главное, зачем, собственно, надо ворошить грязное и кровавое «белье» сталинских десятилетий. Да и сами преобразования 30—40-х годов, сами

сочетания слагающих их зерен и плевел становятся гораздо более четкими в свете дальнейшего хода истории.

Пусть то, что мы сумеем сказать здесь, будет скорее нащупыванием вопросов и подходов, чем постижением окончательных ответов. Не беда. Путь познания всегда начинается с вопросов, с частичных, схематичных ответов и лишь в конечном счете, в итоге коллективных и длительных усилий, приводит к более или менее полному, более или менее всестороннему ви́дению исторического движения в его живом и меняющемся многообразии. Так что не станем страшиться незавершенной, вопросительной ноты в конце.

Логически представляются возможными и ясными два подхода к решению вопроса о том, как соотносятся процессы 30—40-х годов с проблемами нашего времени. Оба эти подхода нашли достаточно широкое отражение в общественном сознании последних лет. В простейшем из них предполагается (иногда явно, иногда неявно), что события 30—40-х годов лишь очень косвенно связаны с сегодняшними проблемами. То, что произошло в сталинские времена, рассматривается здесь как дела давно минувших дней, так или иначе «перекрытые» последующим тридцатилетием. Потребность в перестройке и ускорении экономического роста (которому придается первостепенное значение) выводится в этом случае по преимуществу из застойных процессов 60—70-х годов. Что касается сталинизма, его разоблачение считается необходимым преимущественно в качестве средства предотвращения крайностей культа личности и политических эксцессов вроде предвоенных и послевоенных репрессий.

В рамках другого подхода сегодняшняя перестройка прямо и непосредственно связывается с деформациями сталинского периода. Застой последующих лет толкуется тут почти буквально, чуть ли не как бы полная неизменность. Согласно этой точке зрения, в 50—70-е годы не было серьезных сдвигов, и советское общество пришло к повороту середины 80-х годов в качественном смысле примерно таким же, каким оно сложилось на исходе сталинского правления. Соответственно все преобразования, назревшие в обществе, всё его обновление связываются, главным образом, если не исключительно, с необходимостью устранить экономические и политические порядки, возникшие при господстве сталинского режима. Процессы 50—70-х годов

выступают здесь как нечто малозначащее, не оказавшее и не оказывающее серьезного влияния на ход перестройки.

Оба эти взгляда кажутся нам упрощением, хотя, конечно, мысль о связи перестройки с преодолением сталинского наследия, по нашему убеждению, содержит в себе несравнимо больше правды, нежели мнение о том, что суть перестройки исчерпывается в основном борьбой с последствиями экономического застоя и разложения верхов в послесталинское время. Помимо всего прочего ни один из этих взглядов не объясняет того поразительного факта, что при явной полярности отношения различных социальных сил, групп, личностей к тем или иным коренным вопросам перестройки практически никто не отрицает необходимости перестройки как таковой. Подавляющее большинство общества хочет глубоких изменений, и в этом смысле у нас действительно нет или почти нет противников перестройки. Единственно возможное объяснение подобной ситуации в том, что речь идет о разных, подчас диаметрально противоположных истолкованиях перестройки.

Но такое положение не может возникнуть в условиях, при которых главные противоречия нашей общественной жизни объясняются по преимуществу чем-то одним: либо процессами 30—40-х годов, либо процессами 50—70-х. В каждом из этих случаев должны были бы существовать и проявляться силы, заинтересованные в сохранении существующих порядков. То же, что составляет реальное противоречие сегодняшней социальной ситуации,— всеобщая поддержка требования коренных изменений при совершенно различном понимании конкретных мер, образующих их содержание,— может возникнуть лишь в том случае, если сама эта ситуация является итогом соединения очень различных процессов.

Современная социально-экономическая и историческая обстановка в советском обществе сложилась, как мы думаем, в результате взаимодействия, своего рода сложения и переплетения последствий того, что произошло в условиях сталинизма, с тем, что случилось в последующие десятилетия. Надеемся, что изложенное выше, в основных разделах данной книги, представление о существе происшедшего в 30—40-е годы дает возможность понять природу этого переплетения.

В самом деле. Несмотря на еще неоконченные споры относительно суммарной оценки итогов того, что случилось в 30—40-е годы, можно, по-видимому, считать очевидным следующее:

— с точки зрения народнохозяйственного, технико-экономического прогресса в стране осуществлялся в это время один из вариантов индустриализации, перехода от доиндустриального и раннеиндустриального технико-технологического типа производства (технологического способа труда, по К. Марксу) к развитому индустриальному типу производства; вариант этот носил форсированный характер в том смысле, что все усилия общества концентрировались на ускоренном развитии тех элементов производительных сил, наращивание которых в глазах политического центра имело первостепенное, приоритетное значение (особенно в плане укрепления оборонной мощи), независимо от того, как сказывалась такая концентрация на остальных сферах общественной жизни;

— с точки зрения социально-экономической происходила смена классической многоукладной экономики переходного типа специфическим вариантом одноукладной раннесоциалистической или деформированной социалистической экономики; подобная смена означала не только уничтожение частной собственности и основанных на ней форм эксплуатации, но и переход от преимущественно экономического к преимущественно внеэкономическому способу регулирования хозяйственной жизни; в существовавшей у нас многоукладной экономике переходного типа действовало множество относительно независимых экономических субъектов (государственных и частных предприятий, кооперативов, мелких единоличных хозяйств), связанных друг с другом товарно-денежными, рыночными отношениями, находящимися под регулирующим воздействием государства, которое держало в своих руках «командные высоты» хозяйства; вместо этой экономики сложилась нерыночная, фактически бестоварная экономика, где почти все элементы полностью подчинены государству (находятся в государственной собственности) и управляются главным образом с помощью внеэкономических, командно-директивных методов (административно-хозяйственная система). Иными словами, произошел переход от саморегулирующейся экономики нэповского типа к регулируемой из политического центра моно-

польно-государственной экономике [1], в которой имелась возможность сосредоточить народные силы на том, что этот центр считал приоритетным как в тех случаях, когда подобное сосредоточение поддерживалось трудящимися, так и тогда, когда народные массы не принимали приоритетов власти; впрочем, большую часть периода 30—40-х годов следует считать даже не переходом к административно управляемой монопольно-государственной экономике (такой переход завершился сравнительно быстро), а временем функционирования этой экономики;

— в политическом смысле шло складывание и развитие беззаконного авторитарно-деспотического режима, подчинявшего общественную жизнь не правовой, а произвольной, командно-приказной власти. Подобный режим обеспечивал, правда, возможность директивного управления экономикой и концентрации ресурсов общества на любых участках, в том числе и на тех, от которых действительно зависело само существование страны и исход ее столкновения с внешним врагом (в этом видели конечную правоту режима многие современники); однако тот же режим уничтожал в зародыше малейшие ростки демократии и правового государства, душил всякую народную самодеятельность, губил почти любую инициативу и потому зачастую вызывал бессмысленное, неоправданное расходование народных сил; одновременно авторитарно-деспотический режим выступал в качестве главного средства поддержания необъятной личной власти И. В. Сталина, давал возможность ему и его окружению осуществлять непрерывные репрессии, направленные на сокрушение реальных или мнимых противников, и еще больше — на поддержание атмосферы всеобщего страха, нужной для защиты не столько общественных интересов, сколько господствующего положения правящей верхушки. Деспотический политический режим позволял тем, кто стоял тогда у руководства страной, творить любые беззакония и любой произвол, избегая ответственности за

---

[1] В прошлом мы использовали выражение «государственно-монополистическая экономика социализма». Более удачный термин — «монопольно-государственная экономика»,— подчеркивающий отличие нашей экономики 30—40-х годов от экономической системы государственно-монополистического капитализма, предложен Ю. А. Васильчуком.

совершение и повторение страшных преступлений, губительных ошибок и промахов;

— в социальном отношении уничтожение остатков капиталистической эксплуатации, ликвидация безработицы, увеличение равенства в отношении возможностей общественного продвижения, труда, получения минимальных жизненных благ противоречиво сочетались с падением или стагнацией жизненного уровня, ухудшением питания и обострением жилищной проблемы. Подобное сочетание было проявлением более общей деформации социалистического развития в рамках форсированной индустриализации и деспотического политического режима; соединение этих экономических и политических особенностей социалистического строительства в 30—40-е годы предопределяло решение проблемы накопления за счет благосостояния народа, свертывание самодеятельности и демократии, превращение основной массы трудящихся в подчиненных работников, а руководителей — в специфический слой, обладающий чертами особой социальной группы; в целом происходило одновременное нарастание всеобщих элементов социализма (преодоление частной собственности, становление планирования, формирование начал общественного равенства) и элементов, характерных лишь для худших вариантов грубого «казарменного коммунизма», а то и прямо антисоциалистических (всеобщее огосударствление, уничтожение демократии, лишение трудящихся хозяйских функций и т. п.);

— наконец, в культурном, идеологическом, социально-психологическом смысле происходил цивилизационный сдвиг, в котором продолжали развертываться противоречия социальных отношений: десятки миллионов людей осваивали начала современной городской культуры, получали образование, приобщались к основам цивилизованного здравоохранения, но при этом грубое и бессмысленно поспешное разрушение устоев традиционного образа жизни и традиционной морали далеко опережало складывание и усвоение нового жизнеустройства. Место еще не развившихся, не усвоенных массами людей тонких и сложных механизмов городской культуры, зрелой социалистической нравственности, идейного богатства демократической цивилизации занимали грубые формы псевдосоциалистической идеологии, в которой элементы гуманистических

и подлинно социалистических ценностей подавлялись идеями упрощенной коллективности, примитивного единства, бездумного подчинения приказу; массовое распространение двоедушия, противоестественное соединение энтузиазма и героического отношения к жизни с падением общественных нравов, с ослаблением роли совести и ощущения личной ответственности, с ростом жестокости и политической бесчестности оказывались следствием подобного положения.

В общем, как бы ни оценивать систему, сложившуюся в 30—40-е годы в целом, ясно, что эта система несла в себе самой необходимость изменения, своего рода потребность в самоотрицании. Похоже, правда, что эту необходимость не слишком отчетливо ощущали люди, жившие в то время. По-видимому, большинству из них — и тем, кто управлял тогдашним обществом, и тем, кто был его «винтиками»,— существовавшие порядки казались чрезвычайно прочными, рассчитанными если не на века, то на очень долговременную перспективу. Но объективно, вне зависимости от состояния массового сознания, дело обстояло иначе.

В конечном счете необходимость перемен вытекала из самой внутренней противоречивости экономических, социальных, политических порядков 30—40-х годов. В двадцатом столетии экономический рост, распространение основ современной цивилизации, принципиальное признание социалистических и гуманистических ценностей нельзя бесконечно сочетать с репрессивным политическим режимом, основанным на произволе и беззаконии, с подавлением свободного развития культуры и идеологии, с отрицанием нравственной независимости и личной ответственности человека. Что-то в этой антиномии рано или поздно должно было измениться.

Собственно, само соединение, казалось бы, несоединимых элементов в советском обществе 30—40-х годов произошло в значительной мере потому, что оно, это соединение, первоначально воспринималось как временное, вызванное чрезвычайными обстоятельствами. Кажется, впоследствии представление о временности установленных порядков ушло из народного сознания. Однако в действительности подобные порядки продолжали существовать в громадной мере потому, что общество годы и десятилетия должно было решать чрез-

вычайные задачи: стремительно развивать промышленность, вести страшную войну, восстанавливать страну, наполовину превращенную в руины. Все-таки никакой террор и никакая тоталитарная идеологическая обработка не смогли бы обеспечить прочность сталинского режима, если бы они не дополнялись воздействием чрезвычайной ситуации. Режим этот по своей природе был режимом чрезвычайным, приспособленным к преодолению особых, чрезвычайных проблем форсированной индустриализации и войны, и в этих проблемах он находил свое оправдание. Недаром подчеркивание небывалых трудностей составляло одну из доминант пропаганды 30—40-х годов, а военная лексика пронизывала все ее расхожие клише, даже когда они касались вопросов, очень далеких от войны. (Культурная жизнь была в этих клише культурным фронтом, а ежегодная жатва — вновь и вновь повторяющейся битвой за урожай.)

Еще раз оговоримся: мы не утверждаем, что общественно-политический режим сталинистского типа лучше всего соответствовал задачам времени. Возможно, иной общественный механизм, иная стратегия оказались бы уместнее и эффективнее, не говоря уж о том, что едва ли не любой другой механизм был бы более гуманным. Тем не менее, хорошо ли, плохо ли, административно-директивная система 30—40-х годов справлялась с чрезвычайными проблемами войны и форсированной индустриализации, что и обеспечивало возможность ее относительной стабильности. Однако тот же чрезвычайный характер системы, ее ориентация на решение строго определенных чрезвычайных задач делали объективно необходимым ее изменение по мере того, как эти задачи оказывались решенными или по крайней мере переставали быть главными, определяющими самое существенное в жизни общества.

Тяготение к переменам проявлялось даже в годы, когда сталинизм находился на подъеме, стоило лишь чуть-чуть ослабнуть элементам чрезвычайности в объективном положении страны. Так было, например, после того, как осталась позади первая пятилетка со всеми ее экономическими и социальными потрясениями. Значительное число голосовавших против Сталина на XVII съезде партии (1934 г.) и широкое распространение надежд на смягчение режима в 1935 — начале

1936 г.[1] говорят об этом с достаточной ясностью. Однако в 30-е годы время от времени слабели только частные элементы чрезвычайности, тогда как общие военно-индустриализационные условия, делавшие существование чрезвычайной системы возможным, сохранялись. К тому же ослабление это бывало в то время очень кратковременным. История предвоенного десятилетия с неуклонным нарастанием военной опасности снова и снова возвращала общество в чрезвычайную обстановку. Да и сама сталинская политика также вела — может быть, вполне сознательно — к нагнетанию моментов чрезвычайности в советском обществе.

Действительно необратимый и действительно всеобщий характер изменение условий, в которых сформировалась и могла функционировать чрезвычайная система сталинского типа, стало приобретать лишь после войны. Победа над фашизмом, снявшая непосредственную военную угрозу, и преодоление наиболее катастрофических разрушений военного времени устранили многие моменты чрезвычайности, сильно влиявшие на ситуацию предшествующей четверти века. Самое же главное — в послевоенные десятилетия начало меняться коренное содержание социально-экономического развития и перед обществом возникли новые, отсутствовавшие в прошлом производственные, социальные, культурные проблемы. Общественное производство подошло к рубежам нового этапа, где чрезвычайная стратегия форсирования индустриализации теряла всякий смысл.

Суть этого этапа определяется тем, что в 40—50-е годы в решающих сферах экономики завершился индустриализационный переход. Как было показано выше, в ключевых точках народного хозяйства СССР (правда, тогда еще только в них) возобладал индустриальный технологический способ труда, индустриальный тип производства. Соответственно на первый план постепенно стали выдвигаться процессы следующей ступени технико-технологического и социально-культурного прогресса — процессы развертывания современной научно-технической революции и зарождения того, что можно назвать научно-индустриальным, научно-техни-

[1] См.: *Гефтер М. Я.* «Сталин умер вчера...» — Рабочий класс и современный мир, 1988, № 1, с. 126—127; *Борисов В. М., Пастернак Е. Б.* Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».— Новый мир, 1988, № 6, с. 211—212.

ческим технологическим способом производства. В общеисторической перспективе ведущей тенденцией общественно-экономического развития становилась уже не индустриализация, не переход от доиндустриального и раннеиндустриального к развитому индустриальному производству, а переход от индустриального к научно-индустриальному производству.

Переход этот, образующий следующую за индустриализацией большую, охватывающую десятилетия стадию экономического развития, означает коренное изменение соотношения живого и овеществленного труда в процессе производства, т. е. труда рабочих и функционирования средств производства, а также природы самих этих средств. Система машин, характерная для индустриально-фабричного и конвейерного производства, требует, чтобы ее действие постоянно и непосредственно дополнялось и поддерживалось живым трудом рабочего. В новом научно-индустриальном производстве, где живой труд уже не «встроен» в производственный процесс, где каждый такт этого процесса не должен, так сказать, подталкиваться руками рабочего, прежняя техника начинает замещаться автоматическими или аппаратурными производственными системами, в которых технологические циклы протекают без прямого вмешательства человека. Эти системы управляются средствами автоматизации или течением сложнейших природных процессов (химических, физических, биологических и т. п.). Важнейшие черты подобного производства были предсказаны К. Марксом, писавшим о стадии, когда, «вместо того чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий становится рядом с ним» и все чаще «относится к самому процессу производства как его контролер и регулировщик» [1].

Как и индустриализация, переход к научно-индустриальному производству ведет к переменам не только в процессах материального производства. Его влияние ощущается во всех секторах народного хозяйства: переход от индустриальной системы машин к научно-индустриальной организации производства сопровождается существенными сдвигами в соотношении производственной и непроизводственной сфер, небывалым переплетением производства материальных благ и научных

---

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 46, ч. II, с. 213.

знаний, информации, духовных ценностей. Автоматизация, кибернетизация, химизация производства, внедрение робототехники и биотехнологии, связанное с ними изменение энергетической и сырьевой базы производства на основе использования новых источников энергии и применения искусственных материалов с заранее заданными свойствами — все это неотделимо от успехов науки. Становление производства научно-индустриального типа поэтому прямо «совпадает с развитием *науки* как самостоятельного фактора процесса производства» [1]. Наука в полной мере превращается в производительную силу, а труд информационного и научно-технического характера становится составным элементом практически всех форм производственной деятельности. В свою очередь, повышение значимости науки и информации требует расширения места образования и всей социальной сферы в жизнедеятельности общества [2].

Становление подобного производства, образующее суть перехода от индустриальной к послеиндустриальной, научно-индустриальной экономике, несовместимо с сохранением социально-экономических и политических порядков, установившихся в 30—40-е годы, когда в обществе главную роль играли иные, индустриализационные процессы и связанные с ними процессы тотальной политической централизации.

Прежде всего развертывание НТР и развитие научно-индустриального производства невозможно в рамках абсолютной государственной монополии и системы преимущественно бестоварных, административно регулируемых хозяйственных отношений, на базе которых осуществлялась у нас форсированная индустриализация. Для производства, рождающегося в ходе НТР, необходимы гораздо более высокие темпы технического прогресса, внедрения новой техники, нежели те, что характерны для индустриального производства. Ускоренное обновление производственных процессов, их постоянная перестройка, своего рода перманентная подвижность, гибкость, изменчивость суть не только возможности, но и непременные условия воспроизводства

---

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 47, с. 553.

[2] Подробнее эти взгляды на природу научно-индустриального производства изложены в книге: *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР. Тенденции и перспективы социально-экономического развития. М., 1985, с. 91—116.

в экономике научно-индустриального типа. К тому же в отличие от индустриализации научно-индустриальное преобразование экономики нельзя осуществлять с помощью ударного развития отдельных секторов хозяйства. Здесь нужен комплексный и сбалансированный рост всех отраслей и всех сфер народного хозяйства — тяжелой и легкой промышленности, машиностроения и производства предметов потребления, сельского хозяйства, производственной и бытовой инфраструктуры, социального и культурного обслуживания.

Экономика таких масштабов, интенсивности, подвижности, разнообразия, которые характерны для научно-индустриального производства (и которые не были характерны для периода индустриализации), не может строиться на иерархически-ведомственной основе, сформировавшейся в 30—40-е годы. В этой системе предприятия ставятся в положение полной зависимости от вышестоящих органов и потому лишаются возможности экономического маневра и серьезной хозяйственной инициативы. Одновременно по отношению к потребителям они оказываются своего рода монополистами, так что всякая их продукция будет принята. Ведомственность оборачивается монополией, малосовместимой с научно-техническим и общественным прогрессом. Между тем научно-индустриальная экономика будет эффективно функционировать лишь в том случае, если основные хозяйственные единицы — государственные предприятия и объединения, кооперативы, индивидуальные производители — получат значительные полномочия и реальные возможности самоорганизации в рамках присущей социализму системы планового руководства. Только на основе гораздо большей, чем в административном хозяйстве, самостоятельности, на базе реального соревнования и реальной конкуренции трудовые коллективы и их руководители способны развивать инициативу и предприимчивость, мобилизовать резервы, учитывать местную специфику в той степени, которая отвечает условиям народного хозяйства научно-индустриального (а не просто индустриального) типа. И лишь при самостоятельности, соревновании, конкуренции предприятий можно перейти от примата производителя (более или менее допустимого, если достаточно развития немногих ключевых точек) к примату потребителя, без которого нельзя обеспечить всесторонний научно-технический прогресс.

Отсюда, естественно, вытекает необходимость повсеместного утверждения полного хозрасчета и эффективно действующего социалистического рынка, широкого развития на социалистической основе товарно-денежных подрядных, арендных отношений. Ибо именно такие эквивалентные, планово-товарные, планово-рыночные отношения образуют единственно возможную взаимосвязь и взаимодействие хозяйственных единиц, действительно обладающих высокой степенью самостоятельности. Без них либо происходит полный развал хозяйственной жизни, либо единство хозяйства восстанавливается административно-директивными средствами и экономическая самостоятельность неизбежно превращается в фикцию. Точно так же, только в рамках хозрасчета и товарно-денежных отношений, предполагающих соревнование и конкуренцию, можно преодолеть тенденцию к монополизации и создать экономические условия, при которых предприятия и объединения заинтересованы и — что не менее важно — вынуждены производить многообразную общественно необходимую и контролируемую потребителем продукцию таким образом, чтобы издержки производства не превышали средний общественно необходимый уровень.

Разумеется, в социалистической экономике самые развитые товарные, хозрасчетные, рыночные отношения действуют (и всегда должны действовать) в органическом единстве с отношениями планомерности, при централизованном определении приоритетности стратегических целей и главнейших макропропорций народнохозяйственного роста. Однако планирование в том хозрасчетном варианте социалистической экономики, который отвечает нуждам перехода к научно-индустриальному производству, осуществляется не вместо товарных, рыночных отношений (как это бывает в административно-хозяйственной системе), а вместе с ними, в значительной мере через них, с помощью экономических рычагов, действующих на их основе.

Короче, в 30—40-е годы, пока главный поток экономического развития страны определялся индустриализацией, административно-хозяйственный механизм давал возможность (вернее, одну из возможностей) решения узловых проблем экономики. Когда же и поскольку первостепенное значение в стране стали приобретать задачи перехода к научно-индустриальному производству, тогда и постольку сталинистская модель

хозяйственного управления, сталинистский вариант монопольно-государственной социалистической экономики перестал играть хоть какую-то позитивную роль. Если в период индустриализации, в тех чрезвычайных условиях, в которых она проходила в нашем обществе, этот вариант был одним из способов форсирования экономического роста (способом не обязательно лучшим, но возможным), то затем, по мере завершения индустриализации, он стал все более явно превращаться в абсолютное препятствие научно-техническому прогрессу, в механизм его торможения. Обозначилась необходимость перехода от бестоварной командно-директивной экономики к социалистической экономике последовательно хозрасчетного, т. е. планово-товарного, планово-рыночного типа.

Точно так же — и даже в еще гораздо большей мере — несовместимыми с потребностями общественного развития в послеиндустриализационную эпоху оказались политические порядки, утвердившиеся в 30—40-е годы. Собственно, если иметь в виду те конкретные формы тиранической и репрессивной власти И. В. Сталина, какие она приобрела со второй половины 30-х годов, эти формы никогда не отвечали потребностям общества: они с самого своего возникновения были извращением и деформацией политической системы социализма ради удовлетворения личных интересов, личного властолюбия И. В. Сталина и его окружения. Уничтожение сталинского деспотизма в любой момент, на любом этапе было бы благом для народа и общества. Но, как отмечалось выше, этот деспотизм был одной из разновидностей авторитарной политики, обеспечивавшей функционирование административно-директивного хозяйственного механизма, а значит, и осуществление всей стратегии форсированной индустриализации. В этом смысле политическая авторитарность в условиях индустриализации, при том уровне общей и политической культуры, который был характерен для большинства трудящихся в 30—40-е годы, несла в себе определенные элементы функциональности. С точки зрения ключевых моментов социально-экономического развития командно-директивная политика (конечно, в своих упорядоченных, некрайних формах) была, как и командно-директивная экономика, если и не оптимальным, то по меньшей мере допустимым способом организации общественной жизни.

Вот этот элемент функциональности, экономической допустимости авторитарной политики стал слабеть (а в перспективе исчезать) с завершением форсированной индустриализации и началом движения к научно-индустриальному производству. Наоборот, на новом этапе социально-экономического развития авторитарные политические порядки становятся все более дисфункциональными. Подобные порядки препятствуют формированию правового общества, того уровня законности и тех гарантий от произвола, которые необходимы для нормального человеческого существования (не говоря уже о гармоническом развитии личности), равно как и для успешного функционирования самостоятельных предприятий, достижения эффективности планово-товарного хозяйственного механизма в целом.

Причем авторитарная политическая система мешает поддержанию централизованного планового начала в хозрасчетном варианте социалистической экономики чуть ли не сильнее, чем самостоятельности производителей и развитию товарных отношений. Ведь в обществе с такой экономикой централизованное установление основных целей и пропорций (что является здесь главным проявлением планомерности) может быть успешным, только если оно осуществляется демократическим образом: если эти цели и пропорции открыто и всесторонне обсуждаются, если высказываются различные точки зрения, если приоритеты определяются в соответствии с волей большинства (но при том, что меньшинство, подчиняясь большинству, сохраняет вместе с тем возможность отстаивания своих теоретических взглядов), если принятые решения подвергаются свободному критическому анализу в ходе исполнения и в случае необходимости изменяются, дополняются, переделываются. Иной, авторитарный метод принятия решений относительно стратегических целей и пропорций в социалистическом обществе с подвижным научно-индустриальным производством и сложной планово-товарной экономикой слишком часто будет сопряжен с кардинальными просчетами и потерей народной поддержки. (Заметим, что в условиях индустриализации, осуществляемой в чрезвычайной международной обстановке, положение было иным: сравнительная ясность приоритетов или хотя бы более или менее всеобщее согласие в этом вопросе делали возможным принятие верных и пользующихся доверием большинства реше-

ний на авторитарной основе.) Многообразие социалистической экономики, построенной на хозрасчете и самостоятельности предприятий, требует многообразия, плюрализма и в политике.

Понятно, что политический плюрализм, в свою очередь, невозможен без свободной культурно-идеологической атмосферы, без плюрализма мнений в идейно-теоретической области. В этом смысле социально-экономический прогресс в послеиндустриализационную эпоху требует демократизации не только собственно политической, но и идеологической системы, сложившейся у нас в 30—40-е годы.

Наконец, завершение форсированной индустриализации диктует необходимость коренного изменения социальных отношений и социальной политики. Напомним, что непосредственный индустриализационный рывок, обеспечивший создание материально-технической базы индустриальной экономики, в значительной мере представлял собой перенесение на нашу почву (подчас буквальное импортирование) уже имеющейся в мире техники и технологии. На этой, так сказать, репродуцирующей, воспроизводящей ступени индустриализации нужен был, конечно, работник по преимуществу не традиционно патриархального, но индустриального типа. Однако в рамках этого типа тогда было допустимо преобладание работников не слишком квалифицированных и не слишком образованных. Абсолютной необходимостью было лишь относительно небольшое ядро действительно высококвалифицированных индустриальных работников, подпираемое массой менее квалифицированных индустриальных работников и широким кругом работников вообще доиндустриального типа. Последние, правда, были совершенно неподготовлены к работе непосредственно в современном производстве, но могли огромной массой своего ручного труда осуществлять большую часть исходного строительства, рыть «котлован» для фундамента этого производства, возводить стены и крышу. Подобно тому как в начале войны миллионами солдатских жизней удалось замедлить каток фашистского наступления и дать время эвакуированным заводам запустить на полную мощность производство боевой техники, подобно этому на начальных стадиях форсированной индустриализации дешевый труд миллионов доиндустриальных работников — по преимуществу бывших крестьян или «заключенных —

рабов» — оказался одним из средств замещения недостающего капитала и квалификации.

Однако, по мере того как индустриальное производство достигало зрелости, и особенно с началом перехода от индустриального к научно-индустриальному технологическому способу производства, строение общественного труда, при котором немногочисленное ядро высококвалифицированных индустриальных работников сочеталось с преобладанием массы менее квалифицированных индустриальных и доиндустриальных работников, становилось все менее и менее пригодным для поддержания хозяйственной жизни. Для развитого индустриального производства, не говоря уж о производстве научно-индустриальном, нужно не малое ядро, но большинство культурных, хорошо образованных, профессионально подготовленных, высококвалифицированных работников. К тому же это должны быть работники добросовестные, дисциплинированные, ответственные и вместе с тем творческие, инициативные, ощущающие себя хозяевами своих предприятий.

Работник с подобными свойствами может стать ведущей фигурой общественного труда не иначе как при условии (помимо прочего) подъема благосостояния и реального преодоления создаваемых авторитарной политикой форм отчуждения. Поэтому радикальное изменение социальной политики сталинистского типа, т. е. политики, в которой господствует остаточный подход к социальной сфере, обрекающий рабочих, крестьян, рядовых интеллигентов на понижение жизненного уровня, и при котором основная часть трудящихся фактически лишена возможности участвовать в распоряжении собственностью, в управлении ею, составляет такую же общественную потребность послеиндустриальной эпохи, как и устранение административной, государственно-монопольной системы хозяйствования, антидемократических политических порядков, тоталитарных извращений социалистической идеологии.

Разумеется, нужды, вытекающие из смены этапов социально-экономического развития, не единственная причина, вследствие которой коренное преобразование и радикальная демократизация хозяйственных, политических, культурных порядков, установленных в 30—40-е годы, стали настоятельной общественной потребностью. Свобода, возможность распоряжаться своим трудом, богатство материального существования и мно-

гообразие духовной жизни нужны не потому (или вернее не только потому), что они образуют условия, без которых нельзя обеспечить переход от индустриального к научно-индустриальному производству. Они — благо, добро, ценности сами по себе. Именно поэтому следует уничтожить все, что мешает их реализации, сталинизм в том числе. И в обществе, сделавшем социалистический выбор, принявшем социалистические идеалы и цели, сделать это надо решительнее, чем где-либо еще. В конечном счете несоответствие общественного устройства 30—40-х годов социалистическим и демократическим ценностям является главным фактором, определяющим, почему такое общественное устройство должно быть изменено. Этот фактор действовал на протяжении всей советской истории, и потому, как отмечалось выше, всегда имелась определенная возможность иного, более демократического развития.

В данной связи было бы неправильным утверждать, что исчерпание задач индустриализации и военного противостояния фашизму породило отсутствовавшую прежде потребность в демократизации и устранении сталинистских деформаций социализма. В принципе подобная потребность существовала и ранее. Но пока стране приходилось совершать индустриальный рывок, совершать его после всего, что этому предшествовало, и в той обстановке, которая складывалась тогда в мире, при том уровне культуры, при тех политических традициях, которые существовали у нас, а затем еще вести войну и восстанавливать хозяйство; пока все это имело первостепенное значение, вероятность реализации неформированного, несталинистского варианта оставалась достаточно слабой. Нарастание послеиндустриализационных процессов тем и существенно, что по мере их развертывания стали действовать — и чем дальше, тем сильнее — новые, дополнительные факторы, постепенно меняющие соотношение сил, которые способствуют и препятствуют сохранению порядков, появившихся в 30—40-е годы. На новом этапе социально-экономического и культурного развития возможность демократической перестройки этих порядков начала приобретать реальные черты, превращаться в реальную вероятность, определяющую генеральную перспективу общественного развития.

2. Ограниченность сдвигов в 50—70-е годы. Смена вариантов вместо изменения системы

Здесь, однако, надо остеречься упрощений. Возможность, даже если обстоятельства становятся более благоприятными для ее претворения в действительность, все-таки остается только возможностью. Она не реализуется автоматически. Как не было совершенной неизбежности в выборе форсированного варианта индустриализации и в дальнейшем торжестве сталинской тирании, так и устранение сталинщины по мере завершения индустриализации не происходило и не могло происходить с абсолютной обязательностью механически детерминированного движения. Чтобы благоприятные возможности нового этапа воплотились в жизнь, изменения объективных обстоятельств недостаточно. Нужны еще решимость и умение политических деятелей, способных осознать веления времени, равно как и готовность больших общественных групп, классов, народов поддержать таких деятелей, принять политику демократического обновления социализма (со всеми неизбежными сложностями такой политики) и осуществлять ее.

Надо сказать, что формирование реальных общественно-политических предпосылок и сил демократизации советского общества было сопряжено с немалыми трудностями. Изменение устоявшихся порядков всегда представляет собой очень нелегкое дело, хотя бы уже потому, что долго функционирующая система становится привычной для народа, воспринимается им как норма, образец не только сущего, но и должного. Здесь как раз и проявляется инерция истории, та «страшная сила привычки», о которой не раз говорил В. И. Ленин. К тому же преобразование существующих порядков неизбежно связано с изменениями в составе руководящих групп общества, так что определенная часть людей всегда воспринимает радикальные сдвиги как перемену к худшему. В случае изменения порядков сталинистского типа трудности перемен особенно велики. Пожалуй, это самый трудный род преобразований из тех, с какими приходилось сталкиваться советскому обществу.

Помимо того что административно-командная система сосредоточивает чрезвычайно сильные рычаги власти в руках групп, не заинтересованных в переменах, огромное значение имеет монопольная природа подоб-

ных порядков, то обстоятельство, что они тяготеют ко всяческому ограничению любых элементов самоорганизации. Исторический смысл и самооправдание системы, сложившейся у нас в 30—40-е годы, состоит в том, что ею создается (или кажется, что создается) возможность форсированной индустриализации на основе безграничной, не считающейся ни с какими жертвами концентрации народных сил в тех точках, которые политический центр считает приоритетными. Самоорганизация, рождающаяся из непосредственных интересов различных людей, почти всегда противоречит политике форсирования (во всяком случае, в сколько-нибудь длительной перспективе). Ибо сама нужда в такой политике появляется лишь тогда, когда естественный, определяемый текущими интересами людей ход жизни не ведет к сосредоточению сил и ресурсов общества там, где, по мнению руководства, это необходимо. Естественно, что в процессе форсированной индустриализации возникает тенденция к всемерному подавлению множества веками складывавшихся самоорганизующихся социальных механизмов, таких, например, как товарные отношения, рыночное саморегулирование, многообразные формы общественного самоуправления и политической самодеятельности, обычаи, традиции, ценности, наполняющие живым содержанием гражданское общество, и т. п. У нас в условиях четвертьвекового существования сталинистской разновидности форсированного развития эти механизмы были даже не подавлены, а чуть ли не полностью уничтожены, буквальным образом выкорчеваны, вырваны из социальной почвы.

Это практически почти полное уничтожение всех элементов рыночного хозяйства, социально-экономической самоорганизации вообще резко затрудняет переход от административно-директивных, чрезвычайных методов управления к методам нормальным — экономическим и правовым. Приходится не развивать имеющиеся в обществе элементы таких методов, но фактически создавать их заново. Причем создавать быстро, хотя в прошлом они формировались десятилетиями и веками. В этом отношении преобразование системы, приспособленной к нуждам форсированной индустриализации, является делом гораздо более тяжелым, чем переход от нэпа к данной системе или даже от «военного коммунизма» к нэпу. В рамках нэпа были элементы директивного управления, в «военном коммунизме» (из-за

непродолжительности его существования) сохранялись традиции, привычки, культурные механизмы рынка. И в начале 20-х годов, когда вводился нэп, и на рубеже 20—30-х годов, когда он заменялся административной системой, можно было опираться на реально существующие (пусть и ограниченные) зародыши, ростки того, что стремились развить в новых условиях (т. е. рыночную экономику с командными высотами, принадлежащими социалистическому государству, в первом случае, директивную экономику — во втором). Административная система в ее сталинистском варианте таких ростков практически не оставила. Те самые мобилизационные свойства данной системы, ради которых она вводилась и благодаря которым было до известной степени ускорено прохождение начальных ступеней индустриализации, эти самые свойства стали препятствием и тормозом на последующих стадиях, когда пришла пора изменения директивных порядков [1].

Чрезвычайная трудность исправления деформации социализма в нашей стране связана также с некоторыми специфическими чертами политического и идеологического развития в условиях сталинского режима. Десятилетия господства страха и двоедушия — сознательного или бессознательного, неважно — создали в стране идейно-нравственную атмосферу, благоприятствовавшую конформизму и консерватизму. Искреннее стремление следовать раз и навсегда установленным образцам, почитать догмы, с опаской относиться к любым новациям возникало в подобной атмосфере, так сказать, органически, почти автоматическим образом. Наоборот, способность проявлять политическую инициативу, самостоятельность, вкус к новому и оригинальному появлялись здесь гораздо реже, чем это бывает в

[1] С публицистическим блеском (слегка упрощающим ситуацию, по тем яснее выделяющим главное) сказал об этом Л. М. Баткин: «Сталинская индустриализация на основе закрепощения крестьянства, массовых репрессий, принудительного труда, государственного гнета, использования инерции, революционного воодушевления и иллюзий — это хотя и очень быстрая, как и при всех подобных режимах, но зато однобокая и поверхностная модернизация. Она не только не означала создания социально-психологических, политических, инфраструктурных и, наконец, утонченно-культурных заделов для перманентной модернизации в будущем — напротив, сталинизм словно бы выкорчевывал саму возможность таких заделов» (см.: *Баткин Л.* Стать Европой.— Век XX и мир, 1988, № 8, с. 32—33).

обществах, не исковерканных десятилетиями террора. Нужно было время, и время немалое, чтобы житейский опыт «непуганых» поколений преодолел свинцовую тяжесть прежнего страха.

К тому же кровавые чистки 30—40-х годов, физическое уничтожение ленинской гвардии и вообще деятелей, воспитанных в демократической культуре, знакомых с ее практикой или хотя бы с практикой реального (а не мнимого) демократического централизма, имели своим следствием пресечение нормальной политической преемственности, перерыв традиций, передачи опыта, исторической последовательности. К 50-м годам, т. е. ко времени, когда возможность демонтажа сталинизма приобрела серьезный характер, подавляющее большинство политических, хозяйственных, идеологических кадров составляли люди, просто не знавшие, что такое настоящая демократия или что такое отвечающее условиям второй половины XX в. планирование с учетом рынка и товарных отношений. В общественном сознании преобладали искаженные, очень далекие от действительности представления о многообразии возможностей социализма и о реальном развитии несоциалистического мира. Порядки, сложившиеся в нашей стране, казались подобному сознанию наилучшим, если не единственно возможным воплощением социализма. Как и подсознательный страх, политическая ограниченность, обусловленная нарушением нормальной политической преемственности и отсутствием нормальных связей с заграницей, затрудняла и замедляла осознание необходимости радикальных перемен.

Наконец, следует принять в расчет еще одно обстоятельство. Завершение индустриализации и переход к следующей большой стадии народнохозяйственного развития — становлению научно-индустриального производства — представляют собой отнюдь не одномоментный сдвиг. В социальных и экономических явлениях одномоментные сдвиги вообще бывают скорее исключением, нежели правилом. Правило же состоит в том, что переход от одной стадии к другой, даже если подобный переход в общеисторическом смысле имеет характер скачка, растягивается во времени. При этом процессы предыдущей стадии не заменяются мгновенно и полностью процессами новой стадии. Обычно первые вытесняются вторыми в течение некоторого периода, так что определенное время развертывание, нарастание

новых процессов происходит параллельно с завершением, затуханием прежних. В подобных условиях смена ведущих процессов далеко не сразу и не полностью становится ясной современникам.

В нашей стране замещение процессов индустриализации в качестве ведущих, определяющих процессами перехода к научно-индустриальному производству отличалось и отличается особой сложностью. Форсированный характер индустриализации, связанный с первоочередным ростом отдельных участков экономики, считающихся главными, определил ее (экономики) существенную неравномерность. Мы не случайно писали выше о том, что к 50-м годам форсированное развитие привело к индустриальному преобразованию в ключевых точках народного хозяйства. Строго говоря, здесь, и только здесь индустриализационный сдвиг в основном завершился.

Правда, поскольку это именно ключевые, решающие точки, господство индустриального технологического способа производства в них означает достижение решающего перелома и во всем процессе индустриализации в целом. Рассматриваемый в долговременной, генеральной перспективе переход к индустриальному типу производства действительно произошел. Соответственно, если иметь в виду масштабы той же перспективы, началась послеиндустриальная стадия экономического роста — переход к научно-индустриальному производству. Но поскольку индустриализация реально завершилась лишь в главных, ключевых точках, осталось еще множество сфер и элементов социально-экономической жизни, не до конца преобразованных на индустриальной основе. В этих сферах индустриальные процессы еще могли и должны были продолжаться.

Вспомним в этой связи основные характеристики социально-экономического развития страны в середине XX в., те самые характеристики, которые мы рассматривали раньше под иным углом зрения, сопоставляя их с предшествующим уровнем. Они, эти характеристики, свидетельствуют, что в главном экономика, социальная жизнь, культура в СССР уже приобрели индустриальный характер; но они же показывают множество сфер, где индустриальные преобразования еще надо было продолжать. В 1950—1960 гг. в индустриальных и полуиндустриальных отраслях создавалось $^2/_3$ национального дохода; в стране сформировался массовый рабочий класс

и массовая интеллигенция, мы могли освоить и произвести практически любой вид продукции, известный тогда человечеству. Но количественно структура занятости сохраняла во многом доиндустриальное и раннеиндустриальное строение. В 1950 г. в сельском хозяйстве трудилось больше работников, чем в промышленности, строительстве, на транспорте и в связи, вместе взятых (32% против 48%), в 1960 г.— столько же (39% и 39%)[1].

Базовые достижения современной цивилизации — медицинское обслуживание, школьное обучение — вошли в быт народа. Но в составе народа в 50—60-е годы еще преобладали люди, окончившие лишь начальную школу или не прошедшие через нее. Даже в 1959 г. (не говоря уж о начале 50-х годов) на их долю приходилось 64% населения старше 10 лет и 57% работающих[2]. Городская культура и городские ценности стали определять потребности большей части общества. Однако фактически в городских условиях жило все еще меньше половины советских людей: в 1950 г. горожане составляли 39% населения, в 1960 г.— 49%[3]. Уровень жизни, жилищные условия, питание, как уже говорилось, и вовсе не имели ничего общего с тем, что должно быть характерно для нормальной обстановки завершения индустриализации. (Здесь чрезвычайное значение имели тяготы войны и ее последствия.)

Объективно в послевоенные десятилетия нашей стране предстояло начинать развертывание НТР и переход к научно-индустриальному производству, одновременно завершая, так сказать, попутно «доделывая» индустриализацию там, где она еще не закончилась.

В этих условиях почувствовать перелом процесса, начало новой стадии экономического развития было не так-то просто. Во всяком случае, ни И. В. Сталин, ни его окружение, т. е. люди, многие из которых на рубеже 20—30-х годов сумели в сплетении общественных потребностей различить важность ускоренной индустриализации, не смогли после войны понять качественное отличие новой экономической эпохи от прежней. В 1931 г., когда И. В. Сталин говорил о необходимости за десять лет преодолеть промышленное отставание

---

[1] См.: Труд в СССР. Статистический сборник, с. 20.

[2] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 523.

[3] См.: Население СССР (Численность, состав и движение населения), 1973, с. 7.

в России, «или нас сомнут», он так или иначе «схватывал» — пусть неточно, искаженно — одно из самых повелительных требований эпохи. После войны, на вершине могущества, генералиссимус не ощутил меняющегося течения истории. В 1946 г., формулируя общие задачи страны на послевоенную перспективу, и в частности задачи обеспечения безопасности, И. В. Сталин снова выдвигал в качестве основного необходимость увеличения производства стали, чугуна, угля, нефти и т. п. Он говорил об этом так, словно не появилась возможность использования атомной энергии, как будто не носились в воздухе идеи кибернетики и небывалой информационной техники, не набухала вся атмосфера общественной жизни предвестиями новой научно-технической революции. Как справедливо заметил Ю. Ф. Карякин,— «это то же самое, что сейчас поставить задачу в тысячу раз повысить качество наконечников для стрел» [1].

Разумеется, суждения, содержащиеся в речи в 1946 г., свидетельствуют о недостаточной проницательности И. В. Сталина, о том, что гением он все-таки не был, и не только в военном деле, но и в области социально-экономической политики, социальной теории, там, где он подвизался дольше всего и где чувствовал себя наиболее уверенно. Гений тем и отличается, что в главном и решающем видит то, что скрыто от среднего и даже сильного (но не гениального) ума. Как свидетельство невозможности относить Сталина к числу истинных гениев его неспособность уловить принципиальную перемену перспектив народнохозяйственного развития в 1946 г. вполне сопоставима с ошибочной оценкой военно-политических перспектив в 1940—1941 гг. Но ведь если не гением, то все же выдающимся и опытнейшим политиком И. В. Сталин был. И потому его ошибка есть подтверждение объективной трудности отделения основного от второстепенного при анализе экономических проблем конца 40-х годов.

Как видно, в первые послевоенные десятилетия в советском обществе сложилась весьма сложная ситуация. Завершение индустриализации в главном и начало принципиально нового послеиндустриального этапа народнохозяйственного роста резко увеличивали общественную потребность в перестройке социально-экономи-

---

[1] Огонек, 1988, № 12, с. 18.

ческих и политических порядков, сложившихся в 30—40-е годы. Необходимость демократизации и замены административного хозяйствования саморегулирующейся экономикой объективно стала гораздо более настоятельной, чем прежде. Но вместе с тем длительное господство сталинизма создало мощные силы, заинтересованные в сохранении административной экономики и авторитарной политики, наделило их могущественной властью. Одновременно это господство означало свирепое уничтожение всего, что могло стать зародышем общественной самоорганизации, перерыв традиции, физическое отсутствие людей, имеющих опыт жизни в иных, неавторитарных условиях, оно превращало в инстинкт боязнь инициативы, отступления от принятых установок, вело к тотальному распространению вульгаризированных форм идеологии. Соответственно замедлялось и затруднялось сплочение сил, объективно заинтересованных в ликвидации сталинщины, понимание ими неизбежности коренной перестройки и обновления всей системы деформированного, казарменного социализма. Понимание это дополнительно осложнялось тем обстоятельством, что в народном хозяйстве сохранилось еще много участков, где индустриализационные процессы должны были продолжаться и где, следовательно, методы форсированной индустриализации еще какое-то время могли (или казалось, что могли) успешно «работать».

Результатом сложения множества факторов, действовавших в этой необычной обстановке, явилось преобладание на протяжении еще трех десятилетий после смерти И. В. Сталина внутренне противоречивых, непоследовательных и в этом смысле ложных форм общественного развития. Полное сохранение сталинистской системы стало совершенно невозможным, и потому некоторые ее существенные элементы были изменены. Но поскольку изменения проводились под руководством людей и групп, не сознававших необходимости именно коренных преобразований (да и не очень заинтересованных в подобном осознании), и так как большинство народа не ощутило еще нужды в сдвигах всеохватывающего типа, перемены, происходившие с середины 50-х до середины 80-х годов, оставались неполными, однобокими, затрагивающими одни стороны административно-авторитарной системы и не касавшимися других. В определенных отношениях развитие общества стало

напоминать течение слоновой болезни — тяжкого недуга, при котором отдельные части тела начинают непомерно разрастаться, тогда как другие остаются неизменными. Все пропорции организма, все его строение грозит в этом случае приобрести уродливый, нежизнеспособный характер.

Спору нет, односторонность и внутренняя противоречивость развития в течение этих тридцати с лишним лет проявлялись очень неодинаково. В одни годы делались попытки осуществления сравнительно радикальных реформ, в другие — пресловутое стремление к стабильности приводило едва ли не к полному отказу от каких-либо перемен. Точно так же осознание необходимости подобных сдвигов, формирование их идейных предпосылок в разное время и у разных людей проходило с различной интенсивностью. В общем весь период, когда руководство страной возглавлял Н. С. Хрущев, отличался от тех лет, в течение которых высшая власть находилась в руках Л. И. Брежнева. Но в нашем рассмотрении, нацеленном на то, чтобы «выстроить» общую схему, отражающую связь итогов сталинистского периода (т. е. преобразований 30—40-х годов) с нынешней перестройкой (преобразованиями 80-х годов), нет нужды разбирать конкретный ход событий в промежуточные десятилетия, лежащие между ними. Достаточно сказать, что в целом именно неполнота, несистемность, непоследовательность изменений и вытекающая отсюда всеобщая фальшь составляли характерные свойства общественного развития в 50—70-е годы. Как раз эти свойства в первую очередь важны для понимания того, как соотносится данное развитие с наследием 30—40-х годов, почему перестройка сегодня не сводится к одному лишь преодолению сталинизма.

Односторонний, половинчатый характер сдвигов 50 — начала 80-х годов яснее всего проявился в изменении экономического и политического устройства советского общества в этот период. Возрастающее несоответствие директивного планирования, вообще административных, внеэкономических методов хозяйствования требованиям развитого индустриального и зарождающегося научно-индустриального производства заставляло вновь и вновь предпринимать попытки изменить экономические порядки, сложившиеся в 30—40-е годы. Однако по причинам, о которых шла речь выше, попытки эти не затрагивали основ административно-ди-

рективной системы. По большей части они имели организационно-технический или технико-экономический характер. Создавались и ликвидировались министерства, отраслевая организация заменялась территориально-совнархозной, совершенствовались нормативы и системы оплаты труда. Общие же принципы преимущественно директивного управления оставались нетронутыми.

Эти принципы сохранялись и в тех немногих случаях, когда пробовали внедрить в народное хозяйство механизмы, которые, вообще говоря, могли бы стать частью радикальных социально-экономических преобразований: ввести хозрасчет, расширить сферу действия товарно-денежных отношений и рыночных регуляторов, поставить заработки в прямую связь с конечными результатами труда. Ибо ни один из планов преобразования экономики в то время не был ни всеохватывающим, ни последовательным. Все они предполагали лишь частичные перемены, при которых товарные, хозрасчетные механизмы должны были непонятным образом сочетаться с сохранением в экономике примата административных принципов, директив, приказа, централизованного ценообразования. Даже самая решительная из попыток изменения экономики в 50—70-е годы — реформа 1965 г. — исходила из того, что одновременно с провозглашением экономической самостоятельности предприятий министерства, ведомства продолжают нести главную ответственность за выпуск той или иной продукции и потому за ними фактически остается верховная экономическая власть.

Стремление «задействовать» хозрасчетные и товарно-денежные механизмы, ничуть не ослабляя административно-приказное начало, всегда имеет ничтожно малые шансы на успех. В 50—70-е годы безнадежность подобных намерений усугублялась крайней недостаточностью их политического и идеологического обеспечения. Даже когда речь шла (как в 60-е годы) о довольно глубоких экономических переменах, не было никаких сколько-нибудь серьезных попыток подкрепить их демократизацией политических порядков, не был проведен пересмотр идеологических догм относительно социалистического рынка, товарных отношений, недирективной планомерности, плюрализма. Между тем в нашем обществе, где экономика особенно тесно сращена с политикой и идеологией, где народное хозяйство

представляет собой хозяйственно-политическую и в некотором смысле хозяйственно-идеологическую систему, коренные экономические преобразования в отрыве от коренных идейно-политических сдвигов просто невозможны.

Закономерно, что в этой обстановке провозглашенное реформой 1965 г. как бы параллельное развитие в экономике и административно-ведомственных и хозрасчетных, товарно-денежных начал завершилось полной неудачей. На деле административно-директивное начало осталось преобладающим, и экономика СССР в решающих чертах сохранила свою административную природу. Нечего и говорить, что административное строение нашей экономики не исчезало в результате менее широких мероприятий (сравнительно с реформой 1965 г.), проводившихся в 70-е годы.

Конечно, кое-что в системе хозяйствования переменилось. Расширение масштабов экономики сделало невозможным столь же высокую концентрацию экономической власти в центре, как это было в 30—40-е годы. Директивный по преимуществу характер экономических отношений сохранился, но фактическое принятие решений в несколько большей мере распределялось по разным уровням хозяйственно-политической иерархии. Основа хозяйственной жизни по-прежнему определялась директивой, но теперь директивы больше, чем раньше, приходилось согласовывать, «увязывать» в различных инстанциях и на различных ступенях управления. Сильно централизованная, командная, административно-директивная экономика в чистом виде сменилась чуть иной разновидностью административно-директивного хозяйствования — своего рода экономикой согласования (может быть, точнее сказать, согласовывания) [1]. Вязь переплетающихся хозяйственных взаимоотношений стала столь обширной, что просто по команде, без многократного предварительного согласовывания разросшаяся экономика вообще не смогла бы функционировать. Но так как согласовывание это осталось административно-бюрократическим, оно обеспечивало лишь очень замедленную обратную связь, очень грубую пропорциональность и очень ограниченные возможности

[1] См. подробнее: *Авен П. О., Широнин В. М.* Реформа хозяйственного механизма: реальность намечаемых преобразований.— Известия СО АН СССР, 1987, № 13, серия «Экономика и прикладная социология», вып. 3, с. 33—37.

развития, никак не заменяющие планово-рыночное регулирование и не отвечающие требованиям научно-индустриального производства. Вместе с тем в экономике согласовывания фактически резко ослабла прежняя централизация, так что на деле высшее хозяйственно-политическое руководство не могло уже добиваться выполнения своих директив с той же быстротой и неукоснительной строгостью, как раньше.

Усложнение хозяйственных связей сделало неизбежным и некоторый рост товарно-денежных отношений. Но раз уж административно-директивные факторы остались решающими в экономике, товарно-денежные отношения могли развиваться только в ограниченных и во многом уродливых формах. Они неизбежно вытеснялись на периферию хозяйственной жизни, образуя там теневую экономику, полулегальное дополнение экономики согласовывания. Понятно, что развивающиеся в этих формах товарные отношения, выполняя объективно необходимые функции, одновременно становились фактором разложения, источником злоупотреблений, хозяйственной преступности, разрушения традиционных норм морали.

Так же, как и перемены в хозяйственном механизме, глубокой непоследовательностью и противоречивостью отличалась в 50—70-е годы эволюция политической системы, унаследованной от предшествующего периода. Наиболее существенным изменением здесь явилось прекращение массовых многомиллионных репрессий, составлявших важнейшую часть сталинистских политических порядков. Политические репрессии в послесталинскую эпоху не совершенно ушли из нашего быта; появились даже некоторые новые их виды — знаменательны, например, неоднократно выдвигавшиеся обвинения в злоупотреблении психиатрией. Но общий масштаб использования репрессий в качестве средства решения политических задач и поддержания политической стабильности сократился во много раз. «Подсистема страха» была перестроена таким образом, что ее функционирование потеряло прежний, если так можно выразиться, необузданный размах.

Вместе с сокращением репрессий и в значительной мере вследствие этого в политической системе и политической атмосфере советского общества изменилось и многое другое. Работа высших органов власти — Верховного Совета, Центрального Комитета партии и т. п.—

приобрела большую упорядоченность и регулярность, стала несколько более открытой. Обозначились некоторые возможности дискуссий; несмотря на официальное неодобрение, в обществе стали появляться элементы инакомыслия, зародыши плюрализма мнений. В общем и целом политический режим перестал быть таким произвольно-тираническим, каким он был при Сталине.

Однако устранение деспотизма в чистом виде не вылилось тогда в развертывание демократической политической системы социалистического народовластия. Впрочем, при отсутствии коренных экономических преобразований на демократизацию советского общества вряд ли можно было рассчитывать всерьез. Пока и поскольку экономика в основе своей сохраняла преимущественно административное, нехозрасчетное строение, директивное планирование и командное, преимущественно внеэкономическое управление хозяйством (пусть и связанное с согласованием команд на разных уровнях) оставались столь же настоятельной необходимостью, как и в сталинские времена. Как было показано выше, такая необходимость почти неизбежно ведет к господству авторитарных, недемократических порядков в политике.

В этих условиях нежелание и невозможность продолжать репрессии в сталинских масштабах имело результатом не отказ от авторитарного строя политической жизни, а переход от одних форм авторитарности к другим. Последние не были кровавыми и не отличались такой беспощадной жесткостью, как прежние. Однако авторитарную систему управления они поддерживали весьма эффективно. Строго иерархическое строение органов власти, сохранение в силе введенных в 30—40-е годы тайных инструкций относительно пополнения номенклатурных кадров и порядка ведения дел, полувоенная дисциплина в управленческих учреждениях, господство традиций, ставящих политические органы, политические решения выше закона, вытекающее отсюда телефонное право, наконец, ограничение гласности — все это создавало очень мощные средства неправового управления и ограничения социалистической демократии. Оказалось, что подобных средств вполне хватает (по крайней мере в обществе, только выходящем из гражданского анабиоза, порожденного десятилетиями необъятной личной власти), чтобы и без массовых репрессий обеспечить авторитарность политической жизни.

В итоге в политической системе, пришедшей в 50—70-е годы на смену сталинизму, сохранились порядки, при которых управление строится на указаниях и директивах, спускаемых сверху, а реальная власть сосредоточивается в руках работников партийно-государственного аппарата, особенно у сравнительно узкого круга первых руководителей.

Спору нет, ослабление роли политических репрессий означает несомненное смягчение политического режима. В этом смысле политическое положение подавляющей части народа определенно улучшилось. Кроме того, переход к несколько более либеральным, не связанным с массовым террором (хоть и далеко не демократическим) методам политического управления, как и в экономике, потребовал передачи больших властных полномочий из центра на места, на республиканский, областной, районный уровень. Причем дело здесь не столько в формальном распределении функций, сколько в фактическом распределении власти. Ослабив репрессии и в то же время не проведя глубокую демократизацию, политический центр практически может продолжить командное управление обществом, только будучи подкреплен более сильными органами местной власти. Поэтому формально оставаясь столь же всевластными, что и в 30—40-е годы, центральные органы на практике должны были считаться с местными властями много больше, чем в прошлом. В реальной жизни произошло некоторое расширение того слоя, который на деле сказывает воздействие на принятие политических решений.

Показательно, что доля работников, занятых трудом, связанным с руководством людьми, выросла с 2% работающего населения в 30-е годы до 4% в 50-е и 5% в 60—70-е годы[1]. Общее число занятых в аппарате управления (не только руководителей всех рангов, но и обслуживающего персонала) достигло даже 10—15% занятых. Конечно, эти цифры отражают лишь направление процесса, но никак не его масштаб. Они включают всех занятых руководством работников — как аппарат государственных, партийных, общественных органов всех уровней, так и руководителей предприятий и их подразделений до мастеров, начальников участков, смен, цехов включительно. По своему участию в приня-

[1] См.: *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР, с. 189—190.

тии политических решений последние в 50—70-е годы мало чем отличались от большинства народа, а ведь количественно именно они составляли главную часть тех 5 или даже 10% занятого населения, которые образуют общую массу людей, занятых в системах управления. Поэтому, если иметь в виду не динамику, а абсолютную величину расширения реальной включенности в политическую жизнь, надо признать, что приведенные сведения говорят именно о ничтожном размахе такого расширения в 50—70-е годы. В любом случае дело касается групп, охватывающих менее 1—2% общества. Это, правда, гораздо больше, чем было в сталинский период, но совершенно незначительно в сравнении со всем населением страны.

К тому же в некоторых областях общественной жизни и в некоторых регионах уменьшение концентрированности власти в центре обернулось усилением произвола местных органов в отношении большинства населения. В общей недемократической атмосфере элементы децентрализации, частичное делегирование полномочий в нижестоящие органы отнюдь не превращало последние в демократические учреждения. Эти органы, как и раньше, оставались вне действенного народного контроля снизу; слабела лишь жесткость контроля за ними сверху. Громогласно провозглашаемая демократическая направленность подобных мер только увеличивала атмосферу фальши и лицемерия, и без того достаточно сильную в обществе.

Положение усугублялось тем, что постепенный рост теневой экономики приводил в ряде случаев к сращиванию отдельных работников и даже отдельных звеньев аппарата управления с преступными элементами. Прежде власть обычно осуществляли — пусть и недемократическими, жестокими методами — люди по большей части честные, ставившие интересы партии и государства (как они их понимали) выше личных. Теперь рядом с честным большинством стали все чаще появляться бесчестные и беспринципные чиновники, злоупотреблявшие своими должностными полномочиями. «Пока действовала параллельная властвующей иерархии система централизованного устрашения, возможности произвола были сконцентрированы в основном на верхних этажах бюрократической пирамиды, а условия для круговой поруки локального и ведомственного порядка оставались ограниченными; когда эта

система рухнула — при сохранении основных устоев командно-бюрократической системы,— локальные клики, кланы, мафиеподобные организации получили простор для своего распространения»[1]. В коридорах власти на самых разных ее уровнях, подчас очень высоких, начало ощущаться смрадное дыхание организованной преступности, запах того, что сегодня обозначают понятием «коррумпированные группы»[2].

Еще и еще раз повторим: все это не идет в сравнение с кровавым самовластием сталинского режима. Никакие коррумпированные кланы, никакую организованную преступность, никакую связанную с нею местную власть нельзя сравнить с преступностью государственной, с ужасом массовых преступлений, организуемых и осуществляемых карательными органами сильного государства. Если уж выбирать, согласимся со словами поэта, сказавшего однажды: «...но ворюги мне милей, чем кровопийцы»[3]. Однако почему мы вообще должны выбирать между «ворюгами» и «кровопийцами»? Произвол, коррупция, лицемерие не перестают быть злом от того, что мы знавали и худшие беды.

В общем, сколь ни благотворно прекращение массовых репрессий и как ни прогрессивна в долговременной перспективе децентрализация политической власти, перемены этого рода в 50—70-е годы не привели к преодолению возникшего в сталинские времена отстранения масс от политики, отчуждения человека труда от управления обществом[4]. Даже среди тех рядовых тружеников, кто тогда числился избранным в партийные, государственные, общественные органы (а число таких людей в 50—70-е годы сильно выросло, достигнув чуть ли не трети взрослого населения), основная масса была фактически «отстранена от реального участия в решении государственных и общественных дел»[5]. Что ж говорить об остальных. В 50—70-е годы большинство советского народа по-прежнему не имело

---

[1] *Гудков Л., Левада Ю., Левинсон А., Седов Л.* Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений.— Коммунист, 1988, № 12, с. 82.

[2] См.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 29 июля 1988 года. М., 1988, с. 17.

[3] *Бродский И.* Ниоткуда с любовью.— Новый мир, 1987, № 12.

[4] См.: Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 36—37.

[5] Там же, с. 36.

политической возможности воздействовать на главные решения, касающиеся его судеб.

Так что в политической системе, как и в экономическом устройстве, вместо радикального обновления в 50—70-е годы осуществлялись лишь половинчатые, односторонние сдвиги. Деформации социализма не были преодолены, они только видоизменились и прикрылись позолотой лицемерия. Если в экономике один вариант административного, внерыночного управления огосударствленным хозяйством — жестко-командный и безоговорочно-директивный — сменился другим, согласовательно-бюрократическим, то в политике произошел переход от одних форм авторитарного регулирования огосударствленной общественной жизни к другим. Вместо тиранической, кровавой и необъятной власти единоличного вождя утвердилась некровавая, но в конце концов почти столь же необъятная власть верхушечных аппаратных групп, в ряде случаев олигархических и коррумпированных. При этом близость корневых, базовых структур обоих вариантов определила половинчатый характер самой смены одного варианта другим. Огромные части, целые пласты прежних порядков не устранялись, но в практически неизменном виде включались, встраивались в новый механизм. Послесталинская система 50—70-х годов не уничтожала сталинизм, она как бы надстраивалась над его глубинными основами.

3. Цена половинчатости: накопление хозяйственных и социально-экономических противоречий

То обстоятельство, что административно-авторитарная природа хозяйственных и политических механизмов, сложившаяся в 30—40-е годы, не изменилась принципиально, что общественные отношения так и не пришли в соответствие с требованиями послеиндустриальной эпохи, в свою очередь обусловило половинчатость и недостаточность конкретных результатов функционирования этих механизмов на протяжении тридцатилетия, последовавшего за смертью И. В. Сталина. Рост производства, социальное развитие, повышение благосостояния, движение культуры не прекратились. Но ход прогресса стал диспропорциональным, внутренне противоречивым, быстро затухающим. Слегка подновленный, а не преобразованный общественный механизм обеспечи-

вал относительный успех только на отдельных направлениях роста, преимущественно там, где можно было экстенсивно продолжать незавершенные индустриализационные процессы, более или менее поддающиеся административно-директивному регулированию. Там же, где дело касалось потребностей новой эпохи, преобладали тенденции торможения и застоя.

В движении производства подобная неравномерность выступает особенно ясно. Наращивание промышленного потенциала, осуществляемое примерно такими же методами, что и раньше, позволило довести до конца многие индустриальные преобразования, остававшиеся неоконченными в предвоенные и послевоенные пятилетки. Именно в 50—70-е годы СССР догнал наиболее развитые страны Запада не только по объему, но и по уровню выпуска продукции, наиболее типичной для индустриальной стадии народнохозяйственного развития. Напомним, что в расчете на душу населения к началу 50-х годов в нашей стране все еще производилось гораздо меньше стали, угля, электроэнергии, цемента, чем в большинстве промышленно развитых государств. К началу 80-х годов соотношение изменилось коренным образом. Среднедушевые показатели производства этих и ряда других видов продукции тяжелой промышленности в нашей стране стали такими же, как в США, ФРГ, Японии, Англии, Франции (а то и более высокими, чем у них) [1].

Завершились и индустриальные сдвиги в сфере занятости. В промышленных и полупромышленных отраслях в начале 80-х годов сосредоточилось 48% работающего населения, а не 30—35%, как за тридцать лет до этого; в сельском хозяйстве — 20%, а не 45—50% [2] (при том, что современный объем сельскохозяйственного производства, несмотря на явную его недостаточность сравнительно с нормальными потребностями общества, все же далеко превосходит то, что давала более многолюдная деревня, зажатая тисками сталинского режима). Сегодня экономика стала индустриальной не только в ключевых точках, но и, если так можно выразиться, на большей части хозяйственного пространства; не потому лишь, что промышленность производит большую часть национального дохода, но также и потому,

---

[1] См. подробнее: *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР, с. 195—198.

[2] См. там же, с. 20.

что индустриальным трудом занята наибольшая часть народа. Некоторое совершенствование общественных порядков в 50—70-е годы дало возможность если и не завершить индустриализационные процессы, то все же далеко продвинуться по пути их завершения, достигнуть гораздо более высокого уровня производительных сил, нежели тот, что был у нас в 30—40-е и даже 50-е годы.

Впрочем, оговорка о все еще не до конца завершенной индустриализации здесь не случайна. Некоренные перемены в экономических и политических механизмах оказались достаточными, чтобы некоторое время расширять и продлевать ранее начатые процессы. Но таких ограниченных изменений мало там, где завершение той же индустриализации ставит более сложные проблемы, требующие не экстенсивных, а интенсивных подходов. Скажем, проблему обеспечения при малой занятости в сельском хозяйстве не минимального («карточного») достатка продовольствия, а его настоящего изобилия, характерного для большинства стран с индустриальным производством. Или проблему поддержания отвечающего мировым стандартам качества продукции, развертывания сложной современной инфраструктуры, гарантированной системы обслуживания и т. п.

Самое же главное, одной лишь смены вариантов в пределах административно-авторитарной системы общественного устройства оказалось совершенно недостаточно для решения главной объективной задачи нынешнего этапа народнохозяйственного развития — общей интенсификации экономики, развертывания научно-технической революции, перехода от индустриального к научно-индустриальному производству. Нет сомнений, за тридцать лет в эпоху всемирного ускорения научно-технического прогресса мы кое-чего добились и по части использования достижений НТР. В отдельных секторах производства успехи были довольно внушительны: достижение в 70-е годы паритета в области ядерного оружия и средств его доставки дает тому доказательство, страшное, но неопровержимое. Однако применительно к народному хозяйству в целом процесс становления научно-индустриального производства за три десятилетия едва продвинулся. Даже в промышленности к началу 80-х годов автоматизированы или хотя бы комплексно механизированы были только 10—15% предприятий, а ведь комплексная механизация,

присоединенная здесь к автоматизации,— это еще только приближение к научно-индустриальному производству. Трудом научно-индустриального типа занималось тогда по разным оценкам менее 10—15% промышленных рабочих. В те же годы 35—40% рабочих в промышленности, 55—60% в строительстве, 70—75% в сельском хозяйстве работали вручную, не имея непосредственного касательства не только к научно-индустриальной, но и к обычной индустриальной технике[1].

Особенно неутешительными выглядят итоги становления научно-индустриального производства в сравнении с ходом аналогичного процесса во многих других странах. На Западе (впрочем, и на Востоке, если иметь в виду, например, Японию, Сингапур, Гонконг, Южную Корею) развитие научно-технической революции и научно-индустриального производства достигло гораздо более высокой ступени. В США, например, в первой половине 80-х годов использовалось около 800 тыс. электронных вычислительных машин, в СССР — примерно 50 тыс. По оценке группы авторитетных экспертов, уровень развития таких определяющих ход НТР отраслей, как электроника, у нас в 6—7 раз ниже, чем в США, техника новых материалов — в 2 раза[2]. Похоже, что нам грозит новое стадиальное отставание по уровню народнохозяйственного роста, отчасти напоминающее то, какое существовало до 30-х годов. Тогда у нас преобладало доиндустриальное производство, в промышленно более развитых государствах — индустриальное. Теперь наша экономика все еще остается по преимуществу на индустриальной стадии; между тем экономика ряда стран уже поднялась или вот-вот поднимется на стадию научно-индустриальную.

Административно-авторитарный механизм сталинистского типа — худо ли, хорошо ли — позволил СССР в 30—40-е годы пройти решающие этапы индустриализации. Подновление и частичное совершенствование этого механизма создало условия, при которых в 50—70-е годы удалось продолжить и почти завершить индустриальные преобразования. Но обеспечить переход на качественно новую стадию экономического роста без коренного изменения общественных порядков ока-

---

[1] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 89, 109, 126; *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР, с. 123, 199—201.

[2] См.: *Куницын А.* Путь к мировому уровню.— Московские новости, 1988, 28 августа, № 35, с. 12.

залось невозможным. В этом смысле недостаточно измененный хозяйственно-политический механизм стал действовать как механизм торможения. Вариант административно-авторитарной системы, сформировавшейся в 50—70-е годы, продвинул экономику вперед сравнительно с предвоенным и послевоенным уровнем, но он же во многих отношениях отбросил нас назад в сравнении с уровнем, достигнутым научно и промышленно наиболее развитыми странами.

Половинчатость отказа от сталинистских порядков очень заметно сказалась и в движении уровня жизни. Правда, в некоторых отношениях перемены в области благосостояния оказались значительнее многих других. На завершающем этапе индустриализации и тем более при переходе к научно-индустриальному производству требуется такое изменение квалификации, культуры, личностных свойств работника, которое достигается только на базе обогащения материального и духовного потребления масс. Одновременно смягчение политического режима делало всегдашнее и естественное стремление масс к улучшению жизни более действенным фактором общественного развития. Определенное повышение благосостояния становилось в этих условиях абсолютной, и притом очевидной, необходимостью. Эта необходимость в отличие от необходимости глубоких экономических реформ и политической демократизации была осознана руководством партии и государства еще в 60—70-е годы [1]. Административный и хозяйственно-политический механизм перестраивался таким образом, что проблемы благосостояния, если и не превращались на деле в главную цель развития, во всяком случае, поднимались на более высокие места в ряду приоритетов, определявших функционирование экономики. Рост производства — пусть и экстенсивный — давал на определенное время практическую возможность больше, чем в прошлом, учитывать эти приоритеты в практике хозяйствования и распределения ресурсов.

Известные подвижки приоритетов (поворот в сторону решения задач благосостояния, как несколько преувеличенно говорилось в документах того времени) при росте размеров национального дохода в общем и в расчете на душу населения создавали предпосылки для реального подъема жизненного уровня народного боль-

[1] См., в частности: Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1972, с. 41, 199.

шинства. Сравнительно с прямой нищетой сталинского времени материальное положение основной части населения в 60—70-е годы существенно улучшилось. Заработная плата большинства рабочих и служащих, а затем и доходы колхозников перестали тяготеть к абсолютному прожиточному минимуму и постепенно поднялись до уровня, обеспечивающего значительным слоям трудящихся некоторый достаток. Возникла и охватила десятки миллионов людей система пенсионного обеспечения по старости — обеспечения довольно скудного, но все-таки не совершенно фиктивного, как это было до середины 50-х годов.

Улучшились жилищные условия: отдельная квартира или отдельный дом превратились в преобладающий тип городского жилища; коммунальная теснота, бараки, трущобное жилье стали уделом не основной массы, но меньшей части горожан. В народную жизнь вошла сложная современная техника. Телевизор, радиоприемник, холодильник, бытовой газ и другие коммунальные удобства составляют теперь обыденный, привычный элемент повседневного быта (а не элемент быта небольшого меньшинства, какими они были еще четверть века назад). Коренным образом обогатилась одежда, исчез отпечаток бедности, столь характерный для платья и обуви, которые приходилось носить основной массе советских людей в довоенный и послевоенный период.

Улучшилось — вопреки расхожим представлениям — даже питание. Мясо и молоко — хоть и с перебоями, в совершенно недостаточных размерах — появились на столах большинства советских людей. Между тем в 30—40-е годы дело, в отличие от того, что чудится нам сегодня, обстояло гораздо хуже. Представление о прилавках, ломящихся от снеди, возникает на основе распространения на всю страну ситуации, существовавшей только в некоторых крупных городах. Но основная часть народа жила тогда вовсе не в больших центрах, а в средних и малых городах, в рабочих поселках и деревнях. Как-никак среднедушевое потребление мяса в СССР выросло примерно с 20 кг в конце 30-х годов и 25—30 кг в начале 50-х до 50—60 кг в 70-е годы [1]. Этого явно недостаточно, но при всех возможных слабостях статистики это по крайней мере вдвое больше, чем в предвоенные годы и годы перед смертью И. В. Ста-

---

[1] См.: Социальное развитие рабочего класса СССР, с. 282—283.

лина. Сравнительно с концом 30-х и началом 50-х годов (не говоря уж о первой пятилетке, годах войны и послевоенной разрухи) уровень нашей жизни изменился качественно, кардинально. В таком сравнительном смысле (а также в смысле роста потребностей, о чем речь дальше) можно утверждать, что вместе с видоизменением хозяйственно-политической системы в нашей стране начались своеобразная революция благосостояния, преодоление той стагнации жизненного уровня, посредством которой решалась проблема накоплений в рамках форсированной индустриализации [1].

Однако наверстывание, осуществляемое в рамках недостаточно измененной административно-авторитарной системы, так и не завершилось на протяжении трех десятилетий. Революция благосостояния осталась незаконченной, неполной. Более того, ее растягивание на тридцать лет означает, что подъем жизненного уровня лишь временами принимал подлинно революционный характер; с годами он все чаще переходил в медленную эволюцию, полную диспропорций и противоречий, мало кого удовлетворяющую.

Половинчатость сдвигов в сфере благосостояния прямо вытекала из ограниченности перемен во всей системе общественных отношений. Отказ от радикальных экономических реформ сдерживал рост производства, а значит, и того общего объема благ, находящихся в распоряжении общества, при быстром увеличении которого легче всего достичь повышения жизненного уровня. По официальным данным, национальный доход в расчете на душу населения на протяжении 50—70-х годов вырос у нас в 5—6 раз. Однако он оставался существенно более низким, чем у большинства стран Запада или у таких социалистических государств, как ГДР и ЧССР [2].

В то же время отсутствие решительной демократизации крайне затрудняло существенное изменение про-

[1] О взглядах авторов относительно подъема благосостояния в 50—70-е годы подробнее см.: *Гордон Л. А.* Единство многообразия: социальное развитие рабочего класса в странах социализма. М., 1981, с. 37—63; *Клопов Э. В.* Рабочий класс СССР (Тенденции развития в 60—70-е годы). М., 1985, с. 112—125; Советские рабочие в условиях ускорения социально-экономического развития. М., 1987, с. 121—162.

[2] Расчет и оценка по данным: Народное хозяйство СССР в 1977 году, с. 54; Статистический ежегодник стран — членов СЭВ, 1985. М., 1985, с. 56.

порций распределения национального дохода в сторону увеличения фонда потребления и уменьшения фонда накопления в его составе. Как и в сталинские времена, порядок принятия соответствующих решений строился таким образом, что в нем активно участвовали организации, отражающие непосредственные интересы обороны, внешней политики, хозяйственных ведомств, но не участвовали организации, которые были бы способны столь же эффективно отстаивать непосредственные интересы трудящихся. Да подобной организации в условиях, когда фактическая роль профсоюзов оставалась сильно приниженной, попросту не было. Баланс складывался отнюдь не в пользу потребления, так что в определении плановых макропропорций, в частности при определении доли средств, направляемых в социальную сферу и на подъем благосостояния, продолжал действовать остаточный принцип. Сначала отделялось то, чего требовало производство и оборона, а затем уже из остатка формировался фонд потребления. Неудивительно, что доля потребления в национальном доходе СССР, которая, по официальным данным, измерялась в течение последних тридцати лет величиной порядка 70—75% (по неофициальным оценкам — 60—65%), уступала соответствующим показателям многих промышленно развитых стран как несоциалистических, так и социалистических. (В последних фонд потребления составлял, считая округленно, 75—80% или даже еще большую величину.) [1]

Подъем благосостояния в 50—70-е годы выглядит внушительно только в сравнении с нищетой 30—40-х годов. Даже по сравнению с положением народа в 20-е годы многие результаты этого подъема не кажутся очень существенными. По части питания, например, немногое оказалось заметно лучше того, что было перед началом форсированной индустриализации. Что касается международных сопоставлений, целый ряд показателей материального уровня жизни — оплата труда, питание, жилье, автоматизация быта — у нас, как и раньше, гораздо ниже, чем на Западе или в ГДР, ЧССР, ВНР [2].

---

[1] См.: Статистический ежегодник стран — членов СЭВ, 1985, с. 58.

[2] См.: Развитие рабочего класса в социалистическом обществе. М., 1982, с. 429—449; *Гордон Л. А.* Социальная политика в сфере оплаты труда.— Социологические исследования, 1987, № 4, с. 12—14.

Однако основное противоречие не в сравнениях с другими странами и периодами. Практически и политически важнее иное. На протяжении десятилетий реализация возможных плодов поворота в сторону благосостояния ограничивалась отсутствием экономических реформ и последовательной демократизации. Но ничто в эти годы не сдерживало развития народных потребностей. Вот уж где произошел действительно революционный скачок. Рост образования и квалификации, урбанизация, ослабление всенародного страха и оцепенения, увеличение открытости общества и проистекающее отсюда постоянное распространение знаний о положении за рубежом — все это создавало почву для стремительного взлета запросов, для коренного изменения представлений о нормах и идеалах повседневной жизни. Начавшийся — пусть и недостаточный — подъем благосостояния дополнительно подстегивал, ускорял процесс обогащения потребностей.

Иными словами, на протяжении тридцати лет реальное повышение уровня жизни шло ограниченно, притом с замедлением, тогда как потребности и запросы десятков миллионов людей нарастали естественными, неограниченными, постоянно ускоряющимися темпами. Фактически по большинству объективно измеряемых показателей условия жизни улучшались. Но потребности выросли в гораздо большей мере. В среднем советские люди стали зарабатывать к исходу 70-х годов 150—200 руб. в месяц, а не 30, как перед войной, или 60—70, как в начале 50-х. Но для удовлетворения нормальных сегодняшних потребностей средней советской семьи из двух взрослых и двух детей нужно, чтобы каждый работник в ней зарабатывал не менее 400 руб. в месяц [1]. Современный труженик не хочет и не должен мириться с тем, что ему и его детям, прежде чем получить отдельное комфортабельное жилище для собственной семьи, приходится по многу лет перебиваться в общежитиях или жить вместе с родителями, а то и вовсе ютиться во времянках и неприспособленных помещениях. Он не желает терпеть очереди, перебои в снабжении, необходимость постоянных усилий и хлопот в сфере обслуживания. И недовольство этой ситуацией не становится меньше от того, что отцы и матери нынешних советских людей всю жизнь обходились без нормального

[1] См.: *Гордон Л. А.* Социальная политика в сфере оплаты труда.— Социологические исследования, 1987, № 4, с. 9—13.

жилья и нормального питания. Наоборот, значительные слои народа (если не большинство его) удовлетворены сейчас своим материальным положением в меньшей мере, чем предшествующие поколения. Ибо за последние два-три десятилетия увеличился разрыв между реальными, существующими условиями жизни и жизненным стандартом, жизненным уровнем, который большинство населения стало рассматривать в качестве нормального и необходимого. Фактическое потребление большинства обогатилось, но степень удовлетворения потребностей понизилась. В субъективном восприятии такое понижение нередко ощущается как прямое ухудшение жизни.

Недовольство обостряется инфляционными явлениями, при которых в руках у населения оказались большие массы денег, не имеющих товарного покрытия [1]. Спекуляция и торговые злоупотребления возникают в таких условиях с абсолютной неизбежностью. В сочетании с отмечавшимся выше общим расширением теневой экономики злоупотребления становятся механизмом систематического перераспределения доходов в обществе. Возникают не предусматриваемые планом непривычные для нас формы доходной и имущественной дифференциации. Большая часть трудящихся весьма резко реагирует на подобную дифференциацию, считая ее несправедливой и необоснованной. У очень многих людей — по некоторым данным, чуть ли не у половины — возникает не только ощущение абсолютной нехватки материальных благ, но и сомнение в справедливости распределения того, что имеется [2].

4. Неиспользованный потенциал социального развития и потребность обновления

На уровне более общих, так сказать, социетальных данных противоречивый характер развития в 50—70-е годы — улучшение сравнительно с прошлым и его ра-

[1] По некоторым оценкам, покупательная способность рубля за последнюю четверть века упала примерно на 60% (см.: *Ивановский Б.* Социализм — это многообразие.— Аргументы и факты, 1988, № 42, с. 3).

[2] По данным специального опроса, проведенного в 1988 г., 44% москвичей не считают, что в настоящее время в стране господствует социальная справедливость (см.: *Третьяков В.* Социальная справедливость и привилегии.— Московские новости, 1988, 3 июля, № 27, с. 11).

зительное несоответствие глубине назревших противоречий — выявляет перемены в социально-культурном облике народа. За это время решительно изменился состав и структура советского общества. На завершающих этапах индустриализации нового уровня достигли урбанизационные процессы. С появлением в 50—60-е годы паспортов у колхозников и уничтожением их полукрепостной «привязанности» к земле перелив населения в города на некоторое время принял даже больший масштаб, чем в годы первых пятилеток и после войны. Тем более что рост городского населения в 50—70-е годы обуславливался не только облегчением выхода из деревни, но и повышением привлекательности городов в обстановке, при которой именно здесь сильнее всего чувствовался начавшийся в это время подъем благосостояния. Доля горожан повысилась с $^1/_3$ населения перед войной и $^2/_5$ — в начале 50-х годов до $^1/_2$ в первой половине 60-х и почти $^2/_3$ к исходу 70-х годов (32% в 1940 г., 39% — в 1950, 53% — в 1965, 63% — в 1980 г.). Во многих регионах она поднялась до $^3/_4$ населения.

Разумеется, сосредоточение в городах большей части населения не сразу и не во всем меняет качественные, социально-культурные характеристики народа. Не будем смешивать такие характеристики с формальной образованностью. Как раз система школьного обучения в 50—70-е годы, как, впрочем, и раньше, расширялась высокими темпами, вполне соответствовавшими урбанизации или даже опережавшими ее. Уже в начале этого периода совершился переход от всеобщего начального к всеобщему неполному среднему образованию. К концу 70-х годов люди, имеющие неполное среднее и более высокое образование, составляли большинство советского народа (64% среди лиц старше 10 лет в 1979 г. против 11% в 1939 и 36% в 1959 г.) и подавляющую часть работающих (81% в 1979 г. против 12% в 1939 г. и 43% в 1959 г.) [1]. Но если иметь в виду не школу, а культуру в более глубоком смысле, как систему ценностей, норм, образцов поведения, дело обстоит сложнее.

Люди, выросшие в деревне и переселившиеся в города, будучи взрослыми, отнюдь не сразу становились горожанами в подлинном смысле слова. Оказавшись в непривычной среде, они очень часто первоначально вос-

[1] См.: Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года, с. 23.

принимали не высокую городскую культуру, а как раз городское бескультурье (попутно забывая лучшее из культуры сельской). Это и понятно, ибо действительное, прочное врастание в новую социальную обстановку обычно происходит не у мигрантов, а у их детей, выросших в этой обстановке. Следовательно, те самые факторы, которые ускоряли рост количественных показателей урбанизации — в первую очередь наплыв переселенцев из деревни,— сами же замедляли усвоение городской культуры, препятствовали ее качественному развитию. Пока горожане оставались меньшинством или даже половиной народа, стремительное пополнение их за счет выходцев из села означало постоянное преобладание в составе городского населения людей промежуточной, так называемой маргинальной, культуры, воспитанных в негородских, неурбанистических условиях и лишь с трудом, не полностью приспособлявшихся к ней.

В данном отношении становление городского большинства означает качественный рубеж. По мере того как преобладание горожан становится устойчивым, уроженцы города (а не переселенцы из деревни) превращаются в главный источник роста городского населения. Поэтому вслед за превращением горожан в большинство населения СССР потомственные горожане стали превращаться в большинство городских жителей, а затем и всего народа в целом. Перед войной и после войны в деревне рождалось вдвое, в 50-е годы — в полтора раза больше детей, чем в городе (в 1940 г. в деревне родилось 4 млн детей, в городе — 2 млн; в 1960 г.— свыше 3 млн и более 2 млн). В конце 60-х годов число рождений в деревне и в городе сравнялось (и тут и там в это время ежегодно появлялось на свет по 2—2,5 млн детей). С 70-х годов большинство новых поколений советских людей с самого начала своей жизни живет в городах (в 1970 г. в деревне родилось 2 млн детей, в городах — 2, 3 млн; в 1980 г.— 2 млн и 2,9 млн) [1]. Началось размывание объективных условий, ставивших непомерно большую часть народа в пограничную, маргинальную ситуацию, при которой люди, чье детство и отрочество прошло в одной — деревенской, крестьянской — культурно-бытовой среде, в дальнейшем должны были жить и работать в совершенно иной обстановке —

[1] Расчет по данным: Народное хозяйство СССР в 1985 г., с. 5, 31.

городской и промышленной. Объективно кончилось то многолетнее окрестьянивание города, которое было одним из неизбежных следствий насильственного и чрезмерно быстрого раскулачивания деревни.

В органическом единстве с урбанизацией и проходившим одновременно расширением промышленной занятости (о котором говорилось выше) менялись в 50—70-е годы пропорции социальной структуры общества. На завершающих этапах индустриализации продолжалось развернувшееся еще в 30—40-е годы бурное расширение рабочего класса. Подобно урбанизации, количественный рост здесь привел к качественным сдвигам. В течение 30—40-х годов рабочий класс по численности сравнялся с крестьянством и даже чуть превзошел его. (В последний период сталинского правления на долю рабочих приходилось 40—45% занятого населения, на долю крестьянства — около 40%.) В 50-е годы рабочие стали самой большой общественной группой в стране, в 70-е — они составили абсолютное большинство трудящихся. На рубеже 70—80-х годов рабочий класс охватил $^2/_3$ народа, если не больше. Рабочие составляли в это время 60—65% занятого населения. Даже если принять в расчет одних только несельскохозяйственных рабочих (чтобы не учитывать тех, кто оказались рабочими в ходе преобразования в совхозы некоторых наиболее отсталых колхозов и кто по своему социально-культурному облику почти неотличим от колхозников), то и тогда на долю этой, заведомо рабочей части трудящихся придется к исходу 70-х годов 50—55% занятого населения. А ведь фактически в состав рабочего класса, помимо тех, кого относит к рабочим официальная статистика, входят немалые группы инженерно-технических работников и других специалистов.

Понятно, что с появлением рабочего большинства в механизме пополнения и воспроизводства рабочего класса происходят изменения, аналогичные сдвигам в воспроизводстве городского населения. Быстрый рост рабочего класса в то время, когда он составлял меньшинство населения, достигался главным образом притоком извне, и потому удельный вес его кадрового, потомственного ядра неизбежно оставался ограниченным. Когда же в стране образовалось рабочее большинство, относительная роль внешнего притока сократилась и на первый план выдвинулось естественное воспроизводство, пополнение из собственной рабочей среды. С этого

времени неустранимая в прошлом тенденция размывания кадрового ядра, своего рода окрестьянивания рабочего класса стала сходить на нет, начался и набирает все большую силу процесс превращения потомственных городских рабочих в наиболее многочисленную прослойку рабочего класса.

Как видно, социальное развитие советского общества в послесталинскую эпоху привело к складыванию в его социальной структуре количественных соотношений, типичных для индустриально развитой социалистической страны. Крестьянское и деревенское преобладание, сохранявшееся на ранних этапах форсированной индустриализации и даже после индустриального сдвига в ключевых точках экономики, заменялось в 70-е годы рабочим и городским большинством, закономерно возникающим, когда индустриальные преобразования подходят к завершению по всему фронту. К тому же завершение индустриализации есть одновременно начало постепенного (пока, увы, очень медленного) движения к научно-индустриальному производству. В некоторых отношениях этот новый процесс также сказался на изменении социального состава и социально-культурного облика советского народа, особенно в 70-е годы.

Отражением нарастающего (хотя и непрямого, проходящего через много опосредований) воздействия НТР является широкое развитие высоких уровней образования — полного среднего, специального, высшего. Быстрый рост десяти-одиннадцатилетнего образования привел к тому, что к середине 80-х годов оно стало у нас всеобщим; тогда же ежегодный прием в высшие и средние специальные учебные заведения (включая вечернее и заочное обучение) достиг примерно половины соответствующих возрастных групп (против десятой части в 30—40-е годы и пятой части в 50-е годы) [1]. В итоге доля хорошо образованных работников — людей с полным средним и более высоким образованием — поднялась, считая округленно, с 15% занятого населения в 50-х годах до 55—60% в начале 80-х, в том числе доля работников, имеющих высшее образование, с 3% до 10—15%, а среднее специальное — с 8% до 15—20% [2]. Подобная распространенность высшего и специ-

[1] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 523, 550; *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР, с. 28.

[2] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 523—524; *Гордон Л. А., Назимова А. К.* Рабочий класс СССР, с. 28.

ального образования явно превосходит нужды собственно индустриального производства.

В социальной структуре приметой влияния зарождающегося научно-индустриального производства (правда, влияния еще более опосредованного, чем в сфере образования) может служить превращение служащих и массовой интеллигенции во вторую по численности прослойку занятого населения. В 30—40-е , даже в 50-е годы на долю служащих и специалистов приходилось 15—20% работающих, из них на долю специалистов с высшим или специальным образованием — 5—10%. К концу 70-х годов служащие и специалисты составляли 25—30% трудящихся, в том числе специалисты — едва ли не 20% [1]. Служащие и интеллигенция, бывшие в период форсированной индустриализации очень небольшой частью советского народа, сегодня по своей численности в 2—3 раза превосходят крестьянство и составляют примерно половину от числа рабочих. Одних лишь специалистов с законченным высшим образованием в современном народном хозяйстве занято больше, чем колхозников (15 млн против 12 млн) [2].

При этом технико-технологические сдвиги, рождаемые НТР, ведут к тому, что многомиллионные слои инженерно-технической интеллигенции включаются в рабочие коллективы, подчиняются их дисциплине, живут с ними едиными интересами. Миллионы других инженеров, техников, конструкторов, программистов, научных работников образуют крупные коллективы конструкторских бюро институтов, вычислительных центров, научно-производственных объединений, экспериментальных предприятий. По главным факторам социальной принадлежности — отношению собственности, роли в организации производства, по степени коллективности труда и характеру его организации — объективное положение большинства работников в этих коллективах мало чем отличается от положения рабочих на промышленных предприятиях, тем более что в составе традиционных рабочих профессий формируется особый слой рабочих-специалистов, людей, имеющих среднее специальное, а то и высшее образование.

---

[1] См.: Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года, с. 157; Социальное развитие рабочего класса СССР, с. 226.

[2] См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет, с. 411, 418.

Число их равняется ныне (в зависимости от критериев) 5—10% рабочего класса и, несомненно, будет расти по мере развертывания научно-технической революции.

Оба процесса — и охват индустриальной, рабочей организацией труда многих интеллигентов, и приближение образованности, интеллектуальности многих рабочих к уровню массовой интеллигенции — объективно ведут к сближению, а то и прямому слиянию больших групп интеллигенции и рабочего класса. В обществе возникает, по сути дела, единая рабоче-интеллигентская социально-культурная среда, создающая немаловажные предпосылки для того, чтобы в ней быстрее и теснее, чем когда-либо ранее, соединялись, по ленинскому выражению, «лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе, а именно: передовые рабочие, во-первых, и, во-вторых, элементы действительно просвещенные...» [1].

В формировании массовой интеллигенции и в ее сближении с рабочим классом существенные отличия нынешней социальной структуры нашего общества от социальной структуры 30—40-х годов выступают столь же явственно, как и в образовании рабочего и городского большинства или сокращении численности крестьянства. Эти отличия, пожалуй, в самом общем виде подтверждают, что в послесталинские десятилетия общество не стояло на месте, что общественное развитие продолжалось. Именно в 50—70-е годы наша страна впервые в своей истории перестала быть преимущественно крестьянской, сельской по составу населения, но стала в этом смысле страной урбанистической, рабочей и интеллигентской. К добру или к худу, не мужик теперь главный «сеятель» и «хранитель» страны, а в первую голову рабочий, инженер, ученый.

Подтверждая в самом общем виде размах перемен, совершившихся в 50—70-е годы, сдвиги в социально-культурном облике и социальном составе народа дают одновременно обобщенную картину однобокого, уродливого характера общественных изменений, происходивших в это время. Абстрактно говоря, урбанизация, повсеместное распространение городских ценностей, городского строя жизни, проистекающее отсюда сокращение крестьянства и превращение рабочих и интеллигенции в главную часть народа составляют у нас, как и

[1] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 391.

во всем мире, неотъемлемые, обязательные компоненты общественного прогресса. Без них невозможно ни завершение индустриализации, ни развертывание НТР, ни переход к научно-индустриальному производству. А значит, невозможно и получение достаточного объема благ, чтобы удовлетворить потребности общества и сделать достижения современной цивилизации доступными для всех. В конечном счете без подъема образованности, без урбанизации и формирования рабоче-интеллигентского большинства в стране нельзя преодолеть сталинистское наследие, осуществить реальную демократизацию нашей жизни. Несчастье, однако, в том, что социальные и культурные перемены последних десятилетий, будучи сами по себе необходимыми и неизбежными, не были достаточными, полными условиями прогресса. Социально-культурное развитие, не подкрепленное экономическими и политическими реформами, как и развитие экономики, выливалось в изолированное, половинчатое изменение отдельных сторон общественной жизни, зачастую только усиливавшее ее диспропорции. Течение прогресса всегда противоречиво, всегда влечет за собой не только позитивные, но и негативные последствия. Те половинчатые процессы, в форме которых шел у нас социальный прогресс в 50—70-е годы, нередко кончались тем, что создаваемые ими позитивные возможности оставались нереализованными, а сопряженные с ними противоречия и проблемы, напротив, обострялись и гипертрофировались.

Кандалы непреобразованной административной экономики и недемократизированной политической системы сковывали развитие сельского хозяйства, препятствовали его современной интенсификации. Поэтому вполне нормальный (и даже замедленный по мировым стандартам) темп перехода населения из аграрного сектора в промышленность, культуру, обслуживание начинал ощущаться как чрезмерный. При всем ускорении урбанизации в 50—70-е годы в сельском хозяйстве СССР до сих пор занято около 20% работающего населения. Это вдвое, если не втрое, больше той доли трудящихся, которой при современных средствах производства, не отягощенных административным управлением, достаточно для того, чтобы с лихвой удовлетворить продовольственные нужды народа. (В промышленно развитых странах без административно-хозяйственной системы аграрное изобилие достигается

трудом 5—10% занятого населения; да и у нас первые же попытки широкого введения подряда и аренды показывают, что реальные проблемы сельского хозяйства связаны не с недостатком трудовых ресурсов, а скорее с избыточным аграрным населением.)[1] Но пока сохраняется административная, внерыночная аграрная экономика, то сокращение занятости, какое произошло у нас, становится источником дефицита труда в сельском хозяйстве.

К тому же гнет административных порядков, их несоответствие естественному стремлению человека к разумной работе и самовыражению в труде ощущались в сельском хозяйстве сильнее, чем где бы то ни было еще. Поэтому действие общемировой закономерности сокращения аграрной занятости отличалось в нашей стране той особенностью, что из деревни очень часто раньше всего уходили не самые слабые, не выдерживающие конкуренции работники (как это бывает обычно), а, наоборот, работники наиболее сильные и квалифицированные. Они менее других склонны мириться с нерациональным хозяйствованием и более других уверены в том, что найдут себе дело в городе. Вымывание лучших крестьянских сил, начатое в 30-е годы раскулачиванием, продолжалось в других формах и в последующие десятилетия. Энергичный, инициативный, культурный крестьянин современного фермерского склада, умеющий производить вдесятеро против прежнего и притом жить цивилизованной жизнью, не стал в этих условиях ведущей фигурой нашего села. Чуть ли не единственной нравственной и в большой степени хозяйственной опорой деревни продолжают быть немногие, обычно пожилые люди, еще сохранившие старую крестьянскую закваску,— герои В. Распутина и В. Белова. Но сегодня на одних традициях село стоять не может. Да и не может оно только на этих традициях давать столько продукции, чтобы кормить многократно и необратимо выросший город.

В том, что административная система не дала сформироваться сельскому работнику нового типа, что она способствовала распространению люмпенской психологии,— одна из причин, объясняющих, почему в громадных регионах естественный процесс сокращения численности крестьянства обернулся в 50—70-е годы

[1] См.: *Воробьев В., Сомов В.* Пыталовский прорыв.— Правда, 1988, 5 сентября.

противоестественным загустением деревни. И почему многие из общих для нашей страны явлений социально-культурной деградации, вроде пьянства, задели село особенно болезненно.

Впрочем, в общественном организме все взаимосвязано. Те же обстоятельства, которые обусловили неблагополучные итоги естественных перемен в деревне, придали нездоровый характер течению ряда социальных процессов и за ее пределами. С 50-х годов административно-авторитарная система настолько не соответствовала главным потребностям общества, что ее функционирование — даже в смягченном варианте — повсюду искажало нормальный ход прогрессивных в принципе социальных сдвигов. В обстановке ее продолжающегося господства эти сдвиги вели к частичным, иной раз уродливо-болезненным результатам не только в деревне, но и в городе.

Постепенное превращение советского народа в народ преимущественно городской по образу жизни, рабочий и интеллигентский — по роду занятий создало существенные предпосылки для массового развития социальных свойств и качеств, необходимых для эффективного труда в научно-индустриальном производстве, здорового быта на базе изобильного, быстро меняющегося потребления, активной общественной жизни в условиях демократии и правового государства. Но без экономических и политических реформ не возникли другие нужные для этого предпосылки: не двинулось сколько-нибудь интенсивно развитие научно-индустриального производства, не обогатилось достаточно заметно реальное потребление, не началась действительно серьезная демократизация управления.

В этой обстановке даже такой абсолютно необходимый в эпоху НТР процесс, как быстрое нарастание численности работников умственного труда, оказывается источником экономической напряженности и противоречий. Миллионы и десятки миллионов специалистов есть важнейший залог успеха в производстве научно-индустриального типа. Но если число работников интеллектуального труда растет в нормальном для НТР (т. е. быстром) темпе, а сама НТР топчется на месте, огромное число специалистов — потенциальное богатство страны — становится как бы чрезмерным. Совокупный работник общества приобретает научно-индустриальное строение, но это строение не дает должного эффекта,

ибо само производство остается непреобразованным, «доэнтээрным». В этом глубинная, конечная причина малой эффективности прикладной науки и опытно-конструкторских разработок в нашем обществе, исток того ощущения якобы чрезмерной распространенности и недостаточной эффективности умственного труда, который все чаще дает о себе знать в мире массового сознания.

Еще яснее выступают противоречия в изменении социального и культурного облика горожан.

Потомственным горожанам, привычным к промышленному или умственному труду, к городскому потреблению, овладевать современными квалификациями, осваивать достижения НТР, вживаться в меняющийся под ее влиянием ритм быта много легче, чем выбитым из традиционного уклада горожанам и рабочим первого поколения. И действительно, квалификация, техническая сноровка, общая образованность десятков миллионов людей стали расти в последние десятилетия быстрее, нежели раньше. Однако, пока нет политической экономической демократии, трудно надеяться на то, что в народной среде — независимо от того, из кого она состоит,— получат массовое распространение и станут привычными такие свойства, как сознательная дисциплинированность, ответственность, умение сочетать инициативу с добросовестным участием в коллективных усилиях.

Упрочившееся в 30—40-е годы отчужденное отношение к труду и общественным делам в подобной обстановке не исчезает. В известном отношении оно даже усугубляется, ибо хорошо образованный, лучше информированный и высококвалифицированный человек наших дней часто воспринимает свое подчиненное положение в труде и общественно-политической жизни острее, чем ощущал его пресловутый «винтик» сталинского времени. Тем более что социально-психологическое действие отчуждения при прочих равных нарастает со временем так, что оно как бы само собой усиливается год от года.

«Накопительный эффект» объясняет, кстати, и то обстоятельство, что в последние десятилетия явственнее выступили негативные следствия некоторых других социально-культурных процессов, которые, казалось бы, сравнительно благополучно развивались в 30—40-е годы. В частности, с продолжительностью воздействия

связано, скорее всего, обострение проблем повседневной нравственности, морали каждодневного труда и быта. Столетиями определенный уровень соблюдения исходных требований нравственности — честности, добросовестности, верности долгу и обязательствам, коренных норм общения с близкими, соседями, товарищами по труду, уважения к закону — поддерживался с помощью взаимодействия традиций и государственного порядка. (Разумеется, государство поддерживало и многие другие нормы, но не о них сейчас речь.) Громадное значение при этом имел ограниченный уровень школьной образованности масс, в рамках которого только и могла действовать традиция, безоговорочное принятие большинством детей моральных норм, передаваемых им родителями посредством необсуждаемого внушения. Городской строй жизни, индустриализация, рост просвещения делают невозможным некритическое следование традициям и тем самым подрывают механизм воспроизводства традиционной морали. В обстановке форсированной социалистической индустриализации, осуществляемой в стране, где к тому же десятилетием раньше развертывалась великая народная революция, слом традиций происходил особенно стремительно. Традиционные механизмы и многие традиционные устои нравственности у нас зачастую сокрушались, буквально выкорчевывались.

В принципе социализм в своих цивилизованных и демократических формах способен создать систему социалистической морали и социалистического нравственного воспитания. Эта система не исключает, а включает, вбирает усвоение главнейших, фундаментальных истин относительно добра и зла, дополняя их нормами коллективизма и методами передачи от поколения к поколению, пригодными для образованных и информированных людей. Однако в условиях сталинщины с ее жесткой авторитарностью, в обстановке нищеты и двоедушия разрушение традиционных форм поддержания нравственности шло гораздо быстрее создания новых этических механизмов.

В своем месте мы уже говорили, что в подобной ситуации легко возникала опасность появления нравственного вакуума. Опасность эта первоначально смягчалась инерцией традиций, революционно-романтическим энтузиазмом веры в будущее, патриотическим воодушевлением Отечественной войны. Но действие указанных

факторов по самой их природе было временным. К концу сталинского правления разрыв между уничтожением старых форм нравственности и складыванием новых стал приобретать вполне ощутимый характер.

К сожалению, «зона морального вакуума» продолжала расширяться и в послесталинские десятилетия. Время и дальнейшее повышение образованности делали традиционные формы морали (подчеркнем, главным образом именно формы) все менее и менее действенными. Вместе с тем недемократизм административно-бюрократической системы 50—70-х годов, фальшь ее лозунгов, пропаганды, идеологии и лицемерие многих ее деятелей, прямое сращивание ряда звеньев бюрократии с преступным миром по-прежнему тормозили складывание новых, адекватных современным условиям форм нравственности. Как и раньше, параллельно с подъемом образования и развития цивилизации шло нарастание элементов нравственного распада. В некоторых своих проявлениях — пьянстве в первую голову — этот распад достиг кризисного уровня.

Как видно, развитие на основе половинчатого видоизменения административно-авторитарной системы, характерное для послесталинских десятилетий, имело своим итогом нарастание противоречий и диспропорций во всех сферах жизни общества. Прогресс производства развертывался таким образом, что, способствуя завершению индустриализационных процессов, он препятствовал широкому внедрению достижений НТР, тормозил переход от индустриального к научно-индустриальному технологическому способу труда.

Выросший уровень производительных сил и культуры народа, равно как и общее усложнение социально-экономических и политических отношений, сделали неизбежными некоторую децентрализацию хозяйственно-политического механизма, известное смягчение политического режима, прежде всего отказ от массовых репрессий. Но проводимые без утверждения полного хозрасчета и широкой самостоятельности экономических единиц, их превращения в товаропроизводителей, работающих на рынок, без глубокой демократизации политических порядков эти, вообще говоря, позитивные тенденции создавали условия для усиления ведомственного и локального бюрократизма, теневой экономики, идеологического манипулирования, для повышения роли личных, групповых, родственно-клановых связей.

В свою очередь социальное развитие на базе замедленно растущей экономики и недемократизируемой политики сводилось к ограниченному подъему благосостояния при резком отставании реального жизненного уровня от потребностей, к распространению образованности без нравственной культуры, соответствующей условиям городской и индустриальной жизни. В стране складывалось рабоче-интеллигентское большинство при недостатке у этого большинства многих социально-культурных свойств, необходимых рабочим и интеллигентам в современном производстве и в современном мире.

Расплата за столь противоречивый ход общественного прогресса оказалась суровой — «равнодушие, ослабление социальной активности масс, отчуждение человека труда от общественной собственности и управления»[1]. Да и сам прогресс, связанный с подобными противоречиями, не мог быть постоянным или хотя бы долговременным. Во второй половине 60-х годов заглохли всякие попытки преобразования политических институтов и политическая жизнь надолго пришла в состояние застоя. С 70-х годов отчетливо обозначились застойные явления в экономике, культуре, социальном развитии. В конце 70 — начале 80-х годов эти тенденции стали преобладающими. Противоречивый, односторонний, непоследовательный прогресс сменился застоем.

Иными словами, возможности развития в рамках умеренного, либерализированно-бюрократического варианта административно-авторитарной системы оказались исчерпанными вместе с завершением индустриализационных преобразований. Такие возможности и раньше были невелики, поскольку они оставляли простор лишь для процессов, которые уже с 50-х годов перестали быть главными и решающими. Но известное пространство развития все-таки имелось, так как, перестав быть главным, завершение индустриализации некоторое время продолжало играть достаточно заметную роль в жизни общества. Однако к исходу 70-х годов значимость собственно индустриальных преобразований почти полностью сошла на нет. То, что еще осталось нерешенным из проблем индустриальной стадии (например, обеспечение страны продовольствием с помощью труда небольшой доли населения), окончательно сли-

---

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 37.

лось с процессами становления научно-индустриального производства. А эти процессы и в своих прямых производственных проявлениях, и в проявлениях косвенных, связанных с социально-культурными переменами, не могут сколько-нибудь успешно развиваться ни в каком варианте административно-авторитарной системы. Говоря языком традиционных марксистских понятий, народнохозяйственное развитие Советского Союза в 50—70-е годы подняло производительные силы на такой уровень, настолько приблизило их к переходу на стадию научно-индустриального производства, что они пришли в коренное противоречие с экономическими (прежде всего производственными) и политическими отношениями деформированного, монопольно-государственного социализма как такового, независимо от тех или иных особенностей различных его разновидностей. В 70-е годы всякий прогресс нашего общества остановился потому, что он уперся «именно в окостеневшую систему власти, в ее командно-нажимное устройство...» [1]. Общество пришло в предкризисное, а во многих сферах прямо кризисное состояние.

В этом отношении развитие советского общества в течение трех десятилетий, после того как умер Сталин и сталинщина в буквальном смысле перестала существовать, не сделало менее острой необходимость уничтожения сталинизма, устранения деформаций реального социализма, возникших в 30—40-е годы [2].

---

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 37.

[2] В непосредственном рассмотрении событий 30—40-х годов мы использовали понятия «сталинизм» и «сталинщина» как однопорядковые, почти синонимические. Однако в сопоставлении этих событий с последующим развитием представляется целесообразным учитывать различные оттенки указанных понятий. Отталкиваясь от определений, предложенных Д. А. Волкогоновым (см.: *Волкогонов Д. А.* Шанс совести существует всегда...— Книжное обозрение, 1988, 12 августа, № 33, с. 8), мы обозначаем понятием «сталинизм» теорию, идеологию, политическую практику любых вариантов авторитарно-деспотической деформации социализма, коль скоро они апеллируют к имени Сталина и связанным с ним культурно-политическим символам; что же касается понятия «сталинщина», им обозначаются здесь наиболее одиозные формы и проявления сталинизма в нашей стране в 30—40-е годы. Соответственно сталинизм и элементы сталинизма существовали, существуют, могут существовать в будущем не только в нашей стране и не только в прошлом; сталинщина же — это то, что совершалось, писалось, провозглашалось у нас в период, когда И. В. Сталин находился у власти.

В 70—80-е годы такая необходимость стала еще более настоятельной, ибо исчезли возможности хотя бы половинчатого, противоречивого движения, которые имелись двадцать — тридцать лет назад. В 50-е годы следствием неспособности решительно покончить со сталинизмом и последовательно идти по пути XX съезда партии явился половинчатый прогресс, через два-три десятилетия закончившийся застоем и предкризисной ситуацией. Теперь, если говорить о перспективе десятилетий, попытки обойтись без радикального обновления, без перехода от административно-авторитарной системы к хозрасчетному и демократическому, гуманному социализму обрекают страну на застойное существование, грозящее закончиться экономической и социальной катастрофой.

5. Перспектива преодоления сталинистского наследия в условиях перестройки

Анализируя связь сталинизма и послесталинской эволюции общества, важно также отметить, что перемены, происшедшие в 50—70-е годы, несмотря на всю их противоречивость и половинчатость, не только обострили необходимость преодоления сталинского наследия, но и создали существенно более благоприятные условия для реализации этой потребности. Первостепенное значение в данной связи имеет отмеченное выше изменение социального состава и социально-культурного облика советского народа.

На рубеже 20—30-х годов поворот к форсированной индустриализации и авторитарному режиму происходил в стране с небольшим рабочим классом и подавляющим преобладанием малограмотного и раздробленного крестьянского населения, не имеющего демократических традиций, в обществе с относительно немногочисленным партийно-политическим авангардом, тоже не слишком образованным и не очень склонным к демократии. В 30—40-е годы авторитарно-деспотический режим функционировал в обществе, где стремительно увеличивалась доля рабочих, но где именно вследствие столь быстрого увеличения сам рабочий класс как бы складывался заново и его основную массу составляли недавние выходцы из деревни, выбитые из привычной колеи и еще не успевшие освоиться в городе. К тому

же на протяжении почти всех этих лет большинством населения все-таки оставалось крестьянство, причем крестьянство, только что пережившее коллективизацию и меньше, чем когда-либо, склонное к самостоятельной политической активности. Подобные черты социальной структуры и культуры нашего общества, если и не предопределяли господство сталинизма и сталинщины с абсолютной неизбежностью, явно способствовали такому господству.

Точно так же тот факт, что в начале послесталинского периода, да и в 60-е годы, структура общества изменилась лишь в ограниченной мере, сыграл немалую роль в том, что сталинистская система не была тогда преобразована радикально и дело ограничилось переходом к иному варианту административно-авторитарных порядков. Народные массы (горожане, рабочий класс прежде всего) стали к этому времени существенно более грамотными, их жизненные притязания и потребности возросли, и это оказалось немаловажным обстоятельством в ряду факторов, обусловивших прекращение массового террора, равно как и первые попытки поднять жизненный уровень. Однако в составе рабочего класса и городского населения вообще, хоть они и охватывали в это время уже половину народа, все еще преобладали люди, лишь недавно попавшие в рабочую городскую среду и еще далеко не вросшие в урбанистическую и промышленную культуру. И уж никак не изменился социальный облик второй, деревенской половины страны. Привычка к подчинению, социальная пассивность, инерция страха по-прежнему достаточно сильно ощущались и в городе и в деревне. В 50—60-е годы лишь некоторые экономические процессы — не всем еще ясные предвестники НТР — толкали общество к решительным переменам, тогда как социальная ситуация, казалось, позволяла сохранять в основном прежние порядки.

Тем важнее, что при всей половинчатости социального развития в 50—70-е годы в процессе и в итоге этого развития в советском обществе сложилась принципиально иная социальная ситуация. Как уже отмечалось, в 70 — 80-е годы впервые в своей истории наша страна по составу населения, его культуре, образу жизни перестала быть страной преимущественно крестьянской и деревенской. Мы превратились наконец в страну с устойчивым рабоче-интеллигентским и городским большин-

ством, со многими десятками миллионов людей, всю или почти всю жизнь живущих в городах, всю или почти всю жизнь связанных с промышленным, «обслуживательным», умственным трудом. В сочетании с внушительным ростом образования усвоение большинством народа (в том числе и немалой частью деревни) некоторых основ городской и промышленной культуры создает качественно новый уровень информированности масс, ведет к формированию совершенно нового строя потребностей, во многом нового мироощущения и мировосприятия. Десятилетия жизни без террора размывают традиции страха, воспитывают поколения, вообще не знающие ужаса массовых репрессий. Возникает, так сказать, новое социальное пространство, новая общественная среда, отличные от всего, что было у нас прежде. Успешное функционирование любых вариантов административно-авторитарной системы в этом пространстве явно менее вероятно, чем в условиях 30—40-х и даже 50—60-х годов.

Разумеется, рабоче-интеллигентское большинство, рост образованности и информированности народа, постепенная «отвычка» от страха сами по себе не дают никаких окончательных гарантий преодоления административно-авторитарных деформаций социализма и его демократического обновления. В общественном развитии окончательных гарантий вообще не бывает. Объективные социальные возможности реализуются тогда, когда они осознаются народом, слагающими его классами и группами, когда общественные потребности трансформируются в живые человеческие действия. Мы столь настойчиво подчеркиваем здесь кардинальное изменение объективной социальной ситуации только затем, чтобы обратить внимание на появление новых, отсутствовавших в прошлом условий, в рамках которых легче, чем раньше, добиваться массового понимания необходимости преодолеть сталинизм, легче вести борьбу за обновление нашего общества.

Вместе с тем именно потому, что мы стремимся реалистично оценить предпосылки борьбы со всем тем злом, которое обозначается понятиями сталинизма, сталинщины и описанию которого посвящена основная часть нашей работы, именно поэтому необходимо остановиться и на некоторых других последствиях перемен, происшедших в стране. Честный и трезвый анализ этих перемен приводит к выводу, что в социальной ситуации,

возникшей в результате противоречивого развития 50—70-х годов, имеются не только факторы, способствующие ликвидации сталинистских порядков, но также серьезные факторы, затрудняющие их преодоление.

И дело не только в том, что половинчатые сдвиги последних десятилетий отнюдь не устранили в социальной структуре общества бюрократические группы, многие условия жизни которых, как говорилось в предыдущих разделах, создают и поддерживают у них консервативные настроения, заинтересованность в возможно менее быстром, менее полном преобразовании административно-авторитарной системы. Помимо этого противоречия перемен, происходивших в 50—70-е годы, формировали определенную заинтересованность в сохранении такой системы у немалых категорий трудящихся. Еще чаще они создавали обстановку, мешающую многим из тех, чьи объективные интересы явно требуют полного преодоления сталинистского наследия, осознать эти свои интересы, обратить их в общественную активность.

Даже те процессы урбанизации и становления рабоче-интеллигентского большинства, которые в конечном счете лишают сталинизм надежной социальной и культурной почвы, другими своими сторонами как бы «унавоживают» эту почву. Ибо понятно, что упоминавшиеся выше противоречия социально-культурного прогресса и связанное с ними распространение явлений пассивности, отчуждения, расхлябанности, привычки к уравнительности, безнравственности нисколько не помогают росту массового сознания и массовой активности, ориентированных на демократизацию и обновление.

И это лишь лежащее на поверхности, наиболее очевидное из того, что препятствует формированию подобного сознания и подобной активности. Противоречия 50—70-х годов создали и более глубокие, труднее устранимые факторы, обуславливающие возможность появления массовых настроений, не связывающих перспективу будущего страны с очищением от сталинистского наследия. Половинчатость перемен, происшедших в послесталинские десятилетия, осложнила проблему перестройки и обновления нашего общества таким образом, что сама эта сложность благоприятствует возникновению иллюзорных представлений о возможности улучшить жизнь народа и предотвратить сползание страны к кризису без устранения сталинизма, а то и с помощью

возрождения порядков сталинистского типа. Сегодня, после того как в течение тридцати с лишним лет функционировала не сталинская — откровенно деспотическая, а бюрократизированная, полуолигархическая разновидность административно-командной системы, перестраивать нужно не только то, что сложилось в 30—40-е годы, но и то, что наслоилось (и разложилось) в 50-е.

В экономике мало заменить сложившийся в 30—40-е годы административно-хозяйственный механизм и командное планирование планово-товарным хозяйством, предполагающим сочетание разнообразных форм государственной, кооперативной, арендной, личной собственности, использование товарно-денежных рычагов, рынка и т. п. Надо еще преодолеть появившиеся позже пороки «экономики согласования» — ликвидировать теневые экономические отношения, систему хозяйственных злоупотреблений и незаконных сделок, самоуправство хозяйственников, устранить бюрократический порядок бесконечного согласовывания и добиться реального исполнения решений центра по стратегическим вопросам народнохозяйственного роста.

В социальной сфере недостаточно отбросить возникший в первые пятилетки остаточный подход к определению макропропорций национального дохода и перейти к паритетному принципу выделения средств для текущих нужд производства и социального развития, недостаточно добиться подъема народного благосостояния в соответствии с ростом потребностей. Кроме этого необходимо ликвидировать то, что широко распространилось в последние десятилетия: коррупцию, казнокрадство, использование служебного положения для получения незаработанных денег, преодолеть уравниловку, устранить дифференциацию, не связанную с результатами труда. Нужно, короче, привести в соответствие реальность распределения и представления трудящихся о социальной справедливости.

В политической и общественной жизни вместе с демократизацией, с переходом от авторитарного управления к управлению на основе законности и общественной самодеятельности нужно также устранить самовластие местной и ведомственной бюрократии, сделать невозможным широкое распространение личных, родственных, клановых связей в органах власти, с корнем вырвать ростки организованной преступности в государственных и общественных учреждениях. Наряду с

открытым беззаконием сталинщины, с тотальным догматизмом сталинистского подхода к идеологии и культуре важно уничтожить в нашей жизни лицемерие и фальшь послесталинской политической и идеологической практики, позволявшей прикрывать нарушения закона, отсутствие духовной свободы лживыми словами и посулами. Преодоления требуют не только следы тирании, свирепствовавшей в 30—40-е годы, но и элементы олигархии, зародившиеся во времена застоя.

Сложность, многомерность объективных задач обновления, переплетение в их ряду проблем, выросших из двух вариантов административно-авторитарной системы (деспотического и бюрократического), как раз и создают условия, в которых размежевание общественных сил в их отношении к перестройке зачастую оказывается не слишком четким, легко появляются иллюзии относительно значения тех или иных проблем перестройки и возможности решать одни ее задачи в отрыве от других. Ведь радикальное улучшение нашей жизни действительно требует устранения не только того, что родилось в годы сталинщины. Трудности, появившиеся через много лет после смерти И. В. Сталина, в иную эпоху, при иных руководителях, реально, на самом деле существуют в обществе. Миллионы людей каждодневно сталкиваются с ними, ощущая эти столкновения как проявления сегодняшнего, а не вчерашнего зла.

Во многом так оно и есть на самом деле. Нераспорядительность, произвол, коррупция местных и ведомственных руководителей, недисциплинированность, распущенность, пьянство рядовых работников, организованная преступность и вправду встречаются сейчас чаще, чем в 30—40-е годы. Кроме того, многие социально-экономические болезни, возникшие и вполне проявившиеся тогда, теперь выступают в несколько иных, непривычных формах. Так обстоит дело с недостаточной эффективностью и плохой организацией производства, бытовыми трудностями, повседневными дефицитами, социальной дифференциацией и социальными привилегиями. Новые формы того, что бывало и раньше, нередко воспринимаются как новые явления, как нечто, чего в прошлом вообще не было и что возникло только в последние десятилетия.

К тому же массовому сознанию вообще свойственна известная идеализация прошлого, способность вырабатывать убеждения, что в прежнем быту было гораздо

меньше плохого, чем в наши дни. Наоборот, в этом сознании далеко не всегда ясной оказывается причинно-следственная связь сегодняшних негативных явлений с прошлым. Не в каждом случае легко уяснить, что многие беды, с которыми мы сталкиваемся сейчас, зародились раньше и лишь не успели тогда развиться, что их сегодняшний размах есть простое наращивание, продолжение процессов, появившихся в прошлом. Так, например, обстоит дело с пьянством и коррупцией. Еще труднее надеяться на то, что в массовом сознании само собой, так сказать, стихийно сложится представление о том, что главные противоречия 30—40-х и 50—70-х годов при всех их различиях в конечном счете растут из одного корня — основных деформаций социализма, присущих административно-авторитарной системе во всех разновидностях.

Острота проблем в нашем обществе способствует утверждению всеобщего убеждения в необходимости перемен. Неоднородность этих проблем, их непосредственная обусловленность разными видами административно-авторитарных порядков вызывает появление неодинаковых подходов к переменам. Ибо очевидно, что при общенародном ощущении невозможности жить по-старому (да и управлять по-старому), выход из трудностей существующего положения (именно вследствие их многослойности) может видеться па очень различных путях. На путях обновления корневых структур социализма, что связано с перестройкой как того, что осталось от деформаций сталинской эпохи, так и того, что добавилось к ним в брежневские времена. И на путях борьбы в первую очередь с бюрократизацией, расхлябанностью, распущенностью последних десятилетий во имя иллюзорного восстановления административного порядка, якобы существовавшего в прошлом. И даже на путях одной только критики сталинщины, идейно-нравственного разоблачения ее принципов, достаточных, дескать, чтобы возобновить эффективную работу нашего хозяйственно-политического механизма.

В научном анализе (и опыт дискуссий последних лет подтверждает это практически) в общем удается доказать, что в большой исторической перспективе только первый путь ведет к преодолению кризиса. В этом смысле альтернативы обновлению и всеобъемлющей перестройке действительно нет. Но общественное и тем более массовое сознание движется не по законам научного

анализа. Уже чисто логическая возможность существования различных подходов к решению сегодняшних задач делает чрезвычайно вероятным их фактическое проявление как в более или менее рационализированных взглядах различных групп общественности, так и в эмоциональных настроениях различных слоев массового сознания. Если же существование гносеологических предпосылок (в данном случае сложность и неоднородность актуальных проблем) сочетается с наличием социальных предпосылок возникновения разных подходов к решению имеющихся проблем, реальное появление таких подходов и развертывание общественной борьбы вокруг них становится неизбежным.

Между тем социальные предпосылки такого рода в нашем обществе имеются. Объективно (да и субъективно) все классы, группы, слои, слагающие наше общество, заинтересованы в радикальном изменении положения, к которому пришла страна после десятилетий форсированной индустриализации и половинчатого прогресса последующего периода, под воздействием «того, что деформировало социализм в 30-е годы и что привело его к застою в 70-е годы» [1]. Но заинтересованы в этом различные общественные силы не вполне одинаково.

Объективный интерес основных слоев народа, в первую очередь его наиболее развитых, квалифицированных, теснее всего связанных с ростом научно-индустриального производства групп, состоит в возможно более быстрой и полной перестройке, в преобразовании экономики на основе самостоятельности предприятий, кооперативов, индивидуальных производителей, в демократизации политического устройства и культурной жизни. Для большинства рабочих и служащих подобная перестройка создаст возможность хорошо организованного и несущего удовлетворение труда, участия в управлении производством и общественными делами, позволит честно добиваться высоких заработков и высокого уровня жизни, приобщит их к благам гласности и правового государства. Крестьянам сверх того она откроет путь к тому, чтобы стать действительно эффективными работниками, подлинными хозяевами своей земли и своего труда. Научная и художественная интеллигенция

---

[1] Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 86.

получит простор для свободного творчества. Политическое руководство общества после экономических реформ, демократизации, обновления идеологии (и только после этого) сможет по-настоящему успешно обеспечить внутренний прогресс страны и защиту ее международных интересов, в главном — достижении прочного мира — совпадающих с интересами человечества.

Однако в обществе имеются определенные группы, для которых переход к планово-товарной экономике, демократии в политике и плюрализму в идеологии чреват немалыми трудностями. Менее квалифицированным трудящимся, особенно в отраслях и сферах, где еще не чувствуется влияние НТР, работникам, привыкшим к неинтенсивному труду и уравнительному распределению, будет непросто приспосабливаться к условиям соревновательной, хозрасчетной экономики, к высокой дифференциации заработков при последовательной ориентации на оплату за конечные результаты труда. Малокультурным слоям населения не слишком нужна гласность, а непривычный плюрализм мнений лишь раздражает их. Бюрократизированной части аппарата экономические реформы и демократизация грозят потерей влияния и власти, необходимостью переучиваться, иной раз заново искать место в жизни.

И эти группы тоже не удовлетворены нынешним положением. Недовольство одних — менее квалифицированных рядовых работников — вызывает главным образом низкий уровень жизни, коррупция и дефицит товаров и услуг; другие — некоторые работники управления, аппарата, ведомств — очень остро ощущают отсутствие элементарного порядка на производстве и в обслуживании, неэффективность непрерывного согласования, невозможность обеспечить четкое выполнение решений центра, добиться дисциплины и качественной работы подчиненных. Однако жизненные обстоятельства, обуславливающие сложность их положения в случае проведения радикальных хозяйственно-политических преобразований, делают их заинтересованными в устранении именно и только тех трудностей, которые выявились преимущественно в 50—70-е годы и которые, как им кажется, могут быть устранены на базе совершенствования административной системы. (Разумеется, в сознании подобного типа порядки, подлежащие совершенствованию, выступают не в качестве ад-

министративной системы, а как фундаментальные устои социализма.)

Таким образом, и социальная структура нашего общества, и состояние его сознания ведут к возникновению не слишком часто появляющейся в истории ситуации, когда сохранения существующего порядка не хочет никто или почти никто. Противоречия и борьба, определяющие ход общественного прогресса, выступают в подобной ситуации не столько в виде столкновения сторонников и противников перемен, сколько в форме борьбы сторонников различных перемен. Точно так же и у нас теперь практически нет явных противников перестройки. Но у нас нет (да в нормальном обществе его и не может быть) полного единодушия и единомыслия в отношении ее содержания. По существу, разворачивается открытая и скрытая, осознанная и неосознанная борьба людей и групп вокруг различных, подчас диаметрально противоположных вариантов перестройки. Речь идет не об одной, а как бы о нескольких перестройках. И от того, какая из них воплотится в жизнь, зависит будущее страны.

Понимание перестройки, выдвинутое руководством КПСС, и соответствующая этому пониманию стратегия ее осуществления изложены в партийных документах, одобренных большинством партии и народа,— в решениях XXVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной партийной конференции, Пленумов Центрального Комитета, состоявшихся в 1987—1988 гг. Цель этой стратегии — достижение качественно нового состояния общества, переход от деформированного, обюрокраченного и огосударствленного социализма к социализму с гуманным и демократическим обликом. Ее главные средства — демократизация, экономическая реформа, преобразование политической системы [1].

Повторим: по нашему убеждению, в большой исторической перспективе только такая стратегия, предполагающая демонтаж всех основ административно-авторитарной системы — и в сталинистской и в послесталинистской ее разновидностях,— открывает путь к выходу из тупика и дает реальную надежду на ускорение общественного прогресса. Иные подходы рано или поздно обнаружат свою утопическую, иллюзорную природу.

---

[1] См.: Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза, с. 160.

Но применительно к перспективе ближайших нескольких лет, а подобные сроки в периоды революционного развития имеют едва ли не решающее значение, другие варианты борьбы с современными трудностями также могут казаться эффективными и находить определенную поддержку в обществе.

Как известно, в 1988 г. был обнародован ряд статей, писем, выступлений, которые объективно, независимо от субъективных намерений их авторов позволяют говорить о попытке выдвинуть платформу, альтернативную курсу, принятому руководством КПСС. В этой платформе отвергается необходимость коренного обновления нашего общества, но в ней вовсе не берутся под защиту все стороны сегодняшнего положения. Идеи подобного рода направлены на изменение существующих порядков, но изменение, связанное с иллюзией возрождения режима 30—40-х годов в очищенном и улучшенном виде. Это курс не ликвидации административно-авторитарной системы, а замены одного ее варианта другим. Однако это курс, отражающий как объективные интересы, так и вполне искренние убеждения (отчасти, впрочем, и предубеждения) немалых общественных слоев. Носителям таких убеждений сталинизм, может быть чуть смягченный, действительно кажется идеалом общественного устройства. Неудивительно, что шире всего распространившееся выступление этого типа стало «манифестом антиперестроечных сил»[1] и получило их открытую поддержку. Поскольку подобные интересы и настроения имеются в жизни, они и дальше будут так или иначе выражаться в общественном сознании[2].

Кроме того, могут появляться (и фактически появляются) своего рода промежуточные ориентации, отражающие компромиссные подходы к ключевым проблемам общественной жизни. Они рождаются и из логической возможности неодинаково, в том числе непоследовательно, решать актуальные задачи, возникающие

[1] См.: Принципы перестройки: революционность мышления и действий.— Правда, 1988, 5 апреля.

[2] Показательны в этом отношении высказывания бывшего работника прокуратуры И. Шеховцова на упоминавшемся ранее судебном заседании в сентябре 1988 г., где рассматривался предъявленный им писателю А. Адамовичу в газете «Советская культура» иск в том, что, разоблачая преступления 30—40-х гг. и критикуя тех, кто отстаивает идеалы сталинского периода, они порочат «честь и достоинство» И. В. Сталина и его, И. Шеховцова, защищавшего сталинские действия. При

в обществе, и из реальной (так сказать, онтологической) противоречивости действующих в нем социальных интересов и потребностей. Скажем, в отношении политического и экономического устройства принятая партией линия руководства КПСС провозглашает внутренне согласованную, последовательную стратегию, предполагающую демократизацию и плюрализм мнений в политике, усиление самостоятельности производителей, полный хозрасчет, планирование с учетом закономерностей рынка в экономике. В пресловутом «манифесте антиперестроечных сил» и примыкающих к нему публикациях столь же последовательно отстаиваются идеи отладки, очищения, совершенствования централизованного административного хозяйствования и директивного планирования в экономике, иерархической, направленной сверху вниз и не допускающей никакого плюрализма системы управления в политике.

Промежуточные подходы к этим же проблемам выражаются в своего рода непоследовательных сочетаниях идей, представленных в последовательных ориентациях и стратегиях. (Понятно, мы говорим здесь о грубой, схематической классификации, а не о фактических путях возникновения тех или иных идейных и политических построений.) В одних случаях речь может идти, например, о предложениях осуществлять демократизацию и вести борьбу с произволом бюрократии в политической сфере, но ограничиваться совершенствованием административной системы в экономике, с тем чтобы избежать напряженностей, создаваемых внедрением товарно-денежных и рыночных механизмов, усилением дифференциации доходов и т. п. В других случаях ос-

---

этом И. Шеховцов провозглашает, что «настоящие сторонники перестройки» — это как раз те, кто борется против «очернительства отечественной истории 20—40-х годов», кто хочет вернуть порядки, при которых «беспощадно выкорчевывалось все враждебное социализму — то, что ныне живет и развивается под вывеской многоголосия и многозвучия», кто выступает за «восстановление изложенного в «Кратком курсе» ленинского учения о социализме, извращенного в последние годы путем «нового» прочтения ленинских строк» (см.: Советская культура, 1988, 1 октября, с. 7). Ни одно из этих утверждений нельзя подтвердить фактами. (Напомним, что суд отклонил иск И. Шеховцова.) Но когда факты и логика противоречат интересам, они отбрасываются носителями этих интересов. Отбрасывание это субъективно может происходить совершенно искренне. Но общественная опасность подобной озлобленной и не считающейся с реальностью позиции не становится от этого меньше.

новной упор может делаться на последовательное развертывание экономических реформ, всемерное развитие в социалистической экономике товарных отношений, начал соревновательности, предприимчивости, оплаты по конечным результатам. Но при этом в политической сфере считается целесообразным ограничиться медленными переменами, совершенствующими административную систему и позволяющими, как думают в таких случаях, предотвратить опасность потери управления в период перестройки экономики. Собственно, если в «манифесте антиперестроечных сил» идеализируются все основные устои сталинизма, то в промежуточных идеях оправдываются (или по крайней мере считаются терпимыми) отдельные его стороны: в одном случае административное управление экономикой (якобы предотвращающее чрезмерную и несправедливую дифференциацию), в другом — административная политическая система (якобы гарантирующая общественный порядок).

При всей внутренней противоречивости ориентаций на демократизацию без экономических реформ и экономические реформы без демократии эти промежуточные ориентации в определенных условиях и на определенное время могут (отчасти именно вследствие своей утопичности) оказаться привлекательными для значительных групп трудящихся и весомых общественных сил. Причем набор промежуточных ориентаций, в том числе и тех, где идеализируются элементы сталинизма, отнюдь не ограничивается приведенными здесь примерами. Достаточно вспомнить сложность национальных и региональных проблем, чтобы понять, с каким огромным разнообразием возможных подходов связано осуществление перестройки в нашей стране.

Для сторонников обновления социализма, для тех, кто стремится придать ему гуманистический и демократический облик, наличие в обществе многих подходов к перестройке представляется явлением нормальным и позитивным. Плюрализм мнений и идей есть норма демократизации, и именно через развертывание, сопоставление, соревнование различных идей пролегает лучший путь перестройки нашего общества, движения к его новому качественному состоянию. Но ясно, что успех подобного движения, обеспечение победы в идейном соревновании линии, выдвинутой руководством КПСС, требует борьбы, трудовой и общественной активности миллионов и миллионов людей.

В этой борьбе отношение к преобразованиям 30—40-х годов и к наследию сталинизма предстает не как проблема далекой истории. Половинчатые сдвиги послесталинских десятилетий не уничтожили сталинизм. Он еще не умер, не ушел в прошлое. Сталинистское наследие, сталинистские традиции участвуют в нашей общественной жизни. И как существующая до сих пор реальность многих экономических, политических, идеологических порядков, в основе своей сохранившихся со сталинских времен. И как обозначение главного в системе тех деформаций социализма, которые должны быть устранены в итоге перестройки. Но одновременно как символ, идеал, программа антиперестроечных сил и тех, что стоят за возрождение сталинизма из корыстных интересов, и тех, чьим интересам отвечает перестройка, но кто по незнанию думает, что можно избежать ее сложностей посредством воссоздания смягченной разновидности сталинизма. Разоблачение сталинской системы, разъяснение того, что такая система ведет общество в тупик, что она и в прошлом больше сковывала страну, чем развивала ее, а в настоящем представляет абсолютное препятствие общественному прогрессу, составляет поэтому непременное и немаловажное условие идейно-теоретического обеспечения перестройки.

В современном советском обществе есть объективные предпосылки, позволяющие преодолевать и преодолеть все, что еще осталось от сталинизма. К несчастью, в нашем обществе есть и условия, открывающие возможность сохранения сталинистских и неосталинистских иллюзий. От каждого из нас, от наших усилий, настойчивости, самоотверженности, зависит, удастся ли нам избавиться — и в обществе, и в нас самих — от проклятого сталинистского наследия, от всего, что мешает торжеству гуманистического и демократического социализма в нашей стране.

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой![1]

Сегодня эта гетевская строка звучит чуть выспренно. Но в ней правда. Либо в борьбе за обновление социализма мы преодолеем сталинизм полностью и до конца, обретем свободу и достойную жизнь, либо снова надолго окажемся в болоте застойного деспотизма, независимо от того, какие иллюзии будут устилать наш путь в его трясину.

---

[1] *Гете И. В.* Фауст. М., 1954, с. 342.

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Абрамович Гордон,
Эдуард Викторович Клопов

Что это было?

Размышления
о предпосылках
и итогах того,
что случилось с нами
в 30—40-е годы

Заведующая редакцией
Р. К. Медведева
Редактор
Д. М. Носов
Младший редактор
О. П. Осипова
Художник
В. Г. Штанько
Художественный редактор
В. И. Шедько
Технический редактор
Ю. А. Мухин

ИБ № 8113

Подписано в печать с матриц 31.03.89. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,33. Уч.-изд. л. 17,69. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 4661. Цена 1 р. 20 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

1 р. 20 к.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

В книге обсуждаются следующие вопросы. Во-первых, имелись ли альтернативы курсу на всемерное, не считающееся ни с какими жертвами, ускорение индустриального развития СССР и социалистических преобразований вообще, принятому в конце 20 — начале 30-х годов? Во-вторых, какими в действительности были итоги реализации этого курса, чего удалось достичь и какая цена была заплачена за это народом? В-третьих, в какой взаимосвязи находилось форсирование экономических и социальных процессов с процессами перехода к авторитарному управлению обществом, а затем и к самовластию Сталина? Наконец, в-четвертых, что принесли народу и обществу пресечение демократических тенденций в социалистических преобразованиях, установление командно-административной системы, как это повлияло на дальнейшее развитие социализма?
Цель работы — разобраться, что же происходило с нашей страной и народом в предвоенные и послевоенные годы — с конца 20-х до начала 50-х годов.

Политиздат

Л. А. Гордон, Э. В. Клопов

ЧТО ЭТО БЫЛО?